

[Polaris]

АНАТОЛИЙ  
ЭЛЬСНЕР



РЫЦАРЬ  
ДУХА

Собрание сочинений

Том II

# POLARIS



ПУТЕШЕСТВИЯ · ПРИКЛЮЧЕНИЯ · ФАНТАСТИКА

СССVIII



**Salamandra P.V.V.**

АНАТОЛИЙ ЭЛЬСНЕР

# СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

Том II

**Анатолий  
ЭЛЬСНЕР**

# **РЫЦАРЬ ДУХА**

Оккультный роман

Русский оккультный роман  
Том IX

**Salamandra P.V.V.**

## **Эльснер А. О.**

Рыцарь духа: Оккультный роман (Собрание сочинений, т. II; Русский оккультный роман, т. IX). — Б. м.: Salamandra P.V.V., 2019. — 272 с. — (Polaris: Путешествия, приключения, фантастика. Вып. CCCVIII).

Роман «Рыцарь духа» продолжает в серии «Polaris» впервые издающееся собрание сочинений А. О. Эльснера (1856 — после 1916), забытого прозаика, поэта, драматурга и автора фантастических и мистических романов.

Привидения, астральные тела, бессмертные души, восстающие из гробов мертвецы и властелины потустороннего мира переплетаются в этом бульварно-пафосном «оккультном романе» с историей возвышенного мистика Леонида, а также вполне земными страстями, развратом, интригами и борьбой за многомиллионное состояние его отца, фабриканта-убийцы Колодникова.

# РЫЦАРЬ ДУХА

Оккультный роман

## **ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА**

Настоящая книга представляет собой том II собрания сочинений А. О. Эльснера и одновременно входит в качестве тома IX в подсерию «Русский оккультный роман».

В оригинальном издании романа «Рыцарь духа» присутствует ряд лакун, означающих, очевидно, цензурные изъятия. В нашем издании эти лакуны отмечены обозначением <...>.

## ГЛАВА ПЕРВАЯ

Бродяга есть дополнение к миллионеру.

*Генри Джордж*

— А, она здесь, в этой комнате. Мертвые встают из гробов и ходят между нами, но люди их не видят. Как счастлив я, что зрение мое проникает в таинственный астральный мир. Клара, явись!..

Человек, шептавший эти странные слова, стоял посреди комнаты, глядя в одну точку своими широко раскрытыми карими глазами, светящимися необыкновенно ярко. Его молодое, бледное лицо с правильным носом, маленькими губами, двумя полукругами темных бровей над глазами и густыми светло-каштановыми волнами волос, которые, вздымаясь вокруг его головы, падали кольцами на широкий белый лоб, казалось светящимся, одухотворенным, как у человека, который мысленно всегда уносился от земли в мир невидимый.

Комната, в которой он находился, была необычайно мрачной. Она вся была обита черной материей, которая под очень высоким потолком образовывала круг. Две лампы, стоящие по сторонам большого письменного стола, заливали ярким светом очень странный предмет — череп, стоящий у креста из черного дерева. По сторонам комнаты стояли кресла с высокими спинками — тоже обитые черной материей. На этажерках и двух круглых столах — всюду лежали книги и посреди стены висел портрет девушки и под ним скрипка. В общем, комната производила подавляющее впечатление, которое усиливалось вследствие железных решеток, видневшихся за стеклами двух расположенных по сторонам стола окон.

Молодой человек продолжал стоять, неподвижно глядя в одну точку и, судя по выражению его глаз, можно было ду-



мать, что он кого-то видит. Маленькие губы его при этом сложились в улыбку, радостную и детски простодушную.

Дверь внезапно раскрылась и в комнату вошли два старика. Один среднего роста с длинной белой бородой, с внушительным, испещренным морщинами лицом, был властный фабрикант Серафим Модестович Колодников — отец обитателя черной комнаты, и другой — его управляющий — был высокий сухой человек, сутуловатый, с впалой грудью и торчащими белыми волосами на голове. За ними шел высокий, тонкий господин с благообразным молодым лицом, окаймленным светлой бородкой. В дверях показался еще человек — фабричный, гигантского роста <...>

Колодников внезапно обернулся чрезвычайно резким движением, из-под его нависших белых бровей вспыхнуло сверкнули небольшие черные глаза, синеватые губы из-под опущенного книзу концом горбатого носа на мгновение сложились в злую усмешку и, ударяя концом палки об пол, он закричал:

— Вон!

Рабочий скрылся.

Стараясь подавить свое раздражение, фабрикант, обращаясь к управляющему, заговорил грубым, злым голосом:

— В шею надо гнать этих мерзавцев, Петр Артамонович, в шею. Плевка не стоят все они. <...> А расчет я всегда должен иметь и вести линию от копейки к тысяче. Денежки — душа жизни и люди без них ходячие плевки.

Едва он замолчал, как молодой человек, смотревший до этого времени пристально на отца, со вздохом опустил голову на грудь и из горла его вырвалось:

— О Боже, Боже!

Фабрикант вздрогнул с таким видом, точно в этом восклицании заключалась какая-то обида для него и, нахмуривая брови, гневно проговорил:

— Что так вздыхаешь, Леонид? Бесишь ты меня, монах этакой. Радоваться должен: тяжесть всю взял на себя я, родитель — деньги ковал, рай вам всем оставил — пляшите на миллиончиках.

Он даже как-то подмигнул сыну. Леонид, однако же, продолжал стоять с грустным лицом и, видимо возмущаясь, ответил:

— Увольте меня от этого, папаша. Больно слышать ваши восхваления деньгам — тяжело, досадно и горько.

— В глупой голове твоей миллионы не вмещаются мои! — гневно вскричал Серафим Модестович, и вдруг, только теперь заметив траурное убранство комнаты, стал озираясь с выражением сильнейшего изумления; взглянул на череп и, неприятно пораженный, с выражением еще большего изумления и даже страха, сделал шаг назад и воскликнул:

— Гробница это — вся в черном, с крестом и черепами! Или что это — спрашиваю. Блаженный ты, или юродивый, или просто дурак — отвечай.

В лице Леонида было какое-то грустно-кроткое выражение и с чуть заметной улыбкой он тихо спросил:

— Что вы хотите, папаша?

— Зачем ты это сделал — в черное обил? Панихида здесь у тебя, что ли?

Леонид со вздохом ответил, причем лицо его как бы обвело темное облако:

— Да, панихида: в моей душе всегда кто-то читает заупокойные молитвы. Ведь все живые — мертвецы.

Колодников в чувстве раздражения ударил палкой об пол и вся его старческая фигура дрогнула. Будучи человеком в высшей степени практическим и находя, что его деятельность исчерпывает весь смысл нашей земной жизни, он всегда приходил в раздражение, как только кто-нибудь высказывал мысли, выходящие из области его обычного понимания.

— Серафим Модестович, что сердиться напрасно, — тихо заговорил стоящий рядом с ним Петр Артамонович. — Дело не такое, чтобы бранью распутывать его. Не забудьте, что он только из Парижа вернулся и... оккультист. В тайном обществе побывал господ спиритов.

— Ха-ха-ха-ха! — с выражением досады рассмеялся фабрикант. — Спириты — кто они? Шарлатаны, мазурики — так

полагаю.

— Пусть так, — тихо и спокойно продолжал управляющий, — да только в душе чувствительного человека колокола и зазвенели.

— Колокола? — со злой насмешливостью переспросил фабрикант.

— Да ведь в человеческом образе духи являются на сеансах.

С видом крайнего изумления Колодников даже отшатнулся и стал насмешливо смотреть на управляющего с улыбкой, которая как бы говорила: «Ты врешь, это я вижу, но кого надуть хочешь, старый плут, не понимаю». И он сказал:

— Палкой бы их, и духов, и шарлатанов.

Он помолчал и снова вспльщиво воскликнул:

— Околесицу болтает вам глупец, а вы и развесили уши!

— Может, и околесицу — не знаю. А вот скажите мне, Серафим Модестович, узнаете ли вы эту комнатку?

— Ну! — воскликнул фабрикант, мрачно нахмуривая брови и поглядывая вокруг себя злыми глазами.

— Видите, еще и железные решеточки остались, а прежде и замок был большой на двери.

— Сумасшедшая Клара здесь жила!

При этом восклицании отца Леонид, стоявший до этого времени в конце комнаты, ступая на носках, быстро направился к разговаривающим и, не замечаемый ими, стал прислушиваться.

— Сестрица ваша, да, а сумасшедшая ли, этого не знаю. Билась она тут, как голубка в клетке и все пела своим грустным голосом — уныло и протяжно. Это я помню. А то хохотала иногда. Тогда говорили: безумная Клара в буйном припадке.

Говорил все это он, видимо, с какой-то целью, минутами пристально поглядывая на фабриканта, который, припоминая что-то, вздрагивал и все сильнее бледнел.

— Воспоминания эти — нож. Вы режете меня, Петр Артамонович. Пятнадцать лет как в могиле она, а что она была безумной, виноват Бог один; я же заботился о ней и даже... любил.

— Тэк-с...

— Бросьте, не хочу воспоминаний этих, молчите.

Он быстро направился к двери, но, дойдя до нее, вдруг внезапно остановился, как бы пораженный какой-то мыслью.

— Да ведь дверь-то заколочена была. Я сам когда-то приказ такой дал. Все годы думал, что пустует она. Кто смел ее открыть?

Он снова направился было к двери, но управляющий, идя за ним с таинственным видом, тихо говорил:

— Сыночек ваш открыл, как только приехал. Надо полагать, воспоминания сохранились у него о Кларе. Да вы постойте, Серафим Модестович... сыночек ваш...

— Сказать что хотите, так между нами пусть, не кричите.

И управляющий, отойдя дальше от двух молодых людей — сына фабриканта и от высокого господина — своего сына, стал тихо говорить:

— Сыночек ваш, когда ему годов десять было, все сидел здесь, беседовал с безумной сестрицей вашей. Она-то его любила — ой как! — все на коленях держала и слезы все свои выплакивала в его душу. Говорила она ему, что люди — звери, мир — тюрьма, учила его любить бедных, слабых и гонимых и ненавидеть богатых, сильных и угнетателей, особенно вот как вы...

При последней фразе фабрикант вздрогнул, нахмуривая свои исчерна-белые брови и не замечая, что его сын в это время, осторожно ступая, стал за его спиной, внимательно прислушиваясь.

— Когда говорила, плакала она, — продолжал управляющий, — и сынок ваш, сидя у ее ног, тоже плакал, и она, укачивая его и утешая, пела протяжно и жалобно. Так шли дни и годы, а вы-то внимания никакого. И вот, я полагаю, что из слез несчастной Клары, упавших на сердце ребенка, выросла эта великая скорбь.

Фабрикант стоял неподвижно, опустив голову, и тяжелые воспоминания черными тучами носились в уме его. Вдруг он поднял голову и, увидя около себя лицо своего сына, воскликнул:

— Ты что подслушиваешь?!

— Ха-ха-ха-ха-ха! — вырвался из горла Леонида горький хохот и, отбежав в другой конец комнаты, он обернулся и заговорил:

— Несчастная Клара, очами души моей я вижу тебя и, хотя твоё тело в могиле, но твой бессмертный дух в одежде из астрала блуждает по этой комнате.

— Что говоришь ты, Леонид! Бредишь ты, или что с тобой? — воскликнул фабрикант, поражаясь видом, а ещё более странными словами сына. — Находит на тебя это, или как?

Леонид в нервном движении быстро прошёл по комнате и, остановившись против отца, улыбнулся какой-то странной, печальной улыбкой.

— Папаша, тайны и вокруг нас, и на небе, и на земле, но вы не хотите их знать. Эта комната — бывшая тюрьма несчастной Клары, и вот почему я поселился в ней. Здесь блуждает тень её, и иногда мне кажется, что я слышу её голосок — унылый и протяжный.

— Да в уме ли ты?! Мне даже жутко — точно безумный. Повтори — я, может, ослышался.

И Колодников, с бледным лицом и с затаенным страхом в душе, стал ожидать от сына подтверждения его странных слов. Леонид уверенно проговорил:

— Говорю вам совершенно ясно, что тень умершей Клары блуждает по комнатам вашего огромного дома и мне кажется, что я видел её здесь, в этой её бывшей темнице.

— Совсем безумный, — проговорил фабрикант упавшим голосом и с совершенно бледным лицом. — Тебе бы полегчить, сынок.

Он снова стал неподвижно смотреть на сына, как бы мысленно решая вопрос: сумасшедший он или эти странности надо объяснить чем-нибудь другим. В это время дверь полуоткрылась и в ней показался гигант-фабричный. За ним виднелся другой, маленький, оборванный человек.

— Ваша милость, — закричал гигант дрожащим от затаенной злобы голосом, — <...> за что гоните с фабрики вза-  
шей?

Колодников взглянул на фабричного, черные глаза его вспыхливо сверкнули, лицо покраснело и, бросаясь с поднятой палкой на рабочего, он закричал:

— Вон, негодяй!

Он исчез за дверьми вслед за скрывшимся фабричным, но минуту спустя раздался его голос:

— Разорвать бы на куски вас, мерзавцев!

Леонид, глядя своими загоревшимися негодованием глазами на ушедшего отца, проговорил звонким, дрогнувшим от волнения голосом:

— Разбойники мира <...> враги мои, а задавленные сильными — друзья.

Отступая к двери и глядя в отдаленный конец комнаты, точно видя там кого-то, он проговорил:

— И твои они друзья, несчастная блуждающая тень.

Он быстро пошел к двери и скрылся.

---

Два человека, оставшиеся в комнате, старик и молодой, отец и сын, долго смотрели друг на друга и наконец первый сказал:

— Вишь ты какой, слышал, Ильюша? Разбойники мира — это мы с тобой и прочие нам подобные. Что скажешь — а?

— Черт побери!.. — воскликнул молодой человек с недоумевающей иронической усмешкой. — Пребывание в Париже его окончательно сделало безумным. Маньяк какой-то или, во всяком случае, человек не от сего мира. Не для таких, как он, эта земля, полная лжи и хищений, а для нас с вами, папенька.

— Ха-ха-ха! А заметил ты, как наш фабрикант вздрагивал и бледнел? Мертвая Клара пугает его.

— Не понимаю, папаша, почему же она его пугает?

— Да ты тогда маленьким был, куда тебе понимать? Только знай, сынок, один злодей может так бледнеть. А я на-

рочно про покойницу ему, попугиваю.

Старика охватило приятное волнение, на лице выступили два ярких пятна и, радостно волнуясь, он стал говорить сыну, что уже сорок лет как он ведет затаенную борьбу с Колодниковым с целью оттягивать от него побольше денег, что и ему очень хотелось быть богатым, но что фабрикант всегда смотрел за ним «как старый цербер, охраняющий сокровище», но что теперь все иначе пойдет: он будет попугивать его старым преступлением.

Он обвил рукой шею сына и, склонившись к его уху, прошептал:

— Свой сестру Клару он убивал медленно, а ее супругу всадил в горло нож... Это подлинно так было, ночью, в лесу...

— Да не может быть, папенька!

— Говорю тебе. Убил, чтобы воспользоваться капиталом его и с той поры стал тиранствовать на фабрике и богатство его росло.

Управляющий умолк, всматриваясь в лицо сына, а последний весело заговорил:

— А знаете, папенька, ведь по некоторым соображениям я сам думал, что история с Кларой — старое преступление. И вот вам еще что: его капитал, обладать которым значит быть могучим властелином на земле, мне может достаться без всякого труда.

Старик, изумленно расширив свои светлые глаза, воскликнул:

— Что же ты — чародей или волшебник? Как может быть это?

Сын его, Илья, начал ходить по комнате, с видом фата заложив руки в карманы и так посматривая на отца, точно давая ему возможность насладиться его видом. Потом он остановился и сказал:

— Вот что, папенька: Глафира, дочь вашего патрона, в меня влюблена, и потому, чтобы открыть клад, мне надо только уметь играть на струнах ее сердца.

— Сыночек, миленький, — воскликнул старик с просиявшим радостью лицом, — сумей только овладеть сердцем

Глафирочки и из него посыпется золотой дождь.

Он снова обвил его шею рукой и склонился к его уху.

— Ведь двенадцать братцев-близнецов у него, двенадцать миллиончиков. Как может быть, чтобы я не помог тебе добраться до такого клада? Непременно буду попутывать старика, чтобы он поослаб и, не упираясь, отдал за тебя дочь. Не нарадуюсь на тебя, сыночек мой.

Он отступил от сына, расставил в обе стороны руки и тихо и таинственно проговорил:

— Двенадцать братцев-близнецов, двенадцать миллиончиков. Ха-ха-ха!

Маленькая дверь, находящаяся посреди длинной стены, скрипнула и раскрылась, и в комнату вошла пожилая дама в черном платье, с бледным, испещренным множеством мелких морщинок лицом. Сделавши несколько шагов, она вдруг остановилась, голубые глаза ее расширились в выражении испуга и изумления и, обводя ими комнату, она вдруг воскликнула:

— Да это просто какой-то катафалк!

— Совершенный, — подтвердил молодой человек и, подойдя к даме, продолжал: — Ваш сын возвратился из Парижа настоящим магом — таинственным и мрачным.

Он наклонился, желая поцеловать ее руку, но она отдернула ее и воскликнула:

— В грехах она, моя рука... не надо целовать.

И, подняв глава, она снова начала озирать ими комнату.

— Что с вами, Анна Богдановна? — изумленно глядя на нее, спросил Илья Петрович.

С поднятыми вверх глазами, с высоко вздымающейся грудью, она густым волнующимся голосом проговорила:

— Мрачно и торжественно здесь, как в церкви во время панихиды. Сын мой носит в душе святыню какую-то и в ней как бы приютился задумчивый опечаленный ангел, а в моей душе... в ней всегда были бесы. Ах, эта комната... здесь еще и до сих пор эта решетка, и билась она, пленница... а там я в залах носилась в вальсе... И сколько лжи, сколько соблазна внесла я в семью. Вы, Петр Артамонович, так долго жи-



ва у нас, все знаете. Молчите. Мой сын, мой удивительный Леонид один только Бога носит в себе, а другие дети все по моим следам идут. Да, я много грешила, но, клянусь вам, меня оскорбляло это... оргии среди девиц, и я мстила. Вы все знаете — молчите. Пусть прошлое будет могилой и в ней будут зарыты вся ложь и преступления — молчите!

Она повернулась и, глядя вниз задумчивыми, грустными глазами, медленно направилась к двери.

Отец и сын, глядя друг на друга, многозначительно улыбнулись.

## ГЛАВА ВТОРАЯ

### I

Человек лишился души; прошло несколько времени и он теперь начинает томиться по ней. Эта потеря души составляет поистине наше больное место — центр всемирной общественной гангрены, грозящей всем современным явлениям страшной смертью.

*Карлейль*

Весеннее утреннее солнце ярко светило на голубом небе, когда Леонид, выйдя из своей комнаты, пошел по саду. Пройдя некоторое расстояние, он направился по главной аллее, по сторонам которой подымались столетние высокие липы со своими дуплистыми стволами, которые чем выше, тем более разбивались на множество ветвей, бросающих по земле дрожащие тени. Вправо от главной аллеи, в просвете деревьев, виднелся красный трехэтажный дом фабриканта с террасой, выходящей в сад, по углам которой были расставлены вазы с цветами. В противоположной стороне, в нескольких стах шагах от сада, возвышалось другое здание

— громадное и мрачное, с почернелыми стенами, маленькими окнами и высокой, сделанной из кирпича трубой, из которой с равными промежутками, с тяжелым пыхтением, <...> вырывались столбы черного зловонного дыма. Подымаясь кверху и заражая воздух, они расстилались в голубом просторе сизой пеленой.

«Проклятое здание! — думал Леонид, грустными глазами посматривая на фабрику и на группы рабочих, которые один за другим скрывались в дверях. — Небо и земля, солнце, вода и растения — все величественно, чудесно, божественно, но жалкий человек не понимает, ни где он, ни кто и, суеверно преклоняясь перед модным воззрением, что он порождение бессознательных сил природы, в ожесточении мчится за удовольствиями и наслаждениями; но счастье убегает от него тем быстрее, чем бешенее он за ним мчится. Ни горы золота, ни все миллиарды богачей мира, ни сокровища, скрытые на дне океана и в недрах гор, не могут ни насытить человека, ни дать несчастной душе его мир, радость и счастье.

Все эти мысли проносились в уме сына фабриканта в то время, как он быстро шел вдоль аллеи <...> Дойдя до ограды, он вышел через железные ворота в открытое поле. С одной стороны зеленелась зубчатая стена елового леса, в просвете деревьев которого, под мрачно свешенными ветвями, виднелся темный коридор бесконечной дороги, с другой стороны, среди ровного поля, чернелись маленькие, покрытые соломой домики. Далее, за деревней, тянулись зеленые поля, среди которых кое-где были видны лошади и крестьяне. И те, и другие одинаково скучные. Откуда-то доносился свист иволги.

Леонид быстро шагал между лесом и деревней по направлению к высокому холму. Скоро он вошел на холм, на котором было расположено кладбище <...> Усевшись на камень, он начал озираться.

В отдалении едва виднелись золотящиеся в лучах солнца кресты и купола огромного города. Там расстилась Москва. Бесконечные хвойные леса шли от нее в разных направлениях подобно зеленым кружевам, окаймляющим

гигантское зеленое блюдо. Жаворонки вились в воздухе с ликующей трелью, точно в избытке счастья изливая восхваления из глубины своего маленького сердца.

И Леонид, глядя на все окружающее, с умилением уносясь мыслями к небу и понимая язык жаворонка и доносящийся из лесу свист иволги, с недоумением и мрачно стал смотреть на владения своего отца.

Он сидел неподвижно, с глазами, устремленными на фабрику и на дом, где он родился и где прошло его детство и юность. В воображении его из дали прошлого явился образ молодой женщины с прекрасным, но страдальческим, очень бледным лицом и большими голубыми глазами, из глубины которых смотрела грусть. На бледных губах ее как бы замерла скорбная, укоризненная улыбка, показывающая, что на все зло мира она отвечала грустью и кротким укором. С дали прошлого на него пахнули теплые волны тихой любви и в тоже время его кольнуло чем-то страдальческим, каким-то мучительным презрением к людям. И вспомнил он, что со времени детства его любовь всегда рисовалась ему со страдальческим лицом и укоризненно глядящими на мир голубыми глазами из-за железных решеток.

Самые сильные, никогда не изглаживающиеся чувства были брошены в его душу из уст пленницы, сестры его отца. Он возрастал и из ребенка превращался в отрока, впитывая в себя великое сострадание к людям вообще, к гонимым и несчастным в особенности, презрительное сожаление к сильным и тиранам и привыкая думать, что мучения на земле — видимые бичи, порождаемые незримыми преступлениями. Чувствительность его развивалась до высшей степени, а мысли, порождаемые рассказами и жалобами пленницы, как бы образовали в его голове целые толпы летающих ангелов — больных и жалобно смотрящих на землю. Часто он задавал себе вопрос: какие тайные причины заставляют его отца держать его сестру в плену — в комнате с железными решетками — и, не будучи в силах разре-

шить этот вопрос, приходил к выводу, что те миллионы, которые кует его отец, требуют крови и преступлений, страдальческого существования сотен других людей, и что только на их костях и можно возводить такие роскошные дома, как у его отца.

С годами его мрачные воззрения и чувствительность все более усиливались, в то время как молодая женщина, благодаря вечной грусти, гнездившейся в ее душе, все более таяла. Скоро она слегла в постель и не подымалась больше. «Когда она лежала в гробу, — проносилось в уме Леонида, — я смотрел на нее, очарованный ее лицом: оно было неизъяснимо светлым, выражающим радостное удивление, и улыбка на ее лице говорила: теперь я все поняла и в восторге уношусь от этого мира зла и загадок. Никакой ученый не мог бы убедить меня тогда, что, вместе с ее смертью, ее душа перестала существовать: отражение светлой радости на лице ясно говорило, что, вырываясь из временного жилища — тела, ее душа, объятая изумлением, уносилась в иной мир в восторге неизъяснимом. Я испытывал тогда ощущение ее близости с такой силой и ясностью, что почти перестал огорчаться видом ее мертвого тела. Однако же, вера в наше бессмертие во мне скоро прошла, — вот в этом городе».

И Леонид сосредоточенно и задумчиво стал смотреть на верхушки башен и церквей. В уме его проносились воспоминания первого времени его пребывания в университете. Среди студентов он казался странным существом, печальным, задумчивым и как бы порывающимся унести в какой-то иной мир. Побуждаемые отчасти любопытством и отчасти его деньгами, к которым он сам относился с презрением, студенты, образовав вокруг него кружок приятелей, стали осмеивать и разбивать его стремление к идеалам, его сожаление о злополучной людской юдоли, его веру, что объяснение всей этой «земной чепухи» будет где-то в ином мире. По мнению студентов, оказывалось, что Бог — утопия легковерного человечества, бессмертие — мечта идеалистов, сокрушение о страданиях людей — болезненная чувствительность, мешающая жить и затемняющая свет разума

— единственная сила, которой человек может гордиться. Далее, по их мнению, оказывалось, что нам, людям, остается только свести все мнимо-сверхъестественное с небес на землю и постараться объяснить все это естественными законами физики и других наук. Сокрушая идеализм сына фабриканта всеми доводами современного знания, студенты оканчивали все это выводом, что человеку остается только думать о своем благополучии и уметь бороться с такими же, как он, конкурентами на житейской бойне. Сталкивать слабых в яму и уметь ежедневно получать максимумы всякого рода наслаждений — вот весь смысл существования гордого, смелого, хищного и энергичного двуногого зверя-человека. Заключительным словом всех подобных рассуждений обыкновенно бывали предложения отправиться немедленно к женщинам и, освободив себя от всех пеленок идеализма, не стесняться наедине с обнаженными самками быть здоровым и страстным самцом.

Вслушиваясь во все эти рассуждения, Леонид краснел, моментами глаза его загорались негодованием, а иногда, подымая руку кверху, с лицом, озаренным как бы пламенем, он негодующим голосом произносил что-нибудь в этом роде: «Господа, если вы правы, то жизнь — скотская, мучительная бессмыслица, и удивительно, как при таких условиях люди еще могут жить; если бы я уверовал в ваши слова, то мне осталось бы только окончить свое существование с помощью веревки». Он, однако же, был один, студентов много и потому их мысли стали постепенно воцаряться в голове Леонида, разгоняя его собственные, как толпы вооруженных демонов, разгоняющих нежных херувимов. Этому способствовали также и книги, которые сын миллионера, под влиянием модных веяний, стал прочитывать в большом количестве. Он прочел «Жизнь Христа» Ренана, испытывая такое чувство, как если бы чудесное божество с заключенным в груди его небесным огнем было бы обезображено и изувечено прикосновением к его телу грязных рук и к его устам — нечистого рта грубого хулигана, видевшего в нем — тело-организм и не желающего знать, что оно наполнено пламенем, ниспавшим с небес.

Много дней после этого Леонид ходил мрачный, с опущенной вниз головой, точно вид людей был для него невыносим. Казалось, Ренан опрокинул какого-то светлого кумира в голову его и поднял бурю в груди. Опечаленный и мрачный, он стал прочитывать другого колосса современной мысли — Дарвина. Этот ученый ясно доказал ему, что он — животное двуногое, праправнук обезьяны, и после этого всякий свет неба для него погас: очень комичным казалось слышать глаголы с небес и признавать в себе присутствие вечной души одновременно с уверенностью, что он не более как обезьяна, у которой только атрофировался хвост. После этого Леонид стал прочитывать «Религию» Огюста Конта и социологию Спенсера, и оба эти ученых мужа окончательно изгнали из его головы последних светлых ангелов, так что в душе его стали подниматься мрачные тени отрицания, глумления и отвращения к жизни. Бюхнер в своей книге «Сила и материя» заставил его воображать, что все квадриллионы миров несутся в бездне вселенной, повинаясь одним физическим законам, без всякого участия божества, и что если угодно видеть Бога в природе, то он — энергия, заключенная в материи. Материя, таким образом — видимая форма невидимой энергии, произведшей все существа как на земле, так и на других мирах. Молиться, значит, нет никакого смысла: за отсутствием хозяина, по адресу все равно не дойдет, и Леонид почувствовал, что в душе его кто-то как бы отчаянно засмеялся. С мрачно сдвинувшимися бровями, он приступил к чтению новейшего гиганта мысли — Ницше — и был окончательно ошеломлен страшным выводом этого философа: оказывалось, что человечество было одурачиваемо две тысячи лет — после Христа, и раньше — разными Буддами и Кришнами, так как полагало, что свет любви, разлившийся по земле из уст этих мудрецов — величайшая сила, поднимающая человека от земли к небесам и от страданий и бурь — к миру и счастью. Новейший пророк Ницше философски доказывает, что все это — галиматья, что человечество — огромное стадо животных, на мучения которых настоящему человеку не надо обращать ни малейшего внимания, что для того только и родятся эти

миллионы миллионов людей, чтобы их сталкивать лбами и чтобы из среды их мог появиться хоть один сверхчеловек — неумолимый, жестокий, кровожадный, гениальный, прекрасный.

Леонид остолбенел, и не потому, что все это написал немецкий философ, а потому, что христианская Европа, две тысячи лет воздвигая алтари распятому Богу, увенчивая свои храмы крестами — символами любви и мира — эти самые христиане не только не возмутились, не только не посадили философа в сумасшедший дом, но наоборот — стали аплодировать ему, а это показывало, что в душе они давно уже стояли на перепутье между двумя дорогами, одна из которых вела к Христу, другая — в царство дьявола. Достаточно было их подтолкнуть легонько и все они закричали: антихрист — бог, пойдем и будем сталкивать слабых в яму.

Несколько лет назад, когда Леонид думал, что где-то есть Хозяин, по воле которого подымается солнце и совершается движение сфер и что он сам — бессмертный атом незримого великого духа, как его уверяла скромная, страдающая Клара, в душе его как бы горела незримая лампада, свет которой отражался в его глазах и он испытывал радость жизни, стремление подняться ввысь, сознание своей связи с кем-то незримым и вследствие всего этого — счастье. Теперь, после того, как в его голову перелились холодные мысли философов, прежний свет погас в душе его и в ней как бы кто-то стал смеяться холодно, зло, отчаянно, и с этим вместе лицо его сделалось мрачным, смеющимся, несчастным. И вот однажды ночью, когда студенты собрались в его комнате — в гостинице на Тверском бульваре — он вдруг поднял руку кверху и глаза его расширились и засверкали мрачным светом. Студенты вздрогнули, точно в теле их пробежал электрический ток, и стали смотреть на него с изумлением и любопытством. Как бы обращаясь к кому-то незримому, он заговорил с видом дикого вдохновения:

— Да будет проклят свет, исходящий с неба, потому что он освещает мучеников этой несчастной земли — миллионы миллионов людей, которые стремятся, мучительно верят,

обращаются, пронзенные скорбью, к пустым и глухим небесам и после длинной цепи страданий уходят навсегда в землю, и их страдальческое «я» не узнает, зачем и кому нужно было это издевательство — никогда, никогда. Солнце, померкни и пусть во вселенной снова подымется хаос, в каком прежде, по словам Лапласа, кружились атомы земли и морских вод. Пусть навсегда разрушатся проклятые законы Ньютона и Кеплера, по которым в вечном круговращении двигаются все миллионы солнц с их спутниками и лунами: ведь и на них проклятая энергия материи порождает окстиллионы мучеников, которые, может быть, теперь, как и я, Леонид Колодников, поднимают руки кверху и кричат: «Померкните, солнца и пусть снова водворившийся хаос поднимется и обратит в прах бесчисленные создания», потому что на каждой планете своя кровавая голгофа и на каждой свои ложа страданий, и на каждой свои бесчисленные сумасшедшие, воздвигающие храмы богу, которого нет, посылающие надежды богу, которого изобрели сами, кротко переносящие страдания, издевательство и удары судьбы во имя великого распорядителя, не догадываясь, что ничего нет, кроме одной глухой и слепой энергии материи.

Лицо его, обращенное вверх, странно засмеялось, причем маленькие губы забились в нервной судороге, а прекрасные глаза косо пробежали по лицам присутствующих.

— Это чересчур, черт побери, — закричал самый высокий студент, охватывая Леонида за плечи и усаживая его в кресло. — Что с тобой, голубчик? Ты болен и говоришь всю эту чушь в бреду каком-то. Право, болен.

Леонид приложил руку к сердцу и проговорил:

— Вот здесь прежде было так много надежды, веры и любви. Теперь там хохот бесов.

— Чересчур сильно ты отзываешься на все это, — говорил высокий студент, внимательно всматриваясь в его лицо. — Да в этом случае лучше уж выпить мадерочки. Веселее будет.

С минуту Леонид смотрел загадочно-печальными глазами на ряды бутылок, стоящих на столе. Вдруг глаза его, расширившись, дико засверкали, и с этим вместе он так быстро



поднялся, точно его подняла внутри его находящаяся сила.

— Ээ-х, господа, теперь я оправдываю всех испившихся, всех опустившихся на дно бездны порока, разбойников, предателей, Искарियों, всех счастливых и несчастных, потому что судьи над нами нет, потому что и гений, и дурак, добродетельный и разбойник одинаково подлежат уничтожению, а когда их тела будут разлагаться, никто не скажет: этот вот череп был на плечах святого, а этот — разбойника. Нет вечной жизни, а из этого вытекает, что добродетель, любовь, вера — выдумка, и я, Леонид Колодников, первым опускаюсь на самое дно вонючей ямы порока.

Он налил стакан какого-то вина и поднял его над головой с нервным смехом в лице.

— Хотел бы я, чтобы на дне этого стакана лежали все одуряющие страсти, все зловонные пороки, и пусть царствует хаос.

Он поднес бокал ко рту и залпом его выпил.

Студенты, которые смотрели на него с жадным любопытством, хотя и видели, что в душе их товарища происходит что-то роковое, тем не менее обрадовались, что наконец он покинул свое, как они говорили, «девственное пребывание на высоте идеала» и громко закричали: ура. После этого кто-то предложил отправиться к женщинам и Леонид закричал:

— Под знаменем дьявола, хотя его тоже нет, идем совершать распятие женщин на кресте наслаждений и порока.

## II

Природа души столь глубока, что она не подлежит определению, какими бы путями мы ни пытались узнать ее.

*Гераклит*

Толпа студентов помчалась вниз по лестнице, а немного спустя они с шумом и смехом шли по переулку, все дома

которого были освещены красными фонарями. Со всех сторон доносились звуки рояля, скрипок и топание ног и все это сливалось в один общий гул, среди которого минутами слышались вскрикивания женщин.

Всей толпой студенты ворвались в один из домов и на минуту остановились у широко раскрывшейся двери. Вдоль освещенной люстрой залы, под звуки скрипок и флейт нескольких музыкантов, сидевших у рояля, неслись девицы, быстро размахивая платьями, концы которых они держали кончиками пальцев. Их лица развратно смеялись при этом и глаза щурились в то время, как канканирующие против них мужчины выделявали руками цинические жесты. Одна из девушек, в красном платье и с красным цветком в черных волосах, одиноко стояла в стороне, задумчиво глядя печальными темными глазами на все происходящее здесь, и можно было думать, что мысли ее далеко унеслись от этого дома оргий.

Как бы по команде студенты рванулись от двери и рассеялись по комнате, а Леонид с воспаленно горящими глазами, устремленными на девицу в красном, с наклоненной вниз головой, медленно направился к ней и остановился. Внутри его как бы kloкотали какие-то горячие волны, в то время как в голове подымалась буря отчаянных мыслей.

— Что вы на меня так смотрите? — проговорила девушка и улыбка удовольствия озарила ее нарумяненное, но красивое лицо.

— Девица — женщина — ангел — змея — дьявол! Клянусь, я не знаю, кто ты такая, но я хочу быть на самом дне бездны порока, а ты в нее уже скатилась и потому тани меня в свой ад и я на твоей груди забуду все розовые сны моей жизни.

Все это он почти прокричал и его глаза горели одновременно и страстью, и отчаянием, и только в конце своей дикой речи в голосе его послышалась грусть. Все присутствующие, стоя в различных позах, ожидали, что будет дальше; где-то послышался смех, а девица в красном, расширив свои глаза, смотрела на него изумленно и испуганно.

— Этот мир — ложь, лицемерие, разбой, — закричал он

снова, — и потому, да здравствует дьявол. Девушка, говорю тебе, води меня на дно твоей бездны. Мне теперь не стыдно. Я понял, кто я такой: червь, выползший из земли под лучами солнца. Все мы только ходячие куклы. Может ли чувствовать стыд кусок земли? Ха-ха-ха! Девушка, води меня на ложе блуда.

— Пойдем, — сказала она, делая голыми плечами движение, подмигивая и улыбаясь. И он пошел за ней, но когда шел, из горла его вырывался странный больной хохот, точно он оплакивал свое первое падение и все золотые сны жизни своей.

---

Вспоминая о всем этом, Леонид продолжал смотреть на Москву и в глазах его светилась грусть. Он вспомнил все подробности первой ночи своего падения и после этого о целой цепи других ночей, превратившихся в одну непрерывную оргию пьянства и разврата, и его охватило чувство гадливости, горечи, сожаления и стыда.

Он стал вспоминать дальше, не замечая, как идет время и желая в памяти своей воскресить все свое прошлое до последнего дня.

Дома оргий сделались местом, куда он почти ежедневно отправлялся, как только наступала ночь, и где он почти всегда встречал появление солнца. Ему казалось, что раз его убедили студенты и ученье философов, что нет Бога, что нет бессмертия, что его жизнь, а также мнимая душа его есть только порождение материальных сил природы, то его пребывание на дне бездны — самое подходящее место. Уверенность, что все живущее обречено на вечное уничтожение, весь мир в его глазах обращала в гигантскую гробницу, наполненную костями и черепами, и если попы в облачениях отпевают мертвых, если звонят в колокола, и если по всему земному шару духовенство с крестами и молитвами призывает людей к смирению и любви, то он на них смотрит, как на комедиантов великой мировой трагикомедии. Нет

Бога и не может быть ни веры, ни любви к людям, ни справедливости, ни сострадания, ни великодушия, потому что все эти высокие чувства как бы предъявляют билет на право своего существования у ответчика — Духа. Предполагалось им раньше, что где-то в вышине сверкает над землей звезда истины и идеалов, но раз ее нет, то какой ужасной иронией отзываются в его уме все эти выдумки — прекрасные сказки о прекрасных чувствах. Положим, он знал, что все это, по мнению людей, необходимо, чтобы делать добро ближним. Но какая ирония делать добро в царстве непроходимого зла и вечной смерти, вступающей в этот мир в сопровождении свиты — холеры, чумы, оспы, войн, землетрясений, голода и других царей бога уничтожения. Ведь жизнь при условии общей смерти не возвышенная драма, где человек терпит мучения в борьбе за вечный свет истины, который будет светить над ним и через тысячи лет, а страшный мучительный фарс колоссальной сцены, на подмостки которой человек вступает под раздирающие стоны своей матери, покидает в мучительных конвульсиях, а сама игра — разбой, грабеж, погоня за призраками наслаждений, тоска, скука, сон и ничем не утоляемый голод страстей. Делать добро людям? Да, он сделал бы это: столкнул бы их всех в пропасть, если бы мог. Теперь он находил, что Ницше совершенно прав, но только сталкивать в яму следовало бы не только слабых, но и сильных, здоровых, торжествующих. Если бы мог, он погасил бы солнце и взорвал бы скверную планету Землю, как бомбу, начиненную динамитом; но, слабый смертный Колодников, он не может этого сделать и не может остановить действие вечной энергии материи, выбрасывающей все новые жизни для мучения и слез, а потому, презирая мир и существование, он и находится на дне бездны пороков и разврата.

Студенты, перестав его понимать и считая его психически больным, начали отстраняться от него, и тем решительней, что старый фабрикант, узнав о поведении сына, перестал выдавать ему деньги. Без денег, часто голодный и оборванный, он скитался по длинным московским бульварам с мрачно опущенной вниз головой и такими же мрач-

ными мыслями. Не имея своей квартиры, ночи он неизменно проводил в вертепах и в домах оргий, но и оттуда его часто изгоняли, и тогда он блуждал по улицам. Однажды под утро, когда он выходил из вертепа с мрачно опущенной головой, унылый и ослабленный, сзади него раздался укоризненный женский голос, произнесший его имя. Вздвогнув, он быстро обернулся, но к его удивлению, переулок, по которому он шел, был совершенно пуст. «Голос Клары», — прошло в его голове и щемящая боль охватила его сердце; но, сделав усилие над собой, он мысленно воскликнул: «К черту, к черту! Клара давно сгнила и я сам излечился от ее иллюзий. Галлюцинация слуха — вот все. Проклятая машина начинает портиться. Нервы, клеточки, нервные центры — проводники чувств этой адской двигающейся машины. Что-то лопнуло там — вот и все».

Спустя некоторое время, он вполне убедился, что в «проклятой машине» что-то испортилось: голос Клары стал слышаться ему все чаще, а раз, когда он дремал в вертепе, ему послышался звон струн инструмента, на котором когда-то часто играла Клара — арфы — сначала под полом, потом над головой, и в испуге он раскрыл глаза: в темной комнате белелась колеблющаяся фигура с молочно-белым, бесконечно печальным лицом.

«Мертвые в своих гробах основательно сгнивают и Клара сделать мне визит никаким образом не могла. Мне ясно доказали господа ученые, что дух или душа — суеверие, но в больном мозгу может отразиться что угодно — ангел, черт и все мертвые из могил. Нет, я хочу, чтобы наш психиатр меня исследовал. Любопытно знать, почему эта скверная машина так расстроилась».

Рассуждая таким образом в то время, как он безцельно бродил по бульварам, Леонид свернул в одну из улиц и немного спустя, очутился в клинике. В комнате, посреди студентов, образовавших круг, сидел молодой человек-профессор и объяснял им что-то, переходя от русской речи к таинственной латыни, и тогда лицо его делалось загадочным, а улыбка как бы говорила: «Вы сами видите, что из сокро-

вищницы ума моего сыпятся драгоценные зерна истины, как из рога изобилия: вам остается только их ловить».

— Скажите, господин профессор, — воскликнул вдруг Леонид, — может ли вполне здоровому человеку казаться, что он слышит голоса умерших и что видит пред собой тени людей, давно уже зарытых в землю?

Удивленно расширив светлые глаза, профессор смотрел на него некоторое время молча и потом необыкновенно твердо, авторитетно проговорил:

— Безусловно — нет. Не мешает вам хорошо помнить вот что: с тех пор, как существует земля, ни один мертвый еще не осмеливался нарушать покоя живых.

Профессор насмешливо улынулся, глядя на сына миллионера, и такая же улыбка, в свою очередь, явилась и на лицах слушателей.

— Проклятая машина моя расстроилась. Я сам знаю, что мой мозг болен. Ведь мы все бедные люди и вы, профессор — что мы такое? Животные, машины, организмы, внутри которых то звенят слезы, то слышится хохот беса. Вот еще почему иногда кажется, что мы бессмертны. Но это вздор, вздор, вздор!

В голосе его послышалось озлобление, по лицу пробежала нервная дрожь и глаза, вспыхнув, как бы озолотились.

— Пойдите, пойдите! Вас надо исследовать, — воскликнул профессор, беря его за руку.

— Не желаю! — злобно отозвался Леонид. — Здоровое животное более противно, нежели больное. Нет души в этих мерзких грязных телах... Нет Бога, нет даже дьявола. Поймите вы, миллионы лет несется проклятая планета в беспредельной бездне вселенной и миллионы лет по ее поверхности ползают двуногие жалкие животные, раздираемые мучениями, вынуждаемые необходимостью убивать себе подобных, ползать на брюхе самок и ничего не оставлять после себя, кроме могил. Профессор, согласитесь, что это удивительно злая бессмыслица. Меня тошнит и возмущает эта игра дьявола с нами, людьми, и я отказываюсь жить. Вы напрасно читаете лекцию: разливать в умах свет знания, зна-

чит вызывать людей на бой против глухой и слепой мировой силы. Вы вызываете революцию против кого-то, черт его знает кого, и во всяком случае, свет, разлитый в умах, вызывает пожар в сердце, бунт, страдание, мучительное раздвоение. Убивать мысли: вот что надо, чтобы люди не чувствовали мерзости бытия, чтобы спокойно душили горло друг другу, чтобы могли посылать плевки в лицо страдающим, обиженным, гонимым, чтобы могли плясать на теле несчастной, убогой проститутки, распятой на кресте порока — вот что надо. Я это делаю, я... а во мне слезы, слезы... Их надо убить; но чем сильнее я стараюсь не чувствовать боли жизни тела, больше чувствую, что во мне подымается кто-то и рыдает...

Грудь его вздымалась, по губам пробегала нервная дрожь, а при последних словах в карих глазах его показались слезы. Желая скрыть это, он отвернулся и сделал движение к двери, но профессор быстро схватил его за руку и, повернувшись к студентам, воскликнул:

— Вот интересный для нас субъект!

Очевидно, он видел в нем только объект для его психофизиологических исследований и заранее торжествовал, предвкушая удовольствие развить перед слушателями богатства своих знаний. Леонид понял это и, со всей силы выдернув руку, быстро помчался к двери.

### III

На небе и земле, мой друг Горацио, есть тайны, которые и во сне не снились твоей учености.

*Шекспир*

Сидя теперь на холме, охватив одно колено руками и слегка покачиваясь, он вспомнил о своем глубоком паде-

нии так живо, что в его устремленных в даль глазах снова показались слезы. «Поруганный бог во мне плакал, а я, желая заглушить боль в себе, старался его заплевать».

Он вспомнил, как бросив университет, приехал домой. Домашние поражались его диким видом, а когда он стал рассказывать о причине мучений своих, никто ничего не понимал. В конце концов фабрикант, снабдив его деньгами, объявил ему, что для него самое лучшее постараться рассеять свои больные мысли где-нибудь в новых местах, и Леонид уехал.

Надо было побывать в центре мирового движения, и Леонид очутился в Париже. Он осмотрел дворцы, музеи, библиотеки — все было величественно и носило печать благогородства, а когда вошел в собор Парижской Богоматери, то, глядя на его величественные своды, впал в недоумение: «Очевидно, людей и здесь обманывало то самое, что обмануло меня — мысль, уносящая нас к небесам; но раз мы только ходячие глыбы земли, то совершенно непонятно, откуда могут исходить золотые лучи, наполняющие наши головы. Слепая природа не может быть ни доброй, ни злой и не может так зло глумиться над нами: для этого надо присутствие существа — хотя сатаны».

Он вышел из собора в сильном волнении. «Да, очень возможно, что наша планета находится во власти, не Бога, конечно, а какого-нибудь великого духа мировой иронии. Ученые его присутствия могли и не заметить, но он должен здесь быть и его отражение можно подметить на каждом лице»

Все последующие дни, блуждая по улицам, он нарочно старался попасть в густые волны людей, «чтобы видеть на их лицах отражение мировой иронии и читать их чувства и мысли». Его уносило из одной улицы в другую, точно по течению, и в мозгу его отдавался гул смеха, острот, болтовни. Он всматривался в лица: почти все они выражали жажду грехопадения, порока, из глаз смотрела бездна желаний, а по губам змеилось жало греха. «Звери в намордниках закона», — прошло в голове Леонида. В то же время, он видел, что по большей части это веселые, беспечные зверь-



ки, жаждущие схватить наслаждение, которое только способно «мазать по губам» и, сейчас же отскочив, снова манить человека, раздражая его и помрачая ум. «Пройдет лет пятьдесят и взамен всех этих сотен тысяч людей здесь будут расхаживать с такой же жаждой в глазах новые люди, а эти обратятся в пыль. Удивительно, что, зная все это, люди могут сохранять такую жизнерадостность. Ведь каждый прожитый день — ступень лестницы, по которой они, не останавливаясь ни на миг, нисходят в подземную глубину, в вечное небытие».

Протискиваясь сквозь толпу, он быстро пошел вперед и вдруг приостановился, пораженный словами высокого человека. Человек этот стоял под деревом у начала бульвара, куда вошел и Леонид, окруженный своими спутниками — низеньким старичком и двумя девушками. Высокий человек говорил:

— Существует суеверие двух видов: суеверие религий, рисующих индивидуума-Бога, и суеверие жрецов науки, проповедующих, что в материи заключаются силы, которые порождают биллионы жизней. Живые существа — вечные души, тела которых их временная форма, которая сбрасывается, как испортившаяся одежда с плеч. Миллионы миров, вращаясь по законам Ньютона, повинуются в то же время скрытым в них стихийным духам. Планета может распасться, но стихийный дух, заключенный в нее, ткет себе новые одежды и на небе вспыхивает новая звезда. Во всем живущем, даже в деревьях, заключен вечный дух, и потому нечему удивляться, что, когда на последнем оккультном сеансе пред нами появились тени, то мы не знали, кто они: духи умерших людей или какие-нибудь другие астральные существа.

Высокий человек с своими спутниками двинулся вперед вдоль аллеи, а Леонид продолжал стоять неподвижно, как бы находясь в оцепенении под влиянием охватившего его изумления. Только после нескольких минут, он, как бы сорвавшись с места, быстро стал догонять уходящего высокого человека, вежливо снял шляпу и в большом волнении проговорил по-французски:

— Тысячу раз прошу извинить меня, милостивый государь, но ваши слова, которые я услышал, случайно остановившись около вас, меня страшно взволновали. Вы сказали, что пред вами появлялись тени умерших людей. Это меня прямо ошеломляет, и потому я прошу вас объяснить, как это надо понимать — буквально или это какая-нибудь метафора?

Высокий господин слушал его с тонкой улыбкой на губах, в то время как его черные глаза смотрели на Леонида чрезвычайно серьезно. Вокруг его бледного лица огибались черные, перевитые белыми нитями волосы.

— Никакой здесь метафоры нет, — ответил он. — То, что мы называем рождением человека, есть заключение духа во временную темницу — тело, и то, что называем смертью, есть освобождение от этой тюрьмы. Мертвые рассеяны во всем пространстве и их гораздо больше, нежели живых, но вы их не видите, потому что телесное зрение ваше не может видеть нетленных существ. Они делаются видимы только при известных условиях, и кто посвящен в тайны оккультизма, тот всегда может их вызывать.

— Вы говорите вполне уверенно, что мы бессмертны! — взволнованно воскликнул Леонид.

— Мы вечные существа. Из глаз каждого человека смотрят его прежние жизни, но мы не умеем читать живой летописи человеческих глаз. Вас, кажется, очень удивляют мои слова?

— Страшно! — вскричал Леонид. — Будучи в университете в России, я из всего, что мне пришлось узнать от профессоров и из книг ученых, должен был вполне убедиться, что мы, люди — организмы-машины, что дух — самообман, что вечного существа никакого нет и что ожидать бессмертия может только невежда или слабоумный.

— Роль ученых ограничивается некоторым знанием мира вещественного, но от их знаний навеки скрыты Матери-Причины, порождающие все видимые явления. Не желая сознаться в своем невежестве, они стали отрицать незримые Сущности и Силы и все объяснять законами форм. Сфинкс великого таинственного бытия тысячелетия стоит пред ни-

ми, предлагая разгадать его, а они, не будучи в силах проникнуть в его вечный дух, занимаются описанием камней, вылетающих из его пасти, покровов, покрывающих его бока, крыльев, которые он разбросал по обе стороны неба. Они исследовали все это, но великий стихийный дух, заключенный в груди Сфинкса, повелевающий двигаться мирам и зажигающий новые солнца, для них скрыт за семью печатями. Эти господа разбили все прежние живые силы в душе человека — надежду, веру, святыне упования, — и вместо них там живет теперь отчаяние, ревет ненависть и бешено кружатся все злые грехи, бросающие его в бездну грубого разврата и смерти.

Проговорив все это, высокий человек шагнул вперед, движением руки приглашая Леонида присоединиться к их компании. Разговор возобновился. С каждой фразой незнакомца Леонид проникался все большей радостью: в его грудь возвращались его прежние боги, рассеянные современными учениями. Оказалось в то же время, что он ровно ничего не читал из области таинственных сокровенных знаний, временно похороненных жрецами позитивных наук и теперь возродившихся снова — теософии, оккультизма, теургии, магии и друг. Все это, по совету незнакомого господина, надо было приобрести и углубиться в область мудрецов древности.

Подойдя к крыльцу высокого дома, все остановились. Сконфузившись, Леонид начал раскланиваться, и вдруг, только теперь заметив высокую брюнетку, стал смотреть на нее, поражаясь ее классически правильным лицом и в особенности выражением ее глаз: они были черны, как ночь, почти совершенно круглы и казались бездонными. Глаза эти на бледном маленьком лице, по губам которого блуждала загадочно-скорбная улыбка, выделялись чрезвычайно резко и, казалось, высказывали какие-то тайны.

— Вот удивительно, — взволнованно воскликнул Леонид, — мне действительно кажется, что из глубины ваших глаз смотрят тайны ваших прошлых жизней.

Девушка скорбно улыбнулась, пристально посмотрела на Леонида и потом уже проговорила, что ей это приходилось

слышать и от других, а высокий человек сказал:

— Она наш медиум и, так как у нас сегодня сеанс, то мне, вероятно, удастся вам доказать, что мертвые вокруг нас. Вы их увидите.

— Мертвых! — воскликнул Леонид, пораженный ужасом, радостью и удивлением.

— Да.

Вся компания стала подыматься по лестнице. Леонид в это время думал: «Своей особой он внушает полное уважение и на шарлатана нисколько не похож. Однако же, верить, чтобы могли по приглашению являться мертвые — надо иметь на плечах большую голову. Что все это значит, я решительно не понимаю». Поднявшись по лестнице, Леонид приостановился и, почувствовав большую неловкость, проговорил:

— Милостивый государь, извините, я очень смущен, что иду в ваш дом, не будучи знаком с вами настолько, что вы не знаете даже моего имени.

— Какой вздор. Имя — пустой звук, ровно ничего не объясняющий. Единственный аттестат души человеческой — его лицо, и на вашем я читаю, что ваш дух мятежно бился в клетке, ища ответа на вечные вопросы и, не находя их, в отчаянии падал от неба на землю, и тогда внутри тела вашего бушевал огонь адский... Я хочу, чтобы дух ваш снова поднялся к небесам. Если же вы хотите знать имя мое, извольте — Рабу.

Они вошли в большую комнату, где в ожидании хозяина сидели несколько человек. Немного спустя, вся компания уселась вокруг большого круглого стола — все, кроме хозяина, который стоял в стороне. Лампы неожиданно погасли, но луна ярко светила в окна и в ее сиянии лица казались призрачными. Леонид взглянул на сидевшую рядом с ним брюнетку-барышню и уже не мог отвести от нее своих глаз. Лицо ее казалось прозрачно-белым, а черные, как ночь, глаза казались нечеловечески большими, высказывающими со своих глубин чарующие, но полные ужаса тайны. Он смотрел долго в ее глаза, испытывая такое чувство, точно его втягивала в себя какая-то пропасть с мерцающими огнями в

ней. Содрогнувшись, он сделал усилие над собой и стал поочередно смотреть на лица других спиритов. Все сидели неподвижно в ожидании как бы чуда. Царила жуткая тишина и, хотя Леонид испытывал нервную дрожь, в уме его все-таки проходили такие мысли: «Я не позволю себя обмануть, хождение столов — детские сказки. Если он пойдет, я буду думать, что это шарлатанство, если же не пойдет — что меня хотели одурачить».

Мысли его внезапно прервались: послышался треск, и в этот же момент под руками его что-то вздохнуло, зашевелилось и стол плавно поднялся вверх. Расширив глаза, Леонид смотрел со страхом в одну точку: под потолком светилась маленькая звездочка.

Наступила мертвая тишина.

— Медея, — раздался властный голос Рабу. Леонид взглянул на барышню-медиума.

Она сидела, откинувшись на спинку дивана, с неподвижностью статуи. Лицо ее было мертвенно-белым и в глазах не было зрения. От всего тела ее исходило холодное дуновение, как от трупа.

— Медея, ты видишь пред собой кого-нибудь?

— Да, — раздался из уст Медеи как бы чужой голос.

— Наш незнакомец, может быть, хочет видеть кого-нибудь из своих умерших. Пусть он только о нем подумает.

Наступила снова мертвая тишина.

Леонид продолжал смотреть на золотую точку, светящуюся над его головой. Она то подымалась к потолку, то опускалась, скатываясь по его волосам и лицу на пол. Тогда в глазах его вспыхивал яркий свет, все нервы вздрагивали и его охватывало неизъяснимое ощущение — удовольствия и страха, а огненная звездочка катилась по полу, ползла по стене и снова вспыхивала над его головой. В это же время под руками его что-то продолжало дышать, поднимаясь все выше, и ему казалось, что и он сам подымается и уносится куда-то, что комната шевелится и ее стены распадаются, и вдруг из-под его рук что-то вспорхнуло, огромное, беловатое и светлое. Раздался звон струн. Охваченный испугом и изумлением, он хотел увидеть присутствующих, но их не

оказалось: над ним был голубой свод неба с рассыпанными звездами по нему и где-то глубоко внизу — земля. Теперь ему казалось, что он мчится с необыкновенной быстротой и впереди его белое светящееся облако. Вдруг оно остановилось над вершиной остроконечной зеленой горы, из него выглянуло женское прелестное лицо и в его глаза пристально уставились чьи-то знакомые, голубые мертвые очи. «Клара!..» — шептал он, в то время как облако, все более рассеиваясь, обнажало стройную женскую фигуру с арфой в руке.

Леонид потерял сознание.

---

На другой день Леонид очнулся в своем номере в гостинице, где жил в Латинском квартале. В голове его пронеслись картины вчерашнего вечера, но, так как он увидел себя проснувшимся в своей комнате, то сейчас же подумал: «Вот удивительно яркий сон... Мне кажется, что я жил обычной жизнью и только видение Клары показывает, что я спал... Что это, право, я ничего понять не могу... Или я схожу с ума».

Его охватил страх.

Дверь раскрылась и в комнату вошли его соседи — две девушки и высокий старик, лицо которого было окружено целой гривой белых волос.

— *Monsieur*, извините, — проговорила маленькая брюнетка, почему-то ступая на кончики туфель и с любопытством всматриваясь в него. — По просьбе неизвестного нам господина, который вас вчера привез в автомобиле, мы вам должны передать вот что: вы вчера упали в обморок; ваш адрес узнали по карточке, которая выпала из вашего кармана, и все это вам надо сообщить, чтобы вы не пугались. Кажется, больше ничего, *monsieur*.

— Так значит, то, что я видел вчера, была действитель-

ность, а не кошмар! — в сильном волнении вскричал Леонид, спрыгивая с дивана и начиная быстро ходить по комнате. Он ходил в таком волнении и так быстро, что на него начинали смотреть с тревожным недоумением. Вдруг он остановился и воскликнул, глядя на старика:

— Гробы раскрываются и мертвые встают и ходят. Это или чудовищное плутовство или, если это так, то нам надо опрокинуть все наши знания и в груди своей заключить ангела, поющего: «С нами Бог». Скажите, может ли это быть?

— Что, *monsieur*?

— Чтобы, по приглашению живых, к нам являлись мертвецы.

На него смотрели с сожалением, как на больного, а старик сказал:

— *Monsieur*, разве вы это видели когда-нибудь?

— Видел, видел! Умершая родственница моя стояла предо мной и я смотрел на нее, вот как на вас. Тайные науки я считал вздором, но вчера оккультисты показали, что чудеса окружают нас и что все мы сыновья вечности.

— *Monsieur*, — сказала француженка с улыбкой сострадания и легкой насмешки, — вам только так казалось, что умершая явилась вам. Она была только в вашем воображении, *monsieur*.

Леонид стоял неподвижно, бледный, с устремленными в одну точку задумчивыми глазами.

— Конечно, *monsieur*, это так, — подтвердила ее сестра. — Мертвые никогда не встают и не беспокоят нас. — И она рассмеялась, глядя на него с сожалением.

— Может быть, вы попали к спиритам? — проговорил старик. — Теперь этих господ у нас в Париже много и, хотя они пугают нас на своих сеансах, но у кого здоровая голова на плечах, того запугать они не могут. Я им не верю. Чертей на земле нет, так же как добрых и злых духов, а если и подымаются на воздух столы и другие предметы, нарушая закон тяготения, то это силой электричества, исходящего из наших тел. Это несколько не должно вас тревожить и вам можно посоветовать только забыть об этом и успокоиться.

— Нет, я не успокоюсь, — вскричал взволнованно Лео-

нид. — Нам надо знать, кто мы такие — порождение физических сил природы или вечные духи, заключенные в тела. Человечество не может жить без разрешения этой загадки, и чтобы убедиться, что это так, взгляните только, сколько храмов воздвигнуто на нашей планете и подумайте, что вот в эту минуту миллионы рук протягиваются к небу и зывают: «Боже, мы, гонимые, казнимся на кресте мучений, уверенные, что око твое смотрит на нас». Если мы, все люди, обманываем себя, если Он отсутствует и мы все только ходячее мясо, которое сгниет и ничего от нас не останется — то пусть закружится буря, сорвутся колокола и запоют над миром последним звоном, оплакивающим жалкое человеческое стадо, пусть люди перемрут среди содомских оргий и вся земля обратится в гигантский морг с гниющими трупами в нем. Вы видите, как важен этот вопрос — бессмертны мы или нет, не для меня только, а для всех живущих, и потому я хочу добиться разрешения вопроса: кто прав — ученые или эти господа. В зависимости, как я разрешу его, я превращусь или в чудовище, или в святого.

Он был прекрасен. Дикое вдохновение светило в лице его и из глаз, а звенящий голос показывал, что душа его находится в страшном волнении. Французы смотрели на него хотя с чуть заметной насмешкой, но удивленно уставленными на него глазами и видимо пораженные.

#### IV

Душа человека есть зеркало, в котором можно видеть образ божественного разума.

*Джон Рескин*

Однажды, идя по бульвару, он вдруг остановился, пораженный видом идущей ему навстречу девушки, на мраморном белом лице которой резко выделялись большие



черные глаза, светящиеся из-под полей соломенной шляпы. Приближаясь все более, она вдруг остановилась в нескольких от него шагах. Так прошло некоторое время.

— *Monsieur*, я вас сразу узнала, — проговорила она чарующим мелодическим голоском с разлившимся по ее бледному лицу легким румянцем, и приветливо протянула ему руку.

Он стоял с протянутой рукой, испытывая ощущение холода от пожатия его руки ее маленькой холодной ручкой, и какая-то легкая нервная дрожь от руки пробежала по всему телу его. Он был охвачен жутким и сладостным чувством, влечением уйти куда-то в заколдованный мир, смотревший из глаз ее. В хрупком тоненьком теле ее было как бы легкое дыхание смерти, но в глазах ее отражалась тайна бессмертия и это рождало желание упиться ароматом умирающей розы и исчезнуть в неведомой бездне.

— *Monsieur*, я вас вижу, — сказала она с чуть заметной улыбкой, пробежавшей по ее тонким губам. — Сквозь вашу оболочку я вижу то, что есть ваше вечное «я». *Monsieur*, оно волнуется и пылает в огне... Пойдемте со мной.

Оба они медленно пошли вдоль бульвара.

— Вы видите то, что во мне — неужели?

— Да, *monsieur* Леонид. Из ваших глаз смотрит на меня существо, скрытое в вашем теле. Оно в высшей степени симпатично.

— Я делаюсь счастлив, слыша это из ваших уст.

— *Monsieur*!.. — Она приложила палец к губам и немного спустя продолжала:

— Существо это очень кроткое, очень доброе, но ему тесно в этой скорлупе, и когда вам кажется, что свет неба гаснет, оно ожесточается.

— Вы чудесное создание! — воскликнул Леонид, в увлечении снова беря ее маленькую руку в свою и крепко ее сжимая. — Вообразите, я смотрю в ваши глаза и не в состоянии от них оторваться. Как будто там, где-то в глубине, таинственный чертог и в нем маленькая волшебница-фея.

Она ответила ему улыбкой. Он смотрел в ее глаза не отрываясь и это было сладостно-жуткое наслаждение, в кото-

ром чувствовалось и веяние смерти, и дыхание майского дня. Они стояли неподвижно друг против друга, не прерывая молчания, точно из опасения нарушить это жутко-сладостное ощущение. Вдруг одновременно, точно поняв какую-то опасность, угрожающую им, оба они с легким содроганием отвели свои взоры друг от друга и медленно направились вдоль бульвара.

— Monsieur Леонид, я часто вспоминала о вас, — сказала она волнующимся голосом, нарочно глядя в сторону и срывая с дерева только что распустившийся листок.

— Знаете ли, я по целым неделям искал дом, в котором видел вас и вышедшую из могилы мою родственницу.

— Вам явилась дама с арфой?

— Значит, вы тоже видели ее! — воскликнул Леонид.

— Нет. Я была в магнетическом сне. Когда просыпаюсь, я ничего не помню; но, за исключением меня, эту даму с арфой видели все. Оставим это, monsieur Леонид. Теперь скажите, — меня вы вспоминали?

— Знаете ли что? По ночам, когда лунный свет врывается в окна моей комнаты, мне казалось, что я вижу ваши глаза, сверкающие, как два черных бриллианта.

Она мельком взглянула на него и с серьезным видом спросила:

— А может быть, это была вся я — почему вы знаете?

— Вы!

— Да, да, monsieur, мое физическое тело могло спать и в то же время я могла быть около вас.

Он остановился, пораженный. В уме его прошло воспоминание, как иногда по ночам он неясно видел белый контур колеблющейся женской фигуры и только более отчетливо большие глаза.

— Monsieur, вы не должны пугаться. Все совершается по законам невидимого астрального мира. Там свои законы, в материальном — свои. Но посмотрите на меня, я более дух, нежели тело. Это мне все говорят и я сама это чувствую. Из невидимого царства я взяла очень многое, а из этого, — хуленькое, тщедушное тело. Оно почти светится, как домик, внутри которого огонь. Я не могу в нем долго находиться и

очень скоро должна буду из него уйти.

Последние слова она произнесла совершенно спокойно, причем глаза ее, видимо нарочно, были устремлены вниз, так что он видел только розоватые веки и длинные, черные колеблющиеся ресницы.

— Меня так пугают ваши слова, что хочется не понимать их.

Она на мгновение подняла веки и ему показалось, что из-за ресниц взглянули на него две черных звезды, вспыхнувшие жаром какой-то мучительной страсти. Она сделалась еще бледнее и шла, опустив чудную головку, окруженную густыми волнами волос, точно черным волнующимся венцом.

Они шли, перебрасываясь время от времени малозначительными фразами, из которых все-таки выяснилось, что через несколько дней она уедет из Парижа и будет жить не вдалеке от него, в маленьком домике на берегу океана.

— Так я никогда вас больше не увижу! — с горечью вскричал Леонид, остановившись на месте. Она остановилась в свою очередь и тихо, таинственно проговорила:

— Мне надо распать в себе...

— Кого?

Она смотрела вниз и чуть слышно прошептала:

— Распать змея, который в умирающем, холодном теле моем жжет жаждой...

Не договорив своих слов, она на мгновение взглянула на него и сейчас же на глаза ее опустились ресницы.

— В моем слабом теле я не могу жить, не могу, *monsieur*. Оно с каждым днем слабеет и я должна буду вырваться... хотя мне жаль солнца... Мне так хочется погреться на берегу океана — в теплых лучах этого горячего светила. Я буду там одна жить, совершенно одна.

— Я хочу, я должен вас видеть. Не отказывайте мне в этом! — огорченно вскричал Леонид.

— Не знаю, что ответить, — сказала она нерешительно и в глазах ее почему-то выразился испуг. Спустя некоторое время, однако, она, после некоторого колебания, вручила ему свой адрес, написанный на ее карточке.

Идя обратной дорогой, он прочел:  
«Медея Руж, близ деревни Лафре, вилла Лекуврер».

## V

Единственная непосредственно достоверная  
реальность есть реальность сознания.

*Декарт*

Неделю спустя из поезда, остановившегося близ деревни Лафре, с чемоданом в руке вышел Леонид и направился в единственную бывшую здесь гостиницу. Наняв себе комнату, он переоделся и пошел отыскивать виллу Лекуврер, где находилась Медея. Поселяне, встретившиеся ему по дороге, указали ему на маленький домик, чуть-чуть белеющий в просвете зелени высоких деревьев.

В голубом просторе, распростершимся над зеленой землей, носился аромат распускавшихся цветов. Рои ласточек кружились над полями и, поднимаясь вверх, исчезали в голубой лазури, мелькая черными точками. Стаи скворцов шумно проносились от одного места к другому. Мир казался ликующим, поющим, сверкающим миллионами стрел, посылаемых солнцем, как огромная лира с бесчисленными струнами, к которым прикасаются пальцы невидимых музыкантов. Внизу, за серыми скалами, дышал всей своей необъятной грудью океан, голубой и волнующийся, сливающийся в отдалении с нежно опустившимся на него небесным сводом.

Леонид шел по указанному направлению с легкостью своих двадцати пяти лет. Вид его был ликующим — таким же, как и природа. Он отзывался на ласки бога своего — духа, скрытого в пространстве, — с такой же наивной радостью, как ребенок на ласки матери. Уверенность, что в нем скрыто вечное существо, снова делала его счастливым. Од-

нако же все подобные мысли, все его философские выводы находились теперь где-то в области подсознания. В сознательном, физическом уме его носился образ Медеи. Он жег его и волновал и легкая дрожь пробегала по его нервам.

Скоро он стал подходить к белому домику, находящемуся среди большого сада, идущего к скалистым высоким берегам. Белый старик, подрезывающий сухие ветви большими ножницами, прервав свою работу, приподнял шляпу и стал вопросительно смотреть на него. Когда Леонид объяснил ему, кого он хочет видеть, старик приподнял руку кверху и проговорил: «Слышите? — она играет». Действительно, среди полной тишины в отдалении доносились чуть слышные звуки скрипки. «Идите же так прямо на звуки и вас они приведут к госпоже Медее».

Леонид пошел по направлению к морю. Постепенно звуки делались все более громкими. Сад окончился. Вправо и влево от него шли скалы, колоссальные камни всевозможных очертаний и величин. Кое-где росли деревья. Он поднялся на скалу, спустился вниз и пошел по камням вдоль берега моря. Постепенно звуки делались совсем близкими и западали в душу Леонида как рыданье чьей-то души, носящейся в пространстве первобытного хаоса. Вдруг он внезапно остановился и стал неподвижно смотреть.

Посреди маленькой бухточки, где море голубым полукругом вдавливалось в скалы, на гранитной площадке сидела Медея Руж, в полном самозабвении отдаваясь своей игре. Она была в белом платье, оставляющем обнаженными ее шею и плечи, по которым падали целые волны волос. В этой черной рамке лицо ее, с классически правильными линиями, казалось высеченным из белого мрамора.

Минутами она подымала смычок кверху, как бы прислушиваясь к неумолкаемому пению океана.

Леонид продолжал смотреть.

Она издала несколько сильных рыдающих звуков и снова подняла смычок, как бы ожидая, что ей будет говорить океан.

Он начинал думать, что она разговаривает с ним и что на рыдания ее скрипки океан отвечает ей музыкой, кото-

рую слышит только она.

Ее лицо, светящееся какой-то особенной силой, так его влекло к ней, а таинственные действия ее так его трогали и поражали, что ему надо было сдерживать себя всеми силами, чтобы не закричать от боли и очарования. Бессознательно он ступил к ней.

Она взглянула на него и с быстротой спугнутой птицы поднялась. Она стояла, как белое видение, с рассыпавшимися по плечам волнами волос, хрупкая и тоненькая, но с лицом, на котором светился огонь, поднявшийся из глубины ее радостно взволнованного духа.

---

Спустя некоторое время, оба они сидели рядом на камне.

— Да, я разговариваю с океаном, то есть с существами, которые всюду поднимаются над ним, как белые, имеющие человеческие формы, легкие облака. При свете дня они для меня невидимы, но, когда восходит луна, я вижу, как они скользят под горизонтом, обвиваются лентами и иногда носятся по всему океану. Океан наполнен звуками молящими, ликующими, то торжественными, как труба Архангела, то мрачными, как похоронный звон. Видите, *monsieur* Леонид, какое я странное существо. Больная я девушка — да?

Все это она говорила тихим, нежным голоском, в котором слышались то жалоба, то радостное волнение. Леонид смотрел на нее, охваченный чувством благоговения, восторга и страсти. Это последнее чувство, скрытое от его сознания, подстерегало его, как шпион, чтобы потом наброситься, как коршун.

— Вы такая одна на целые миллионы. Если бы я еще не верил в Бога, то теперь уверился бы в Него, видя его отражение в ваших глазах.

— *Monsieur* Леонид, не возвеличивайте меня так, прошу

вас, — проговорила она, взбрасывая худенькие руки на колени и прислоняясь спиной к скале. — Во-первых, мне делается неловко, во-вторых, физически я действительно совсем больное, даже расслабленное существо, и потому только, может быть, во мне проявляются скрытые способности, в которые, однако же, часто не верят даже психиатры и таких, как я, называют душевнобольными или даже безумными. Наконец, я должна сказать вам, что я далеко не святая, а наоборот — в этом слабеньком теле сжигающая меня жажда...

Она подняла ресницы и на мгновение Леонид увидел ее черные, скрывающие неведомые тайны глаза. Они взглянули пламенем в недра его существа и по всем его нервам пробежали как бы жгучие волны. По бледно-розовым губам ее прошла странная улыбка, выдающая тайну скрытой в ней страсти.

— Под этим жгучим солнцем мне так хорошо. Его лучи, пронизывая мое тело, в тоже время согревают змея жизни, которого я должна распять... В борьбе с ним мне помогают невидимые существа, которые иногда делаются для меня видимы. Поэтому, *monsieur* Леонид, мне кажется, я напрасно боялась быть с вами наедине... Ведь из этой слабенькой, хотя и греховной храминки я должна буду скоро вылететь, как птичка из разломавшейся клетки... Вы видите сами, что вам остается только потушить в себе пламя, которое веет из ваших глаз...

По губам ее скользнула тонкая улыбка, но Леонид ее не видел. Он смотрел в ее глаза. Она нарочно с видом вызова встречала его взоры, уверенная, что победит скрытый в ее слабом теле огонь.

— Вы меня так очаровываете, что я забываю, кто я, кто вы, где мы находимся, на грешной земле или в Эдеме.

Эти слова, сказанные с задухевной искренностью, ее тронули и, полная этого нового чувства, она продолжала не отрываясь смотреть на него. Жутко-сладостное ощущение охватило его с еще большей силой, хотя в то же время огненный коршун страсти дохнул в нем пламенем. И, глядя на нее, он думал, что и в самом деле не знает, что она за су-

щество: как будто одновременно — из крови и костей — существо видимое и из огня и эфира — скрытое в земном теле.

— Нет, Леонид, не из эфира я, я просто грешное болезненное существо, — сказала она тихо, с улыбкой.

— Вы читаете мои мысли! — воскликнул он, страшно изумившись.

— Не читаю я их, а чувствую, — ответила она, продолжая смотреть на него. Что-то мучительное, пламенное и жадное отразилось в ее глазах.

— Это солнце страшно жжет! — воскликнула она, содрогаясь и бессознательно вытягиваясь своим худеньким телом, с выражением неги. Как бы в ответ на это в нем пахнуло страстное чувство. В то же время, он был растроган и проникнут каким-то нежным благоговением к ней. В избытке нежности, он стал осторожно проводить рукой по ее волосам. Ему сейчас же послышался легкий треск, исходящий из ее волос, но не обратив на это внимания, он продолжал нежно и бессознательно повторять свои пассы. Вдруг ее голова качнулась. Он с большей нежностью провел рукой по ее волосам. Голова ее еще раз качнулась и мертвенно бледным лицом склонилась на его плечо.

Она находилась в магнетическом сне.

Испуг, любовь, благоговение — все это поднялось в нем и он стал всматриваться в лицо ее, исполненный нежным участием. Из глаз ее, с мертвенным выражением устремленных вдаль, смотрела бездна души ее, и ему казалось, что в глубине ее алтарь, заволоченный кадыльным облаком. Это отразилось в его уме с такой реальной силой, что он сейчас же почувствовал аромат, исходящий от ее тела, как от пахучего цветка. Говоря иными словами — представление вызвало галлюцинацию обоняния. Растроганный ее видом, в опьянении всех своих чувств, он прикоснулся губами к ее раскрывшимся бледным губам, из-за которых белелись кончики мелких зубов. Этот легкий поцелуй страшно увеличил его чувствительность и в то же время пламя страсти поднялось в теле его, заволакивая ясность рассудка и побуждая желать повторять без конца свои поцелуи. Ощущая благоухание чудного цветка, упиваясь видом ее хотя окаме-



нелого, но дивного личика, он, в чувстве неизъяснимого блаженства, вызываемого видом Медеи, в которой соединились в одно — дух и тело, божество и вид тления, смерть и жар яркого дня, — припал своими губами к ее устам. Медея лежала в его объятиях, как труп.

Физический мозг ее находился в оцепенении и обыкновенное сознание ее оставило, но в глубине ее существа поднялось вечное — дух, который видел происходящее в невидимом мире. Ей виделись существа, проносящиеся по океану — облачно-бледные, с грозными или полными святости лицами. В то же время со всего океана неслись звуки, звоны, вой, жалобный плач, какие-то торжественные аккорды струн, смешивающиеся с звуками печали, словами молитвы. Очевидно, мир ей представлялся иным, нежели так называемым нормальным людям; но что видела и слышала она, не доходя до клеточек мозга, в сознании ее отзывалось слабо, как тени во сне. В это же время в теле ее проходило приятное ощущение поцелуев и объятий Леонида, и это, тоже слабо доходя до ее мозга, вызывало, силой рефлекса, улыбку удовольствия на губах. Вдруг она проговорила, но не своим, а чужим голосом, точно устами иного существа, скрытого в ее духовных недрах:

— Поцелуй жгут и так хорошо... целуй меня.

Не зная, что с ней происходит и видя странную блуждающую улыбку на губах ее, он снова припал к ее устам и вдруг почувствовал, что из пальцев ее рук, огибающих шею его, исходит как бы электрический ток, из круга которого можно было бы выйти разве с большим усилием. Он не испугался, а наоборот: почувствовал еще большее наслаждение от мысли, что тайные силы соединяют его с ней. Вдруг она снова заговорила, с выражением ужаса в глазах и, как и прежде, чужим голосом:

— Он стоит на скале над нами, грозный и гневный, и хочет обрушить на нас камни... Отойди от меня. Я отдана высшим силам... Слышишь, — грохочет в горе...

Образы, носящиеся в царстве ее духа, стали очерчиваться в его уме с яркостью видений, и в этом, в сущности, чудесного ничего не было: доказано, что мысли часто пере-

даются. Ему послышался грохот в горе и потом он увидел камни, покотившиеся с вершины вниз.

Лицо ее сделалось мученическим и она прошептала:

— Разбуди меня.

Он вспомнил, что читал, как надо в этих случаях поступать и, положив руку на ее голову, властно проговорил:

— Медея, проснись!

Она подняла голову, изумленно посмотрела на Леонида и сказала:

— Со мной, кажется, что-то произошло.

Вместо ответа он взял ее холодные руки в свои и прильнул к ним губами.

Она растрогалась.

Немного спустя, оба они шли к домику Медеи и он рассказал ей все, что с ней произошло.

— Вы видите, какое я больное существо, — сказала она со вздохом. — Щадите же меня, *monsieur* Леонид.

## VI

Наша мысль, хорошая или дурная,  
отправляет нас в рай или в ад, не на  
небо и под землей, а в этой жизни.

*Л. Малори*

Золотыми шариками, точками и рассыпанной золотой пылью с голубого неба смотрели на маленький земной мир мириады солнц, спутников и лун, когда Леонид, выйдя из своей комнаты в гостинице, направился к маленькому домику Медеи. Он смотрел на звезды, на беспредельный океан, по поверхности которого сверкал, точно рассыпанный рукой Архангела, золотой дождь из мельчайшего бисера, ощущал веяние теплого душистого воздуха и душу его все сильнее охватывало восторженное благоговение. Две недели,

проведенные им здесь в духовном слиянии с природой-богом и существом-загадкой — Медеей, духовно его изменили и раскрыли его внутренние очи на тайны, скрытые в проходящих земных формах. Как железо от близости магнита постепенно начинает проникаться его силой — таинственным притяжением, так и Леонид постепенно начинал привыкать смотреть на мир и жизнь ее глазами, проникаться ее понятиями и ее способностями видеть глазами своей вечной сущности существа сверхфизического мира. Его восприимчивость и нервность росли и он до такой степени был проникнут чарами Медеи, что, выучившись играть на скрипке, просиживал целые ночные часы у моря и всматривался вдаль горизонта, желая увидеть существа, о которых говорила Медея. Это не удавалось: он не видел и не слышал ничего. Однако же, когда однажды Медея, сидевшая с ним рядом, экзальтированно воскликнула, указывая смычком на горизонт: «Смотри, вон существа скользят по воде и я слышу звон», — он увидел скользящие над океаном облачные фигуры, золотящиеся в звездных лучах. Была ли это реальность иного мира или их создало воображение его и Медеи, — самовнушение или внушение, Леонид наверное не знал. Раздумывая об этом очень долго, он пришел к выводу, что это, собственно, безразлично: и в этом последнем случае это доказывало необъятность духа, глубокие сокрытые недра его, его божественность и вечность, потому что такие феномены, происходящие в царстве духа, далеко выходят из рамок всего, что могла бы выработать природа в организме-машине. Теперь он начинал понимать изречение, выбитое на воротах в Дельфах: «Познай самого себя». Познавать себя значит познать Бога и творение его — мир, потому что душа человека — целая вселенная с хорами ангелов и демонами зла.

Несмотря на высоту его мыслей, ему приходилось вести неустанную борьбу с врагом духа и вечности — демоном плотской страсти. Под покровом идеалов и любви к Медее, страсть его таилась как змея, находящаяся в засаде под прикрытием цветов — росла и дышала огненным вихрем. Красота Медеи уносила его мысли к вечным идеалам, но в ней была и женщина, и вокруг цветов его высоких стремлений

огибалась змея, пылающая жаром. И хотя тело ее было слабенским и от нее веяло могилой, но из ее глаз смотрела таинственная жажда, как бы подстрекающая разломать хорошенькую клетку чудесной птички-души. Медея, зная, что в нем происходит, говорила ему со своей тонкой, блуждающей по губам улыбкой: «Вам надо распять в себе змея тленной жизни»; но и улыбка эта, и глаза ее говорили, что в душе Медеи происходит такая же борьба и что бывают минуты, когда змей страсти подымается в ее слабом теле, пламенный и неукротимый.

Идя теперь к домику Медеи, в воображении его невольно рисовались соблазнительные картины, разгоняющие доводы холодного ума о невозможности счастья на земле. Он ясно понимал, что счастье на этой планете — недостижимая мечта, но жажда земной любви влекла его всеми чарами обольстительного обмана и всей многообещающей таинственностью бездонных глаз Медеи.

Теплый ночной ветерок как бы раздувал огонь его страсти, шум волн как бы зывал к бурям и земным волнениям, а звезды на небе как бы говорили одна другой о маленькой планете-Земле и о еще более маленьком, смешном человеческом сердце.

Он вошел в сад и, подойдя к стеклянной двери домика Медеи, остановился пораженный.

Он увидел женскую фигуру в белом, от рассыпавшихся черных волос которой ниспадал целый дождь золотых искр, освещающих ее, точно волшебным золотым фонтаном. Леонид сильно изумился и в первую минуту ровно ничего не мог понять. Вдруг свет погас. Фигура в белом направилась к двери и перед Леонидом предстала Медея, которая, изумленно глядя на него, воскликнула с чуть заметным укором в голосе:

— Monsieur Леонид!

— Я ужасный человек и несчастный, — воскликнул он, негодую на самого себя, — не могу сдержать своего влечения к вам. Оно — мой мучитель и оно гонит меня к вам. О, Медея! Может быть, эта буря в душе моей необходима, пока мы на этой планете и может быть, мы заключены в эти тела, чтоб

испытать весь палящий огонь змея жизни, все обольстительные чары демона мрака, все разочарования и холодный ужас раскаяния. Медея, я готов испытать все мучения в возмездие за мои земные чувства, но я не могу вырвать из себя мою любовь к вам.

Она стояла, не двигаясь, вслушиваясь в его слова, и на смертельно побледневшем лице ее все ярче вспыхивали бездонные черные глаза.

— Леонид, вы меня не щадите, а, наоборот, пугаете, — проговорила она очень тихо, но каким-то густым голосом, — признак глубокой затаенной страсти. — Вы все еще не знаете, что я существо, не смеющее выйти из магического круга, очерченного вокруг меня моим невидимым гостем.

При этих ее словах нервы его дрогнули, точно тончайшие струны инструмента, и глаза пугливо пробежали по комнате.

— Вы его видите?

— О, я чувствую его присутствие! — сказала она дрогнувшим голосом и с чуть заметной судорогой, пробежавшей по ее губам.

— Медея! — воскликнул он снова, пугливо озирая комнату и, взяв ее руки в свои, поднял их к своим губам и, вдруг заметив гребень в ее руке, взял его в свои руки и стал нежно проводить им по ее волосам.

Послышался легкий треск, блеснули искры и постепенно вокруг ее головы стало образовываться золотое сияние; это вызвало в нем восторг, совершенно разогнавший его пугливость. В уме его в то же время прошла мысль, что силой электричества, может быть, объясняются все чудесные явления, как это доказывают многие авторы, желающие во что бы то ни стало все «чудеса» объяснить законами физики. Теперь он искренне хотел бы, чтобы это было так, потому что вера в духовность и вечность человека — небесные цепи, оплетающие беса страстей и пороков.

— Медея! — закричал он в восторге. — В вашем слабеньком теле неисчерпаемое богатство и вот электрический дождь. Какая сверкающая красота! Над вашей головой сияющий венец, как у святой.

В состоянии нервного возбуждения он стал быстро проводить гребешком по ее волосам, восхищаясь ее чудным бледным лицом, действительно казавшимся теперь ликом бледного херувима, озаренного пламенем его сияющей головы. Нервно дрожащей рукой он все быстрее проводил по ее волосам, все с большей восторженностью любуясь ею.

— Медея, — закричал он, — небо опустилось на землю и ангел его с сияющим челом смотрит на меня своими бездонными глазами, отражающими прошлые века. Если мы на земле, а не в раю, то я не хочу знать тайн иного мира и проникать за таинственную завесу этой жизни — не хочу. Ты для меня единственная священная тайна и в твоих глазах отражается Бог и все его ангелы, Медея!

Он обвил руками ее тонкую талию, в состоянии галлюцинации упиваясь странным запахом умирающей розы. Медее была растрогана, но в то же время в ней поднялись горячие волны пламенной жадной страсти. С расширившимися блестящими глазами, забывая о всех видениях своих из других миров, она, с судорожной силой охватив шею Леонида руками, прильнула губами к его губам. Оба они замерли в этом поцелуе и он испытывал такое чувство, точно на его грудь упало с вышины существо, не рожденное на земле и заключившее его в свой волшебный круг со своей страшной магнетической силой. Какой-то огненный вихрь поднялся в нем, пробегая по всем нервам существа его, и на его голове, действием скрытых в Медее сил, зашевелились волосы.

---

## VII

Га! Это что? — Кинжал!  
Кинжал — мечта, дитя воображенья,  
Горячки жгучей угнетенный мозг?  
Но нет! Ты здесь. Твой образ осязаем  
Не меньше этого в моей руке.

*Шекспир*

Они лежали на низеньком ложе, покрытом шкурой барса, с оплетшимися руками, с поцелуями на губах, в упоительном восторге в душе, и по их нервам пробегала странная сила, заставляющая вибрировать их от темени до кончиков пальцев, как тончайшие струны чудесной арфы.

Вдруг она, освободив руку свою, подняла голову, причем на его грудь упало целое море черных волос.

— Странно, — сказала она дрогнувшим голосом, — мне послышался звон моей скрипки.

— Звон скрипки! — воскликнул Леонид, подымаясь на локоть и пугливо озирая глазами почти совершенно темную комнату.

— Вон там она висит, — сказала она, подымая руку вверх. На кончиках ее пальцев при этом засветились едва заметные искры и в тот же момент раздался громкий звон струн. После этого скрипка как бы простонала чрезвычайно мелодично и жалобно.

Оба они в испуге одновременно поднялись.

— Идем отсюда! — воскликнула она, вкладывая свои маленькие голые ноги в золоченые туфельки. — Я чувствую, он здесь. Он смотрит на меня укоризненно и печально. Я изменила чистым существам. Пойдем, где море и луна.

Желая прислушаться, она бессознательно снова подняла руку и Леонид снова заметил, как из концов ее пальцев блеснули искорки. Вслед за этим по комнате пронеслись

печальные и мрачные звуки, напоминающие вздохи и рыдания.

— Этих его штук я никогда не боялась, но теперь я трепещу.

Она быстро направилась к двери. Леонид, идя за ней, чувствовал, что его влекут какие-то незримые нити, переходящие в него из ее слабенького тела. Он сейчас же подумал, что это электричество или, может быть, флюид, как бы соединяющий его с ней в одно существо. Он нервно содрогался, ощущая страх и невыразимо приятное чувство — одновременно.

Они прошли сад. Внизу за скалами шумел океан и над ним на горизонте неба блестело, точно красно-огненное знамя, зарево еще не показавшегося солнца. Бесчисленные звезды постепенно бледнели и одна за другой гасли, точно Божьи огни, гасимые крыльями пролетающих ангелов.

Она быстро шла, пугливо озираясь по сторонам, взошла на скалу и вдруг остановилась, задрожав с головы до ног.

— Он сейчас промелькнул мимо меня. Ты не видел?

Леонид бросился к ней.

Подняв руку, она одним жестом остановила его.

— Не прикасайся ко мне.

Из ее глаз пахнуло мрачное пламя.

— Проклятый змей дышал в моем теле жгучей жаждой и погубил меня. Смотри, вон дух.

Она вдруг опустилась на колени. Глаза ее в ужасе расширились и, простерев руки к океану, она заговорила:

— Белые облики существ, чистые и светлые, с торжественной песней поднимают солнце над миром. Видишь ты их? Я хочу, чтобы ты их видел. Смотри.

Леонид стоял в двух шагах от нее, но он чувствовал, что его связывают с нею мельчайшие невидимые нити и что ее сила переходит в него и даже, что он думает мыслями, исходящими от нее. Поэтому, может быть — законом внушения и передачи представлений — всматриваясь в океан, он вдруг увидел бледные облачные фигуры, идущие по поверхности воды в красных цветах загоревшегося востока. Охваченный молитвенным восторгом и одновременно ужасом,



он стал на колени рядом с Медеей и воскликнул:

— Мир невидимый открывается глазам моим. Какое чудное, неизмеримое величие и красота! Только теперь я чувствую, что во всей вселенной разлито дыхание Бога.

В этот момент Медея, глядя вниз в одну точку, с ужасом в глазах воскликнула:

— Кинжал!..

Дрожащую руку она простерла по направлению к камню, на котором и Леонид увидел маленький блестящий кинжал.

— Смотри, острием ко мне. Это он мне его подает. Ну, мой милый, простись со мной. Я должна оставить это слабое тело, потому что он этого требует. Смотри, кинжал двигается и ползет ко мне. Он хочет сказать мне этим: возьми.

Леонид смотрел на кинжал, охваченный холодным ужасом. Как казалось ему, кинжал подползал, как живой. Хотя он находился в сильнейшем волнении, в его голове все-таки прошла мысль, что в движении кинжала ничего необычайного нет, так как тело Медеи все проникнуто какой-то страшной силой — омоном или просто электричеством.

Однако же он видел и то, что расстояние между протянутой рукой Медеи и кинжалом все более сокращалось и, охваченный испугом, он схватил его и положил к себе в карман.

Медея изумленно посмотрела на него, качнула своей чудной головкой и со скорбной улыбкой на губах волнующимся голосом тихо проговорила:

— Напрасно заботишься о моей земной жизни, мой милый. Я приговорена к казни тела моего могучими астральными существами. Вон он предо мной и я слышу его голос: встань и иди.

Дрожа всеми членами, она поднялась и медленно пошла вверх по скале. С распущенными волосами, с глазами, неподвижно устремленными в одну точку, она походила на сомнамбулу, идущую на зов невидимого повелителя. Леонид шел за ней, полный зловещих предчувствий и готовый каждую минуту ее поддержать.

Она взошла на вершину скалы и остановилась на камне,

так как далее некуда было идти: скала круто обрывалась к берегу океана. Вдруг произошло нечто совершенно непонятное для Леонида.

Около Медеи появилась белая фигура с мертвенными, как бы внутрь себя смотрящими глазами и с простертой вперед рукой. Он видел, как Медея ухватила за эту руку, потому что в этот момент камень, на котором она стояла, зашевелился и с шумом полетел вниз. Почти одновременно с этим Леониду показалось — и, вероятно, это была галлюцинация — что он видит две Медеи: одна, легкая и воздушная, пролетела над морем в воздухе, и другая, в которой было тело и кости, вместе с сорвавшимся камнем покатились вниз.

## VIII

Душу можно сравнить с прозрачным шаром, освещенным изнутри собственным светом своим. Этот огонь есть для нее не только источник всякого света и истины, но и освещает ей все внешнее.

*Марк Аврелий*

Солнце падало на запад.

Мертвая Медея, в белом платье, с розами на голове, лежала на ложе, покрытом барсовой шкурой, на котором еще так недавно она находилась в объятиях Леонида. Череп ее был раздроблен и черные волосы, спадающие на ее плечи и грудь, были окрашены кровью.

Белый старичок-садовник стоял в ее ногах, глядя на нее печальными глазами; несколько крестьян стояли в стороне, а Леонид, скрестив под себя ноги, сидел на полу со свешенной на грудь головой и с глазами, неподвижно устремленными на лицо мертвой. Из глаз этих теперь лилась то-

ска, терзания невыразимой скорби и потому они казались дикими и страшными. На губах его сильно осунувшегося лица змеилась странная больная улыбка мучительного страдания и казалось, что он закричит от внутренней боли.

На коленях его лежала груда цветов и время от времени он бессознательно вплетал их в волосы мертвой Медеи, с убитым видом любуясь ее неподвижным лицом, в открытых глазах которого уже погасло отражение прошлых жизней. И все-таки в лице ее было выражение блаженного счастья и покоя.

Несмотря на все мучения свои, в уме его было сознание, что она только ушла из этого хорошенького домика-тела и продолжает жить невидимо, может быть, вот здесь, около него. Это его, однако же, мало утешало: вид ее безжизненного холодного тела вызывал в нем такое сожаление к ней, что внутри его что-то рвалось, плакало, ныло от боли. «Вот я теперь невыразимо мучаюсь, — проходило в его уме, — и не испытаю я больше в этой жизни никакой радости, никакой, и это потому, конечно, что душа моя на этой земле — небесная гостья, и все-таки жаль, ужасно жаль..»

Вдруг он содрогнулся и, вспомнив о чем-то, положил руку в карман и в лице его отразилось сильное изумление: в кармане кинжала не оказалось.

В первый момент это спутало все его мысли и заставило во всем усомниться: и в себе, и в реальности видений Медеи, и в бессмертии человека. «Кинжал — создание моего ума, иллюзия, не было никакого кинжала, — проходило в его уме, — а между тем, я его видел и мне даже казалось, что <я> осязаю его, кладу в карман. Что же было действительным и что только носилось в воображении — теперь я ничего не могу понять: ум — создатель иллюзий, а если так, то нельзя отличить реальность от мечты».

Здесь его мысли прервались. Как казалось ему теперь, чудесные явления, может быть, можно было объяснить силой электричества, которым наполнена была Медея. Он вспомнил также, что из кончиков ее пальцев исходили искры, которые могли невидимым током действовать на материю. Звон скрипки, например, можно было очень легко объяс-

нить именно ее способностью излучать из себя сверкающие электрические лучи, точно так же, как и движение кинжала... «Но ведь кинжал был воображаемым, — прошло неожиданно в уме Леонида, — а если так, то и звон скрипки, и существа на океане — все это одна гигантская иллюзия. Но может быть, все это было вполне реальным, — на астральном плане потустороннего мира. И чем объяснить ее способность читать мои мысли и мою — воспринимать в своем умезеркале ее образы? Ясновидение и внушение? Но в таком случае, электричество здесь никакой роли не играет... Или, может быть, оно — материализованная мысль. Что это за сила, ведь никакой ученый не знает и никто не видел ее. Материя это, или в ней скрыта сила духа, или это собрание монад, духовных атомов, как их понимал Лейбниц, — вот еще вопрос. Если истина в последней возможности, то тогда многое можно понять. Электричество или монады-духи действуют на материю, повинаясь воле субъекта, и создают образы в невидимом мире. Они и реальные, и иллюзорны одновременно. Электричество или подобная ему сила проникает все вещи и связывает воедино материю и дух».

Раздумывая так, он сидел неподвижно с опущенной вниз головой и глаза его были устремлены вниз. Мысли его как-то кружились, нигде не находя точки опоры, так что он чувствовал, что все более входит в какой-то заколдованный круг, из которого нет возможности выбраться, начинал понимать, что мысли — воздушные спутники мучений сомнением, но что на самом деле он вполне убежден в вечности духа и даже в том, что Медея вовсе не умерла, а перенеслась только в невидимый для наших глаз тончайший эфир. «Хотя ее тело здесь, но никогда в нем уже не зажжется дыхание жизни... никогда, никогда».

Леонид вздрогнул так, точно по всем его нервам пробежала боль, и в глазах его, с выражением мучительной скорби уставленных на лицо мертвой, показались слезы. Вдруг, под влиянием новой мысли, он вскочил с места, схватил висевшую на стене скрипку и, приложив ее к плечу, с видом мрачного вдохновения начал играть. Скрипка зарыдала, точно в ней было скрыто сердце, облившееся слезами,

и в то же время слезы блеснули и в глазах Леонида. Вдохновение и душевная боль сделали лицо его ужасным: на нем дрожал каждый нерв и в то же время глаза его дико горели. Душа его, казалось, носилась по струнам: они так звучали, что присутствующим крестьянам воображались спускающиеся с небес ангелы и на земле толпы людей, в священном восторге простирающие к ним руки. Вдруг он остановился, внимательно посмотрел на лицо мертвой и воскликнул:

— Девица, говорю тебе, ты не умерла. Ты здесь, около меня, ты вошла в меня и в мою скрипку: твоя душа звучала в ней.

Он взглянул на садовника, на крестьян и с видом восторга и вдохновения воскликнул:

— Она не умерла, а я бог. Мы все бессмертны. Никогда я это так не чувствовал, как теперь. Дух мой выходит из оков тела и потому я все вижу и слышу.

Под влиянием какой-то новой мысли, он выбежал из комнаты, унося в своем зеркале-уме отражения удивленных лиц крестьян и в то же время сознавая, что они непременно будут говорить о нем, как о человеке, потерявшем рассудок. «Когда человек находит бога в себе, людям кажется, что он себя теряет».

С этой последней мыслью в голове, он быстро неся по саду к скалам. Вид его был вдохновенным и лицо светилось. Уверенность, что Медея здесь, около него, и что он сам такой же дух, как и она, только находящийся в плену у тела, уничтожала все его недавние мучения. Теперь он положительно чувствовал свою духовность, свое бессмертие, свою способность видеть невидимое, проникать за пределы мира и носиться на крыльях вечности. Нервы его вибрировали, как тончайшие струны, но это физиологическое условие подъема духа он во внимание не брал.

Миновав сад, он подходил к скалам, желая отыскать место, где он стоял на коленях с Медеей. «Вот здесь», — сказал он себе и остановился, глядя вниз в одну точку с видом невыразимого изумления: на камне лежал кинжал. «Так, надо думать, я его уронил, — этот настоящий кинжал, несом-

ненно, из материального мира. Я его возьму».

Он протянул руку и в тот же момент увидел, что кинжал движается, но вслед за этим заметил, что это было только очертанием кинжала. Он хотел схватить его, но это не удалось. Кинжал как бы обратился в пар и рассеялся в воздухе.

Он долго стоял неподвижно, охватив рукой свой лоб, пораженный этой новой загадкой и не умея разрешить ее. «Что же это, в воображении моем он был, и тогда это болезнь, горячка ума моего, или это кинжал сверхвидимого мира, где, может быть, носятся в виде отражения всего вещественного астральные вещи? Я уверен, что истина в последней возможности. Психиатр назвал бы мое состояние безумием, а я называю его иначе: прозрением и выходом своего «я» из темницы-тела. Камень, скатившийся вниз, был, конечно, таким же — из области потусторонней, а реальный остался на том же месте».

Он быстро пошел вперед и, дойдя до вершины скалы, остановился и стал смотреть с выражением еще большего изумления, чем при виде кинжала. Он прекрасно помнил камень, который, выдвигаясь из скалы одной половиной своей, другой висел в воздухе, и вот теперь его не было, а вместо его зияла глубокая яма. Новая загадка эта совершенно перепутала все прежние мысли Леонида. Чтобы сбросить такой камень, необходима была огромная сила, и так как он видел стоящее около Медеи существо, то приходилось допустить не только его реальность в астральном мире, но и способность действовать с большой силой на материю. В конце концов, Леонид пришел окончательно к убеждению, что таинственное существо, которого так боялась Медея, чтобы спасти ее от «колеса жизни», то есть любви, пребывания в теле с ее знойной жаждой, сбросило ее физическое тело со скалы и унесло в неведомый мир астральный, как это он видел сам.

Это походило на сказку, взятую из какой-нибудь Шехерезады, на бредни деревенских колдунов, возмущающие гордость интеллигента, — его здоровый ум, заключивший небо и звезды, видимое и невидимое в ясные и понятные

колодки научного закона. Это те бредовые идеи, обладателей которых держат в парижском Шарантоне, а в Петрограде — в доме Николая Чудотворца.

Леонид это прекрасно понимал, но наряду с этим он понимал, что тот, кто разбросал в беспредельности миры, образовал в то же время и миллионы загадок, и что того, кто проникает в них, называют иногда мудрецом, но гораздо чаще сумасшедшим. Леонид видел сверкающую, необъятную бездну и с восторгом готов был в нее броситься, хотя чувствовал, что ему придется отделиться от доводов аппарата-мозга, уносясь на крыльях вечного духа. С глубины клеточек аппарата-ума исходили мысли, говорящие: ты безумствуешь, я — ум, высший авторитет, именем правильно функционирующей машины-мозга утверждаю, что все это вздор, моими физическими глазами я вижу, что вселенная — материя, а то, что ты видишь глубиной твоей воображаемой вечности, есть болезнь, бред, мечта, галлюцинация.

— Ты — раб, ты — ползучий червь, — энергично возразила вечность, как казалось Леониду, с глубины его существования. Он стоял на вершине скалы в позе борца, со светлым, вдохновленным лицом, и он смотрел вниз, как бы желая видеть организм-животное, внешние формы его сокрытой сущности, название которых: Леонид. В воображении его отпечатался, как отражение в зеркале, этот внешний организм-Леонид с такой яркостью, что ему вдруг показалось, что его внешняя форма стала отделяться от его другого, вечного Леонида и, отделившись, стала против вето. Великая радость охватила его при виде своего материального двойника. Он полагал, что с ним произошло то раздвоение, которое, как уверяют оккультисты, происходит с индусскими йогами и факирами, только в обратном порядке: они отделяют от своего физического тела астральное, а он видел перед собой свое животное-организм с грубым лицом, выражающим палящую жажду. Он упустил только из виду, что такой феномен можно было произвести силой одного болезненно-яркого воображения. Почувствовав в себе легкость вечного существа и ощущая возможность унести в сверхматериальный мир, он, глядя на организм-животное, воскликнул:

— Червь, червь! Вот я освободился от тебя и вижу, какой ты гнусный. Ты жег меня палящей жаждой, унижая Бога во мне, помрачая свет понимания моего вечного духа. Ты лун, стоязыка ложь, софист, оправдывающий все мерзости, все пороки, все низкие выводы твоего аппарата-ума, все гнусные, животные похоти твои... Могила ждет тебя и черви тебя сгложут. Я же вечное, здесь я гостя на земле, но мне душно на ней и я рвусь отсюда, потому что родина моя — небо, я тоскую здесь, хотя бы на голове моей была корона всех королей, потому что я странница вечная и небо — родина моя.

Охваченный вдохновением, Леонид зашагал по скале с такой легкостью, точно его уносили невидимые крылья. И вдруг он весело воскликнул, с нервным смехом посматривая вокруг себя на небо и на море:

— Есть многое на небе и земле — и так далее... Опошленные устами толпы слова, но все равно, вот что я хочу сказать: Шекспир видел это глазами духа, а не машинным умом, точно так же, как я играю ни этой скрипке не рукой, а пламенем духа своего. Музыка — звуки небес, упавшие на землю.

Он снова стал смотреть в одну точку, где, как казалось, колебался в вечерней мгле его двойник, животное-машина Леонид, и глядя на него с сарказмом, он снова воскликнул, держа скрипку у плеча:

— Знай, грязное тело, что скрипка эта могла бы доказать тебе своими тысячью устами, что дух мой — вечность и дом его — небо, ибо для машины-тела непонятны звуки, рвущиеся к небесам, рыдания о царице-душе, терзающейся в цепях греха, вздохи о вечной бестелесной любви, звуки тоски по высокому идеалу — совершенной красоте. Как это может чувствовать все ходячая глыба глины? Ха-ха-ха! Слушай, ты, тело, что говорит струнами этой скрипки моя вечность.

Он стал играть. Понеслись торжественные, точно льющие аккорды, в которых слышались то рыдания, то боль и слезы мучительной любви.

Играя, Леонид поражался сам неожиданно явившимся в нем музыкальным даром, восхищался, и от его собствен-



ной игры слезы лились из его глаз.

— Ха-ха-ха! — вырвался из его уст странный восторженный хохот. — Люди не знают, кто они и откуда пришли, а я знаю, кто я — <я> бог и носился всегда в бездне времени. Однако я слышу, что вместе с звуками скрипки моей несутся другие звуки. Кто это?

Во всем существе его произошло как бы перерождение. Оно действительно одухотворилось и в эти минуты подъема он почти освободился от власти плоти. Очень возможно, что в таком состоянии он мог слышать и видеть реальности иных миров, не галлюцинируя. Отрицать возможность таких невидимых реальностей значит проявлять педантически-формальное миропонимание и даже, если угодно, суровое профессионалов — людей науки: свободный от цепей ум, во всем сомневаясь, все допускает.

Да, Леонид слышал новые звуки, которые как бы сливались с игрой его скрипки и, желая увериться в этом, продолжал играть, прислушиваясь. Ему казалось, что он присутствует на концерте невидимых музыкантов. И вдруг против себя во мгле ночи он увидел Медею. Она стояла, колеблясь как облако, делая движения рукой и у плеча ее была скрипка.

— Медея! — в чувстве восторга воскликнул Леонид, падая на колени и простирая к ней руки. Только на миг в воздухе сверкнули большие бездонные глаза и призрак, поднявшись вверх, рассеялся как пар. Он продолжал стоять в оцепенении с простертыми руками.

— Monsieur Колодников! — раздался сзади его голос. Он обернулся.

Около него стоял высокий человек, глядя на него немигающими, пронизательными глазами, и не успел Леонид выразить свое изумление, как Рабу заговорил:

— Находясь далеко от пределов Франции, я видел все, что здесь происходит. Медея — моя ученица — была обречена распять в себе змея палящей жажды жизни, но вы, monsieur, разбудили ее земные чувства и потому духи, охранявшие ее, сбросили тело ее с этой скалы. Мы, проникающие в великие тайны мировых законов, не сожалеем о разби-

тых сосудах, а напротив, радуемся освобождению души от мучительной необходимости катить колесо жизни. Теперь она свободна. Не жалейте о ней и, если хотите доставить ей радость, откажитесь от служения телу и следуйте за мной.

---

Леонид уехал в Париж. Находясь в обществе странных людей, — «волшебников» нашего времени, чудаков, отвернувшихся от всех прелестей жизни, людей, вызывающих насмешки, обвинение в шарлатанстве, и только иногда искреннее удивление к чарующим явлениям, мнимым или истинным — представляется каждому понимать по степени его знания и широты ума — убедить никого нельзя, — Леонид проникался уверенностью в присутствии в нем высших духовных сил и медиумических способностей. Неодушевленные предметы, как ему казалось, двигались и подымались по его желанию, невидимая рука писала, отвечая на все вопросы его, и даже при известных условиях появлялись тени умерших. Все способности его, все силы его духа поднялись до необыкновенной высоты, чувствительность его сделалась чрезмерна, и уже по всем этим данным он сделался совершенно особенным человеком, способным действовать на других людей, увлекая их, как могучий дух, заключенный в тело. Возможно допустить, что все его убеждения и вера в свои силы — чудесная иллюзия, но если это так, то иллюзия — могучий рычаг, способный вознести человека на высоту человекообразного божества.

---

Едва в голове неподвижно сидящего на холме с устремленными на Москву глазами Леонида пронеслись все

эти воспоминания, как среди тишины раздался громкий гудок. Он обернулся.

Со стороны фабрики длинной вереницей двигались рабочие.

Леонид встал и направился к кучке фабричных.

Немного спустя, стоя посреди них, он дружелюбно разговаривал с ними с такой простотой и искренностью, что в лицах слушателей отражалось все большее изумление.

## ГЛАВА ТРЕТЬЯ

Исчезни! Прочь! Пусть гроб тебя укроет!  
Твой череп пусть и кровь охолодела!  
В твоих сверкающих глазах нет зренья!

*Шекспир*

Посреди черной комнаты стояла степенная Анна Богдановна и ее младшая дочь Зоя — двадцатилетняя девушка, стройная и высокая, с черными волосами, огибающими овал ее розового, дышащего жизнью лица. Синие глаза ее под черными полукругами бровей смотрели дерзко и вызывающе и в углах ярко-красного рта как бы затаилась насмешка. Мать, посматривая вокруг себя, была печальна и серьезна, дочь, обводя сверкающими весельем и насмешкой глазами комнату, звонко хохотала.

— Да ведь это просто какая-то гробница, мама! — воскликнула она, продолжая хохотать с закинутой головой. — Хоронят тут кого-нибудь, что ли? А вон крест и череп. Оригинально, черт возьми! Нет, как хотите, я сюда всех позову.

С этими словами она направилась к маленькой средней двери, и не переставая смеяться, начала кричать:

— Капитон, Глафира, Тамарочка! Да идите же сюда, идите!

Минуту спустя, в дверях показалась целая группа лиц.

Все они удивленно и со смехом стали озирать своими глазами мрачную комнату, в то время как Зоя не переставала звонко хохотать, закинув назад голову, отчего на поверхности горла ее что-то билось, как у поющей птицы.

В это время другая дверь с шумом раскрылась и в комнату быстро и с сердитым видом вошел Колодников в сопровождении своего управляющего. За ними шел Леонид.

После последнего разговора отца с сыном отношения между ними все более обострились. Фабрикант все более приходил к убеждению, что его сын нестерпимый чудак, понять которого нет никакой возможности; что его философские и мистические понятия о жизни, а тем более его вера в вечность человека — чистейшие бредни; в этом он хотел бы не сомневаться. Где-то, однако же, в глубине души его рождалось сомнение, как бы говорящее: да полно, так ли это, что ровно уже ничего нет, кроме ходячих тел, подумай. Думать он не хотел и даже боялся. И чем яснее внутренние голоса нашептывали ему, что что-то не так, тем он более раздражался, желая заглушить их своей непреклонной волей. Это ему было тем более необходимо, что в его прошлом было много таких событий, воспоминание о которых его мучило, и он всегда и в прошлое время делал все усилия, чтобы их основательно забыть. Это ему и теперь удавалось до некоторой степени благодаря его уверенности, что над людьми нет никаких судей и что человек основательно сгнивает в могиле без остатка. Однако же, воззрения Леонида, вид его комнаты, его крайняя чувствительность к страдающим и обиженным — все это с глубины души его подняло совсем нежелательную гостью — совесть, и с глубины ума — целые вихри мыслей о Боге, вечности и смерти, и это равносильно было тому, как если бы кто-то невидимый громко закричал: «Серафим Колодников, пожалуйста, суд идет». Суда он не хотел, а тем более где-то на небесах, что рисовалось его воображению несравненно более ужасным, нежели все кандалы и виселицы, которые только могли придумать люди. Очень естественно, что он пытался разбивать такие навязчивые идеи и что во время этих стараний страшно раздражался. Петр Артамонович, который из политиче-

ских видов задался целью его попугивать, при первой попытке своей должен был от этого отказаться: фабрикант посмотрел на него такими грозными глазами, что управляющим овладел страх. Другое дело Леонид: никакие грозные слова фабриканта, ни удары палкой о разные предметы на него решительно не действовали. Сын оставался или совершенно спокойным, или, что еще сильнее действовало, в лице его выражались грусть и сожаление; а раз, когда отец вспыльчиво закричал: «Кажется, я разобью этой палкой твою голову», то Леонид подошел к нему и, блистая глазами, кротко сказал: «Голову — разбейте, а моей вечности вы повредить не можете». Все это чрезмерно изумляло старика и наперекор его воле рождало к сыну уважение. Он, однакоже, ожесточенно боролся с такими своими чувствами, желая убедить себя, что его сын дурак, идиот, юродивый, сумасшедший <...>

Дойдя до конца комнаты, Колодников обернулся и, глядя на сына, вспыльчиво закричал:

— Юродивый ты или дурак — отвечай, приказываю <...>

Он выпрямился и уже своим настоящим, грубым голосом раздражительно продолжал:

— Эй, Леонид, смотри, церемониться не буду, согну. Ты чувствительный глупец — знаю, а я кремень. Меня не прошибешь, слеза не прольется из глаз, сколько ни пой, а рука подымется. Зловреден ты для меня, так сокрушу, как пить дам. Мирную фабрику мою волновать не смей <...>

Палкой бы оттузить тебя, безумный сын. Философия твоя такая шарманка, что как ни заводи, одно дурацкое юродство выходит. А эти шарлатаны в Париже — кто они, спрашиваю? Спириты, волхвователи, чертоманы! Отрезать бы им языки, негодяям. Ты так одурел, что, кажется, хочешь заживо похоронить себя в гробнице этой.

Раздался смех, вырвавшийся из уст всех молодых людей, стоящих у двери, а Леонид, глядя на них и подняв руку вверх, с необыкновенным чувством и ударением в голосе проговорил:

— Это — траур, мой дух в трауре, незримые существа, подымаясь из могил своих, облачают трауром это огромное

здание и, стоя над этим колоссальным гробом, поют: «Со святыми упокой».

— Га! — воскликнул пораженный фабрикант, изумленно глядя на сына.

— Со святыми упокой! — воскликнула Зоя и искусственно рассмеялась, глядя на сестру такими глазами, которые как бы говорили: смейся же, это ведь очень забавно. Глафира — высокая блондинка с высоким лбом, светлыми глазами и правильно очерченной нижней частью лица — досадливо засмеялась и сейчас же крикнула:

— Илья Петрович, пожалуйста сюда, скажите, что происходит с моим братом.

Сын управляющего, который только что вошел в комнату, подойдя к Глафире и поцеловав ее руку, начал ей тихо что-то рассказывать, вызывая смех всех собравшихся здесь молодых людей. В это время старик Колодников, глядя на Леонида, громко проговорил:

— Послушай, безумный сынок; ты и впрямь не в своем уме. Что делать мне с тобой — говори.

— Оставь его в покое, — проговорила Анна Богдановна, направляясь к мужу, — это самое лучшее, тем более, что души его печальной и глубокой тебе, Серафим, не понять.

— Во как — не понять! — воскликнул с досадливым смехом фабрикант. — Слышишь, Петр Артамонович, стары мы с тобой, из ума выжили, и нам не понять. А кто же это сорок лет ковал денежки? — воскликнул он совершенно неожиданно, поглядывая на всех из-под седых бровей злыми глазами. — Человек — дудка для меня: беру в руки и играю что хочу, а вот сын приехал, так мне его и не понять.

Он пристально стал смотреть на стол и этажерки, где лежало много книг и, быстро подойдя к ним и прочитывая заглавия, начал со смехом бросать их на пол.

— Магия! — фу, дьявол поberi! Спиритизм, оккультизм — что за наука такая?

Он отошел от стола и, глядя на сына, сказал:

— Черта ты вызываешь по ним, что ли?

Воцарилось молчание. Все смотрели на Леонида с любопытством, ожидая, что он на это ответит, и к общему удив-

лению он сказал:

— В воздухе, вокруг фабрики этой, в этой комнате — всюду невидимые гости — души умерших. Тела гниют в земле, но бессмертные души их, облекаясь тончайшим эфиром и сохраняя прежний свой образ, носятся над нами.

Он говорил все это таким уверенным голосом, что уничтожил в присутствующих всякое желание смеяться. Была полная тишина, и Леонид, глядя уже исключительно на отца, проговорил:

— Знайте, папаша, в этой комнате — в своей темнице бывшей — часто присутствует незримый гость... Клара.

Фабрикант вздрогнул и лицо его побледнело.

— Ты в уме?.. Клара безумная? Смеешься ты, плут.

Желая осмеять сына, он искусственно рассмеялся, но как бы в ответ на это наступила еще большая тишина. Чувствуя холодный страх в душе, желая рассеять его и показать присутствующим, что слова сына в нем ничего не вызывают, кроме смеха, он снова стал посмеиваться, но лицо его было неприятным и злым.

— Замечай, сынок: хохочет, а сам как рубаха побелел, — тихо проговорил управляющий своему сыну.

— Довольно, Серафим, — взволнованно сказала Анна Богдановна, — твой смех неуместен и странно отдается он.

— Распотешил он меня, — проговорил Колодников, сразу переставая смеяться, и со злобой в лице стал пристально смотреть на сына. Последний, к общему изумлению, проговорил:

— Клара тоже смеется по ночам своим горьким голоском, как прежде, когда в комнате этой сидела, и голосок звенит, и слезы слышатся в нем... Иногда же по комнате этой проносится звон струн ее арфы. Вот, слушайте.

Все, что говорил он, было совершенной правдой, то есть в том смысле слова правдой, что, просиживая ночи в этой комнате и вспоминая о давно умершей Кларе, он действительно начинал слышать ее голос, звон струн арфы и иногда ему казалось, что в темноте он видит очертания женской фигуры, белеющей, как облако. Вопрос заключается только в одном: были ли эти явления действительными в каком

угодно миру — материальном или невидимом, — или все они находились только в его воображении, то есть, говоря иными словами, были образами галлюцинации его слуха и зрения. На это можно ответить только одно: если и допустить объективность всего, что он видел и слышал, то во всяком случае это если не вызывалось, то сопровождалось особенным подъемом всех духовных сил его и вибрированием всей его нервной системы. Иллюзия веры, вызывая иллюзию зрения, утончала все существо его, одухотворяла его и его нервы, как тончайшие струны инструмента-организма под влиянием палочки капельмейстера, его воли, производили всевозможные феномены, и можно допустить, что вызывали не только образы галлюцинации, но явления объективные — делали видимыми.

— Вот, слушайте! — повторил он снова и вид его сделался странным и удивительным: он как бы выше и тоньше стал, голова высоко поднялась, как у повелителя невидимых армий глаза, расширившись, сверкали фосфорическим блеском и губы побледневшего лица сложились в выражении властной воли. Вдруг он закричал:

— Медея, пусть зазвонят все струны арфы.

Можно допустить, что в этот момент, под влиянием воли его, из его тела вылетели электрические лучи и ударили о струны создавшей его воображением арфы или же, что образы его ума вспыхнули в воздухе...

Раздался громкий звон струн — внизу и под потолком, и наступила тишина.

Молодые люди, образовавшие у двери кружок, стояли с побледневшими лицами, удивленными глазами глядя на Леонида; Анна Богдановна всплеснула руками и повернулась к мужу своему, а последний, стоя с совершенно бледным лицом, смотрел на сына глазами, с глубины которых светился ужас.

— Вот черт побери! — неожиданно воскликнула Зоя, нарушая общее молчание. — Может быть, это часы такие у него?

— Но где же они? — сказала Анна Богдановна. — Их нет.

Этот разговор вывел фабриканта из состояния оцепенения и, подозрительно оглядывая стены и потолок, он глу-



хим, волнующимся голосом проговорил:

— Магия, когда так. Колдун ты, что ли?

Леонид нервно вздрогнул и с бледным, точно облитым сиянием лицом, подняв руку кверху, заговорил:

— Вот настала полночь, и в это время Клара иногда является, вся в белом, светясь астральными лучами, как серебром. Чувствую легкое дуновение воздуха и потому знаю, что она здесь... Слышите, она поет? Слушайте!

В этот момент он приобрел какую-то трудно понимаемую власть над присутствующими — настолько, что все стали прислушиваться, уверенные, что кто-то поет: несокрушимая вера Леонида, его вдохновенный вид породили в них иллюзию. Кроме того, то, что произошло вслед за этим, имело и другую причину. В голове Леонида кружились мысли в известном порядке, с яркостью надписей, вспыхивающих в воздухе фосфорическим светом, и это по закону передачи мыслей переносилось от него к другим.

В воздухе дребезжал тихий голосок, поющий знакомые фабриканту слова.

Присутствующие стали изумленными глазами переглядываться, а старый Колодников, как бы желая убедиться, во сне все это происходит или наяву, провел ладонью руки по лбу и глухо проговорил:

— Голова моя не на месте. Странно очень, мне слышался голосок...

— О, Серафим, — воскликнула Анна Богдановна, — и я слышала, Богом клянусь...

Она не успела договорить, как Леонид поднял обе руки кверху как капельмейстер, дирижирующий невидимыми музыкантами, и вдруг все услышали тоненький и тихий голосок, звенящий где-то в пространстве:

О, кайся, безумный злодей!..

Все вздрогнули и переглянулись.

Среди наступившей тишины странно прозвучал голос старика, глухой и дребезжащий:

— Расстроен я, и в этом, полагаю, ключ волшебства. И

доктор так сказал бы. Бывает, что видим, чего нет, и слышим, когда все молчит.

Он согнулся, опустил голову и колени его дрожали. «Каяться велит мне покойница, из гроба вставши... — проходило в уме его, — супруга ее убил я. Что ж это, или земля, растреснувшись, стала выбрасывать мертвецов своих?!»

Испытывая один холодный страх, он испуганно из-под нависших бровей посматривал на сына. В это время Зоя, которая успела уже усомниться во всем происшедшем, с насмешливым задором проговорила:

— Решительно не понимаю — стоят все бледные и смотрят испуганно. Уморительные чудачки!

Глафира взглянула на сестру и, почувствовав в себе смелость, сказала:

— Чепуха какая, — вообразить, что поют покойники.

— Конечно, вздор, — тоном полной уверенности сказал Илья Петрович, — впрочем, наш маг умеет это делать, то есть своим безумием зажигать безумие и у других, и неудивительно: сумасшествие — болезнь заразительная. Смотрите, какой он — бледный, с горящими глазами.

В этот момент Леонид, пристально глядя на отца, вдруг воскликнул:

— О-о! Как побледнели вы!

Старик поднял голову с искаженным от злобы и затаенного страха лицом и грубо ответил:

— И не думай, дурак.

— Дурак и не думает, но я вижу, что в ужасе душа ваша, — проговорил Леонид, продолжая пристально смотреть на отца, и вдруг по лицу его забежали морщинки в нервном и горьком смехе.

— Папаша, не ужасайтесь так. Ровно ничего, что мертвая поет. Ведь жизнь это — тайна, а в том незримом мире, куда мы отправимся с вами, тайнами одеты небеса и тайной сверкает каждая далекая звезда.

Пока говорил он все это, в голове старика проносились всякие предположения о причине слышанного им голоса мертвой, и вдруг, почувствовав прилив радости, он воскликнул:

— Остановись, сын, дай сказать. А что, если ты шарлатан, а? Искусству такому в Париже научиться нетрудно. Признавайся, там под полом кто-нибудь спрятан, а? Ха-ха-ха-ха! По глазам вижу — плут.

Почти уверенный, что тайна мнимого «кудесничества» сына заключается в плутовстве, он почувствовал, что с души его как бы свалилось что-то холодное и тяжелое и, нервно перебегая с места на место, стал постукивать палкой о стены и пол.

— Под полом, что ли? Ну, колдун, признавайся, спрятан там кто-нибудь?

Скрестив руки на груди, Леонид стоял неподвижно, глядя на отца укоризненными, печальными глазами, и вдруг лицо его дрогнуло от нервного смеха и он захохотал. Это был странный смех, звучащий как бы в глубине его существа, и в нем слышалось столько боли и горечи, что все почувствовали, что этот человек — существо, находящееся за пределами их понимания, а фабрикант, внезапно опускаясь в кресло, воскликнул:

— Вот диво-то! Холод охватывает — так смеется.

Сделавшись вдруг серьезным, Леонид подошел к отцу и с ударением в голосе громко проговорил:

— Помните, отец мой: призраки грехов прошедших встают из-под земли.

Старик сидел в своем кресле неподвижно, чувствуя тяжесть во всем теле, точно на него было надето свинцовое одеяние. В это время Анна Богдановна, подойдя к Леониду и беря его за обе руки, ласково оказала:

— Ты впечатлителен чрезмерно, мой милый, сядь и успокойся.

Она заставила его сесть рядом с собой, и оба они начали тихо разговаривать.

— Серафим Модестович!

Колодников обернулся и увидел стоящего за ним Петра Артамоновича.

— Серафим Модестович, — повторил снова управляющий и по губам его промелькнула хитрая улыбка. — Мы с вами

два старца ветхих, поговорим да потолкуем и, может статья, что-нибудь пойдем.

Оба они уселись и стали тихо беседовать. К удивлению фабриканта, Петр Артамонович стал его уверять в возможности всяких чудесных явлений, что сын его человек, обладающий особыми медиумическими силами и нисколько не шарлатан. Колодников слушал и в лице его отражались удивление и страх.

— Как странно, — говорила в это время Глафира. — Если быть откровенной, то ведь и я слышала какое-то пение.

— Мой ангел, это вздор, — возразил Илья Петрович. — Надо сначала заболеть и потом уже наслаждаться концертом покойницы: иначе ничего не услышишь. Самая благодарная роль в этой жизни: ничего не признавать и во всем полагаться на доводы одного холодного ума.

Он склонился к ней и, сверкая глазами, многозначительно добавил:

— Нельзя не заметить также, что боязнь греха и маленьких преступлений — узда для ничтожных, недалеких людей, но для нас, Глафира, они — широкие ворота в рай жизненных наслаждений.

— Совершенно согласен с вами, — раздался около них голос и, когда они обернулись, то увидели высокого, худого господина с бледным лицом, на котором лежал отпечаток пережитых страстей и пороков, с ярко-голубыми глазами, сверкание которых ясно говорило о его болезненном сластолюбии. Это был старший брат Леонида, Капитон.

— Да, грешки и пороки мои друзья, черт побери, — продолжал он, когда все, чтобы послушать его, собрались в кружок, — без них скучно было бы жить, они собутельники мои, огненные вакханки, подымающие меня на небо блаженства.

Он хитро подмигнул и прищелкнул языком.

— Добродетель — старый полицейский...

— Что?! — перебивая его, воскликнула Зоя.

— Полицейский, — повторил он, — и когда он стучит в моей душе: стук-стук, дома ли госпожа совесть, — то всегда получает ответ от камердинера-ума (он стукнул себя по лбу):

барыни нет дома.

— Натурально, — сказала Глафира, — твоя совесть всегда находится в отлучке.

— Ха-ха-ха! — рассмеялся Капитон. — Совесть самая беспокойная особа и потому Леонид погибший человек. Она всегда с ним и она замучает его и сведет с ума. Надо уметь жить, выжимать из жизни все наслаждения, как если бы она была красивой девкой.

— Тьфу!

Глафира с отвращением в лице отвернулась.

— Сознаюсь, я грешный человек — тело, а не дух, и насколько этим не огорчаюсь, а напротив, сказать откровенно, за все блаженство неба я не отдал бы моих пирушек, жизни грешной и соблазнов земных. Эй, вы, господа духи! — воскликнул он, ударяя ногой об пол. — Где вы там? Отзовитесь!

Леонид, который до этого момента кротко разговаривал с матерью, поднялся с лицом, которое внезапно как бы озарилось светом. Все стали смотреть на него и им казалось, что из него исходит какая-то таинственная, непостижимая сила. Глядя на своего брата и стоя с неподвижностью монумента, он поднял руку кверху, и в тот же момент под полом, где стоял Капитон, раздался удар.

— Ай! — воскликнул Капитон.

Все испуганно стали перебегать на другие места.

— Да что это такое? — воскликнула Глафира, удивленно глядя на брата.

— Во как, глядите, — тихо говорил управляющий своему патрону, — все напугались, а вы все про сынка: мазурик.

Колодников поднялся и стал смотреть на сына. Последний опять стоял с глазами, устремленными в одну точку.

— Ты, шарлатан, что стоишь неподвижно, как колдун какой, и смотришь в одно место? — вскричал Колодников.

Капитон подпрыгнул, взмахнул руками и с хохотом крикнул:

— Мертвецы поднялись из могил!

Леонид повернулся к нему и голосом, полным какой-то таинственной угрозы, проговорил:

— Страшись грубым смехом твоим оскорблять таинственного и незримого обитателя комнаты этой и научись понимать, что от твоих взоров сокрыты великие тайны.

Стоя неподвижно, он продолжал смотреть в одну точку.

— Стоит, как столб и уставился страшно в одно место! — закричал фабрикант. — Что видишь ты? Дождусь ли ответа?!

Леонид тихо проговорил:

— Здесь, на фабрике, было замучено много людей.

— Ну, положим так. Так что же?

— Где они теперь?

Колодников изумленно стал смотреть на сына и вдруг злобно захохотал.

— Да ты что мутишь мою голову! Где же им быть? В могиле, конечно.

— В могиле их земные одеяния, а они сами носятся в воздухе над этим домом и между ними ваш грозный судия — Клара.

Говоря все это, Леонид, как это всем казалось, с каждым словом как бы делался все выше, в лице его все ярче вспыхивал какой-то свет, и вдруг, нервно содрогнувшись, он громко воскликнул:

— Объявляю вам всем: смерти не существует. И для иной жизни воскресает и царь, и раб, и в этом ужас для притеснителей и убийц.

Выслушав все это, старик продолжал смотреть испуганно устремленными на сына глазами, а Петр Артамонович шепнул ему:

— Вот убиенные там и встретятся с вами.

— Убиенные! — машинально повторил Колодников и, взглянув на сына, растерянно воскликнул:

— Что ты сказал?

Леонид стоял теперь с опущенной вниз головой.

— Минутами, когда я всматриваюсь в пространство, мне кажется, я вижу их.

— Кого?

Он поднял голову и пристально взглянул на отца.

— Астральных существ, тела которых гниют в могиле, и

чувствую, что между ними носится она...

— Она! — повторил старик, снова охваченный холодным ужасом, и вдруг с выражением гнева закричал:

— Обманщик-сын, безумным ты хочешь сделать меня, что ли? Клара спит в могиле, и на ней такой тяжелый камень, что никакой силач не мог бы отвалить его... И вот она блуждает здесь!

Он шагнул к сыну, продолжая смотреть на него, облокотился руками о палку, перегнулся телом и вдруг из раскрывшегося рта его вырвалось:

— Ха-ха-ха-ха!

— Что с вами, папаша?

— Плут ты и пройдоха, вот что, понял я хорошо, к чему ты все этоводишь: запугать хочешь меня, в могилу свети, чтобы деньги мои расшвырять в Париже кокоткам. Знаю, миллиончики — чародеи. И ангела они могут сделать лукавым, как дьявол.

Он шагнул еще вперед и, снова опираясь на палку, грозно опустил над глазами исчерна-белые брови и крикнул:

— Повинись и признавайся!

В высказанном им предположении была его последняя надежда; но, к полному разочарованию его, он увидел, что Леонид величественно поднял руку вверх, по губам его пробежала судорога презрения, глаза загорелись и, когда он заговорил, то казалось, что какие-то громы гнева и сокрушения загремели над головой фабриканта.

— Да рассеет великий мировой разум темноту духа вашего. Ваши миллионы — тот огонь, который всегда опалял крылья бессмертной вашей души, и потому вы, как червь, ползаете в пыли на грудах вашего золота. Соберите все богатства земли и образуйте из них гору до облаков: я ее подожгу и с восторгом буду смотреть, как горит этот соблазнитель людей — сатана мира.

Воцарилось молчание.

Старый управляющий, беззвучно подойдя к своему патрону, который продолжал стоять, опираясь на свою палку, шепнул ему с тонкой иезуитской улыбкой:

— Вот как, ваши денежки — сатана.

— Прах побери! — вскричал фабрикант, содрогаясь всем телом. — И не понять, блаженный он, чудака или кто такой.

И, глядя на сына, он грубо заговорил:

— Кто поверит, что мертвецы блуждают в воздухе? Да еслибы поднялся из могилы хоть один покойник, то мы, дельцы и фабриканты, как ужаснулись бы мы все! Зная это, кто такой себе враг, чтобы ковать богатство на спинах тысячи людей? Я думаю, что все машины по всей земле остановились бы и мы, хозяева, протянули бы деньги оборванцам.

— Говорю вам — смерти не существует, — с выражением несокрушимой уверенности громко проговорил Леонид. — Мертвые, а их миллионы, носятся над землей в светящемся астральном вихре, поднимаются к звездам, прорезывают своим эфирным телом горы и проникают до центра земли.

— Пфа!

Издав этот странный звук, фабрикант с видом отчаяния бросился в кресло.

— Успокойся, ты на себя не похож, — шепнула ему Анна Богдановна, и только что она отошла, как Петр Артамонович, подойдя к старику, тихо проговорил:

— Вот и заговорила из могилки сестрица ваша Клара.

Колодников дико посмотрел на него.

— Однако, я изумлена, — сказала Глафира.

Илья Петрович вместо ответа направился к Леониду и с ядовитой усмешкой, образовавшей змейки по углам его рта, насмешливо сказал:

— Интересно бы знать, откуда это у вас такие сведения о загробном мире? Можно подумать, что вы только что возвратились с тех стран.

Некоторое время Леонид пристально смотрел на него.

— Но ведь и вы не так давно возвратились с того мира. Только все перезабыли.

— Как это? — изумленно воскликнул Илья Петрович.

— Да ведь вы были же где-нибудь прежде, чем появиться в этом теле, на этой земле.

Лицо Ильи Петровича вытянулось.

— Полагаю, что нигде не был.



— Неужели полагаете? Значит, вы думаете, что люди великие чудотворцы и волшебники: целуются и образуются живые существа? Это волшебная сказка Шехерезады, суеверие людей науки, которое всегда будет отвергать вечный человеческий разум.

— Черт побери! — вскричала Зоя, в свою очередь подходя к ним. — Это хотя и безумие, но пахнет истиной. Скажи, пожалуйста, откуда ты все это знаешь?

Леонид нервно содрогнулся и с неожиданной силой проговорил:

— Дух видит и слышит, где хочет, опускается в бездны и подымается выше звезд.

— Ты — дух! — воскликнула Зоя и громко захохотала.

Он стоял, задумчиво глядя на смеющуюся Зою и, точно рассуждая с самим собой, проговорил:

— Ученые все хотят понять своим маленьким умом, но, находясь в клетке, ничего нельзя видеть.

— Да разве они сидят в клетке? — воскликнула Зоя и все захохотали.

Он посмотрел на лица окружающих его, и вдруг в его собственном что-то дрогнуло и на нем забегало множество морщинок, отражающих смех и юмор, поднявшиеся в его душе, и когда он заговорил, то трудно было понять, где кончается пафос и начиналась ирония.

— Да, этот костяной ящик — клетка, а душа — птица, поющая в ней. Пока я был только здоровое тело, я ничего не видел, кроме материи, как и вы все ничего не видите и не слышите, потому что вы — смешение крови, жира, кишок и всяких нечистот, и чудная птица, в которой отзвуки рая и мелодия ангелов, сидит в своей тесной клетке, так что ей невозможно ни запеть, ни вспомнить о своих прошлых существованиях. Я разломал решетки темницы своей и свободный мой дух видит и слышит без глаз и без ушей.

— Удивительно! — воскликнула Глафира.

— А, господа! — раздался голос Капитона, и вслед за этим, махая руками, он выступил вперед и проговорил: — Эдиссон абсолютно глух, но слышит восхитительно — черепом, по мнению газет, но череп — кость, и потому допускаю, что

в клетках сидят птички — слышат и поют.

Выслушав это, Леонид кивнул головой и торжественно объявил:

— Господа, вы — бессмертные боги, но, к сожалению, вы замуравливаете окна темниц ваших чревоугодием и всякими пороками, клетки делаются ужасно темными, зловонными и птицы задыхаются.

Он захохотал.

— Совершенно безумный человек, — сказала Глафира, а ее сестра, положив руку на плечо Леонида, проговорила:

— Ты, голубчик мой, очень симпатичный человек, но ты сумасшедший.

— Боже милосердный! — неожиданно раздался голос фабриканта. К нему сейчас же направилась Анна Богдановна.

— Серафим, что с тобой?

— Ничего, — ответил он растерянно и, чтобы замаскировать свое восклицание, притворно рассмеялся и сказал: — Смешит меня колдун наш.

— Эй, Леонид, — закричал он, — волхвователь и чертоман!

Сын повернулся к отцу.

— Глупости эти болтать тебя научили в Париже?

Леонид задумчиво стал смотреть на отца и вдруг с необыкновенным чувством ответил:

— Да, там засверкали звезды в моей душе печальной.

Раздался взрыв смеха.

— Ого! — воскликнула Зоя. — В его душе звезды! Извольте это понять.

— Вот и накрыл тебя, — вскричал, чему-то обрадовавшись, Серафим Модестович, — ведь прежде, когда ты был студентом, то кричал, что не веришь ни в Бога, ни в черта. Кошунствовал и даже... в распутство впадал.

При этих словах отца лицо Леонида сразу омрачилось, точно заволоклось тенью, и что-то скорбное и удрученное выглянуло из глаз его. Опустив голову, он заговорил тихо и грустно.

— В душе моей всегда жил как бы тихий опечаленный ангел и точно знамена похоронные развевались в глубине

моего вечного духа. Отрава ложного знания подняла отчаяние во мне и мрачный смех и, находясь в своей телесной клетке, я был глух и слеп, и крылья духа моего были связаны.

— Еще крылья! — вскричала Глафира и рассмеялась, а Зоя, подойдя к нему и глядя на него смеющимися синими глазами, проговорила:

— Ты, крылатый и бессмертный — заманчивое положение, черт побери.

Леонид печально посмотрел на сестер и, снова опустив голову, тихо продолжал:

— Кто-то оскорбленный хохотал в душе моей, но вот в Париже глаза мои начали получать как бы второе зрение: я стал видеть мир по ту сторону жизни этой, и понял я тогда, что наше существование — прах и тление <...>

Он посмотрел на лица окружающих его и воскликнул:

— Вы все смеетесь!

Действительно, все смеялись злым, искусственным смехом, полным досады. Смеялись девушки, потому что его слова противоречили их желанию жить роскошно, легкомысленно и развратно; смеялся Капитон, потому что в жизни он видел только единственный смысл — наслаждение тела; смеялся сын управляющего, так как самые умные люди, по его мнению — великие эгоисты, а слова Леонида оскорбляли все его верования и хищные стремления; смеялся и Серафим Модестович злым, досадливым смехом, хотя в побледневшем лице его отражались смятение и страх.

— Ха-ха-ха-ха! — горьким смехом рассмеялся и Леонид, но вслед за этим раздался его негодующий голос:

— Да, вы смеетесь, а между тем, вы не знаете, кто вы, где живете и где будете странствовать, когда распадется ваша скорлупа — тело, и вот, чтобы вы знали, что вечность живет в вас, я отдерну пред вами завесу того мира...

— Ты! — воскликнула Зоя, глядя на него расширившимися, смеющимися глазами.

— Ты интересная личность, — сказала ее сестра, — новый Калиостро или Сан-Жермен.

— Отдерну завесу того мира, — повторил он, — и вы увидите прежнюю обительницу этой комнаты.

— Безумную Клару увижу я! — вскричал Серафим Модестович, с выражением ужаса глядя на сына. Леонид пристально посмотрел в его глаза и, точно в глубине их увидев что-то ужасное, в нервном порыве вдруг отскочил, рассмеялся странным горьким хохотом и вдруг, уставив глаза на отца, присел на корточки.

— О, отец мой, из глаз ваших смотрит маленькое чудовище — большой старый грех. Вижу, вижу! Но не ужасайтесь тому, что быть должно: все зло земли переносится в тот мир, и вот вы увидите его и странницу, бледную, загробную тень...

Странная поза, в которой он находился в то время, как лицо его смеялось каким-то нервным, трагическим смехом, делала его страшным и одновременно с этим смешным. Вдруг он вскочил, забежал по комнате и, потушив лампу, воскликнул:

— Луна — фонарь, зажженный Богом, свети нам, свети... В твоём свете колеблются души жестокие, души преступные, души, раздираемые скорбью... Кровь пролитая багровым облаком носится пред глазами и в лунном сиянии отражаются бледные, унылые тени...

Бледный свет месяца слабо освещал черные стены комнаты, и лица присутствующих казались бледными, таинственными и как бы неземными. Необъяснимый страх охватил всех и в нервном потрясении все испуганно смотрели на Леонида. Последний стоял, прислонившись к стене, под портретом Медеи, и лицо его казалось лицом белой статуи, ярко вырисовывающейся на черном фоне. Вдруг он расставил руки и каким-то чужим голосом громко закричал:

— Медея! Разлейся искрами в комнате этой и яви доказательство бессмертия сына земли.

В темноте комнаты все ясно увидели искры, заблеставшие на концах пальцев его расставленных рук. Вслед за этим над головой его вспыхнуло сияние, под потолком раздался удар и все предметы в комнате задвигались и застучали.

Леонид продолжал стоять.

В воображении его носился живой образ Клары, бывший для него несомненной реальностью, а та таинственная сила, которая исходила из его тела, электричество или иная, все равно — материализировала образы его ума (если не признавать объективности явлений), придавая им серебристо-бледные линии.

Раздался его голос:

— Великий дух мироздания, рассеянный в пространстве вселенной, зываю к тебе: рассей завесу тленного материального мира и дай увидеть нам астральный мир, в котором блуждает в эфирном одеянии дух Клары, скинувшей свои земные покровы. Явись, явись!

Он умолк.

Воздух заколебался, точно вздохнуло множество невидимых существ, и в углу забилося что-то облачно-белое, воздушное и живое. Облако дышало и росло, и постепенно из него стала обрисовываться женская фигура с белым, как снег, лицом и голубыми, лучистыми, но неживыми глазами. Прошел еще момент и чудное существо пристально устремило свои ярко-голубые лучистые глаза на старого фабриканта. Одной рукой своей она держала арфу, стоящую у ног.

Было невозможно тихо.

Охваченный ужасом, Колодников с минуту стоял в оцепенении. Несмотря на ужас, он в безумии отчаяния громко заговорил:

— Мой мозг в тумане... Околдовано все во мне и я в болезни страшной. В глазах картины больного ума... Клара, ты видение бледное, но нет тебя. Как же ты могла бы отвалить тяжелый камень и явиться? О, призрак, ты игра безумного ума... Или, может быть, меня обманывают... Ты, ты!..

Бледные уста видения зашевелились. Заметив это, старик, затихнув, с невыразимым волнением стал ждать, глядя в ее голубые, мертвые глаза. Необыкновенным благородством дышало воздушно-белое лицо Клары, и когда она заговорила, фабриканту показалось, что ее голос зазвенел, как струна волшебной лиры:

— Среди воздушного океана и сонма сверкающих светил, забыла я страдания свои земные и раны, нанесенные

тобой мне и хочу я только тебе сказать, что твоя ложь пред людьми разлетится, как дым, в воздушном мире, потому что пред собой ты всегда будешь видеть нож, который ты вонзил в горло...

---

С последней неоконченной фразой призрак заколебался, как голубое облако, колеблемое ветром и, испуская свет, стал отступать к стене. Слышно было, как заскрипела дверь, медленно раскрываясь. На мгновение там сверкнула воздушная фигура в лучах и исчезла.

Несколько мгновений старик стоял неподвижно и вдруг из горла его вырвалось:

— Ага, в дверь ушла, как живая... Я за ней... Сердце, сердце, сердце, как ты стучишь!.. Но видение — шутник... Вот с этой палкой я иду.

Он шагнул к двери и вдруг остановился, с ужасом глядя вверх: над головой его колебалось слабое очертание ножа, залитого кровью. Глядя на него, он дрожал с головы до ног, а в это время откуда-то донесся звон струн и мелодический голос пел:

О, кайся, безумный злодей,  
Погибнешь и ты от удара,  
Поднялась из царства теней  
Твой мститель — несчастная Клара.  
О, вздуйтесь кругом облака,  
Стряситесь небесные кары,  
Повергла злодея рука  
Супруга несчастного Клары.

В течение всего этого времени, старик продолжал смотреть вверх в одну точку. Нож двигался над головой его, поднимаясь и опускаясь, и он смотрел на него, испытывая смертельный страх, и, о, ужас, с конца ножа скатилась капля крови, и он почувствовал, как что-то теплое и липкое

покатилось по его лбу. Содрогнувшись всем телом в чувстве ужаса и отвращения, он медленно пошел к двери с поднятой вверх головой, но на ходу в безумии заговорил хохочущим голосом:

— Чудо-чудо!.. Опять ты запылал кровью, как тридцать лет назад... Проклятое железо... Тебя погрузил я в горло... О, о!..

— Зажгите лампы! — раздался испуганный голос Анны Богдановны.

Комната озарилась светом.

Присутствующие представляли странную картину. Одни сидели в креслах, другие на полу — с бледными лицами и глазами, испуганно и изумленно устремленными друг на друга. Один Леонид стоял неподвижно, как монумент, с бледным, как у мертвеца, лицом.

— Какой вздор! — упрямо проговорил Илья Петрович.

В этот момент за дверью послышался крик смертельно-ужасного и затем как бы падения на пол какого-то тела. Все бросились в соседнюю комнату.

Колодников лежал на полу без движения и далеко от него — палка.

## ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

### I

Совесь! Ты божественный, бессмертный и небесный голос, ты единственный верный руководитель невежественного и ограниченного, но разумного и свободного существа, ты непогрешимый судья добра, ты одна делаешь человека подобным Богу.

*Руссо*

Солнце погасло, бросая на зеленую землю последние золотисто-красные лучи и светясь на горизонте огромным кро-

ваво-багровым шаром. В разных местах на поле против дома фабриканта виднелись рабочие, расхаживающие или стоящие группами, а откуда-то доносилось пение и звуки балалайки.

На камне под ветвями столетнего дуба сидели Серафим Модестович и его управляющий. Поглядывая из-под нависших бровей беспокойными, лихорадочно-бегающими и печальными глазами на поля, заходящее солнце, на группы фабричных, на деревянные кресты, виднеющиеся из-за холма, фабрикант со вздохом устремлял их потом к голубому, безоблачному небу. Хотя со времени роковой ночи прошло очень немного времени, но наружность его заметно изменилась: он осунулся и похудел, как человек, переживший опасную болезнь. Внутренне он изменился еще сильнее: вместо прежних практических соображений и бесконечных цифр пассива и актива, в голове его носились, в сопровождении мучительного сомнения, мысли о вечности, бессмертии, о своей несчастной душе <...>

Теперь, после того, как он почти убедился, что человек в своем тленном теле заключает вечный, нетленный дух, в уме его выплывали нравственные законы добра и любви — вечные идеалы души человеческой, которые он всю жизнь топтал ногами. Теперь они снова засверкали в душе его, как звезды, и его больная совесть мучительно заметалась. Трепет и страх овладевали им при мысли, что все дела его снова восстанут из прошлого в царстве вечного света, где каждый предъявит иск на ответчика — его бессмертную душу. «Серафим — убийца!» — раздавались голоса вокруг него днем и по ночам; иногда он просыпался в ужасе, соскакивал с кровати и подойдя к образам, начинал читать Библию громким, но дрожащим голосом. Несмотря на все это, он отчаянно боролся с своими мыслями и тревогами, стараясь убедить себя, что все это вздор, что он просто находится под влиянием пламенной веры «кудесника», сына его, что ничего нет, ни Бога, ни черта, что умершая Клара превосходно гниет в могиле и что если ему показалось, что он ее видит, то что же из этого? Люди, находящиеся в белой горячке, тоже видят и чертей, и ангелов. Что-то в этом роде было и с



ним — вот и все. В такие минуты он чувствовал себя снова сильным, принимался за дела и начинал снова покрикивать на рабочих, но, спустя короткое время, голова его опускалась на грудь и в уме, точно невидимый молоточек, стучала одна и та же мысль: зачем?

— Вот, значит, так и было, — заговорил Петр Артамонович, с любопытством внимательно всматривающийся в его лицо. — Привидение все шло далее по комнатам и вы за ним...

— Сто раз вам сказывал, — с выражением легкого гнева проговорил Колодников, нахмуривая брови, — шел за ним в шагах пяти, а оно как белый столб и все в лучах.

По губам управляющего пробежала чуть заметная хитрая улыбка и он сказал:

— Сынок ваш называет этот свет астральным, тот самый, в который облакаются души, как белой одеждой...

— Души облакаются! — воскликнул Колодников с негодованием. — Голову мою вы мутите нарочно или как?

Его маленькие глаза проницательно уставились в глаза управляющего, но последний с поддельным простодушием сказал:

— Эх, Серафим Модестович, стары мы с вами, а неверие-то, как дьявол, глубоко притаилось в вас. Уж чего больше, кажется: покойник поднялся из гроба.

— Покойник! — в сильном волнении снова воскликнул Колодников. — Да как может мертвый из могилы встать? Вон кладбище, — и он поднял руку, указывая на виднеющиеся кресты, — разroyте могилы — все там лежат покойники и пальцем им не двинут.

Он с замиранием сердца ожидал ответа, страшась, что управляющий не согласится с такой несомненной очевидностью: тогда он уже совершенно не будет знать, что думать.

— Тела наши, известно, падаль и снeдь червей и гниют безвременно умершие работники ваши. Это тела. Ну, а души-то как же? Они-то вот и блуждают в астральном одеянии.

Серафим Модестович испуганно посмотрел на него и, одновременно волнуясь и негодуя, проговорил:

— Холодите вы мой мозг словами этими и прямо мороз чувствую <...>

Управляющий по тревожно бегающим глазам фабриканта видел, что душа его объята волнением <...> и потому решительно ответил:

— Все в воздухе над нами, все глядят на вас <...>

Выслушав это, Колодников сложил ладони рук на груди и, глядя печальными глазами на небо, тихо, дрожащим голосом проговорил:

— Тайна — и небо, и земля, — это вот блажной сын правду говорит, и что там за гробом, опять — загадка.

— Загадка, — как эхо повторил Петр Артамонович, и видя, что Колодников стал снова тревожно и вопросительно смотреть на него, резко и внушительно проговорил: — Гордость закрывает глаза ваши; видите глазами и говорите: не верю.

— Петр Артамонович, да как же быть-то? — воскликнул старик еще с большим волнением. — Ведь бывает и помешательство ума. Вот опять я про Клару. Идет она, как белый столб, а я за ней и думаю: ведь я болен, — вижу, чего нет, и Клара встать из гроба не могла никак. Палку наготове держу... Вижу, привидение обернулось и так проникновенно глядит на меня мертвыми глазами — совсем Клара... Вот тут я и обезумел от перепуту и палкой... Вижу, стою один и никого и нет. Теперь как думать о нем: в уме моем было оно? Не более, как подобие сна, значит.

Оба старика пристально стали смотреть друг на друга: один, полный тревоги и желания, чтобы Петр Артамонович согласился, что привидение — обман глаз, и другой — исполненный намерения поселить еще большие тревоги в душе Серафима Модестовича, чтобы можно было, пользуясь его состоянием, быть единственным распорядителем фабрики. Неудивительно поэтому, что он прибегнул ко лжи и сказал:

— Ну, а как совместить это: вам виденье предстало и как раз и мне Клара явилась.

Фабрикант внимательно посмотрел на него, но, не подметив в лице управляющего никакого коварства и совершен-

но сбитый с толку, вскричал:

— С ума я сойду. Господи, не могу понять, что со мной. Вы видели, и супруга говорит: видела Клару. Мутится ум мой...

Дрожащей рукой он снова указал на кресты.

— Вот оно могил сколько <...> ... и Клара...

— Замученная...

— Что говорите вы?!..

Колодников приподнялся, испуганно глядя на него, и снова опустил на камень.

— Да уж что там, Серафим Модестович, чего яснее: покойница явилась — так не напрасно оно.

Это был ясный намек на прошлое преступление фабриканта и последний, поняв, что управляющий каким-то чудом знает о нем, сильно побледнел и длинные брови его беспокойно задвигались над глазами.

— Тише вы!.. Небо молчит и могила тоже, а привидение — обман очей, и кто не скажет: привидение не свидетель и не захочет.

— Непременно, всякий рассмеялся бы. Да только где суда-то ожидаете?

Он поднялся и возвысил голос:

— В душе вашей.

Движением руки он указал на его грудь и громко, с видом проповедника, продолжал:

— Там прокурор — совесть-обличительница, свидетели — души умерших людей в астральном одеянии, защитник — покаяние, молитва и смирение, а на скамье подсудимых — душа бессмертная ваша.

Он повернулся и быстро ушел, а Серафим Модестович, потрясенный словами этими, возвел глаза к небу и прошептал:

— Судья же один надо мной — всезрящий Бог.

Продолжая смотреть на небо, он в тоже время мысленно смотрел в душу свою: в ней была тьма, лукавство и незнакомый раньше для него страх перед тем, что его ожидает. Он видел, что душа его — пропасть, в которую он никогда не заглядывал раньше, и вот стал смотреть в нее и

ужаснулся: как она глубока и как много в ней после прожитых лет накопилось ожесточения, грязи житейской, какие там скопления лжи, лицемерия, зверского эгоизма, жадности, человеконенавистничества. И над всем этим слабый свет звездочки, брошенной в эту бездну сыном, и свет этот сделал то, что ему страшно смотреть на эти горы гниющих пороков и грехов. Ему казалось, что с глубины его подымается зловоние к самым небесам и что невидимые им существа смотрят на него с отвращением и ужасом. Он пытался себя убедить, что все это только бредни его сына; что вот он умрет, черви съедят его и этим все кончится. Но убедить себя ему не удавалось. Снова и снова восставала в воображении его Клара, и снова он вспоминал, как он убивал ее мужа темной ночью в лесу, и вот ему кажется, что он смотрит в краснеющуюся в его горле рану... Он содрогнулся и стал смотреть вокруг себя и удивился: и небо, и погасающий шар солнца, и вспыхивающие бледные звезды, и зеленая земля — все это ему показалось чуждым ему, незнакомым, но чудесным, таинственным, полным загадок и тайн. Как будто он не жил в этом мире целых семьдесят лет, а видит все это в первый раз. «Откуда все взялось, такое, а не иное? И как я не знаю, что такое дуб этот и звезда та, так и не знаю, кто такой я, Серафим Колодников».

Голова его опустилась на грудь, брови беспокойно зашевелились, глаза уставились в землю, и он сидел неподвижный, задумчивый, грустный.

---

В это время Илья Петрович и Глафира шли к беседке, находящейся в конце сада, невдалеке от дуба, под которым сидел Колодников. В последнее время сын управляющего сумел окончательно завоевать расположение дочери фабриканта. Это было нетрудно, так как, по мнению рассудительной Глафиры, он обладал всеми данными, чтобы быть хоро-

шим мужем, и всеми способностями, чтобы увеличивать те миллионы, которые должен будет ей дать ее отец.

— Дорогая Глафира, — говорил Илья Петрович, обнимая девушку за талию, — я полагаю, что твоя мама не может ничего иметь против нашего брака.

— Вообрази, — быстро отвечала она, глядя на него веселыми, лучистыми глазами, — оказывается, что это для него уже не секрет: она говорила с отцом и, по ее словам, он противоречил очень слабо, настолько, что в конце концов только сказал со вздохом: «Капитал не хотелось бы разделять». Вообще, призрак Клары явился совершенно своевременно.

Она рассмеялась с легким презрением, показывая ровные белые зубы.

— Ах, Глафира, какое счастье ожидает нас! — в восторге вскричал молодой человек, видящий себя в недалеком будущем миллионером. — Мы устроим жизнь по-американски: в основе — могущество капитала, который будет расти ежегодно и придавать нам величие и блеск настоящих королей мира, и хотя я буду только холодным игроком на шахматной доске жизни, но в душе моей будет гореть огонь, зажженный тобой...

Проговорив все это с увлечением, он склонился к ней. Она полураскрыла свои алые губы и потянулась к нему в ожидании поцелуя.

— Обожаю тебя, — прошептала она, замирая в его объятиях.

— Смотри, вот компания! — сказал Илья Петрович, указывая в глубину аллеи, где, обнявшись, шли Зоя и Тамара. Обе они были в странных ярко-желтых платьях, похожих на японские, с широкими рукавами, с разрезами на груди и, вероятно, для дополнения картины, с японскими веерами в руках. Тамара, томно склонившись к плечу Зои, что-то ей нашептывала. Это было чудное грациозное создание с южного типа лицом, с большими черными глазами газели, в глубине которых то светилась страсть, то смотрело коварство, то они как бы нашептывали что-то — смотря по настроению Тамары, — и черными волосами, обвивающими ее белый лоб, как два крыла ворона. В тонко очерченном ма-

тово-бледном лице ее с орлиным, очень изящным носом и яркими загадочно улыбающимися губами была разлита какая-то нега, что-то манящее к опьяняющим удовольствиям. Сзади их шел господин с цилиндром на голове и расфранченный, но с лицом совершенно будничным. Еще шагах в двадцати за ними шел Капитон с бутылками в руках, с сопровождении двух девиц — высокой блондинки с голубыми глазами, волосами, выкрашенными в соломенный цвет и с продолговатым с большими полукругами бровей лицом, тоже выкрашенным в цвет розы, и другая — брюнетка, скромно идущая с опущенной головой.

— Эта дружба Зои с этой особой меня сначала интересовала, теперь начинает возмущать...

Не договорив своих слов, Глафира стала смотреть на другую группу: Капитона с его спутниками, и лицо ее вспыхнуло и сделалось холодным и злым.

— Этот Капитон становится невозможным. Конечно, он может делать что угодно, но приглашать в дом каких-го певичек из кафешантана значит оскорблять нас.

Она сделала движение уйти, но Илья Петрович, держа ее за руки, стал ее убеждать остаться, и она, побуждаемая отчасти любопытством, окончила тем, что взойдя в круглую беседку, опустилась на стул.

— Господа, — крикнула со смехом Зоя, поворачиваясь к Капитону и его спутникам, — помните, мы образуем декадентский союз под названием «Красная пляска любви».

— Этого только не доставало! — проговорила Глафира, в то время как Капитон кричал «браво», а его спутница с выкрашенными волосами вульгарно смеялась.

— Сядемте, господа, — сказала Зоя, подойдя к трем огромным липам, под ветвями которых стояли стол и стулья. Все стали усаживаться, в то время как Глафира, находясь в небольшом расстоянии от них в беседке, внимательно всматривалась в лица спутниц Капитона холодными глазами.

— Тamarочка, милая, тебе принадлежит слово, — шутливо проговорила Зоя, с шумом опуская руку на стол. Тамара, пугливо посмотрев на Глафиру с ироническим выражением в глазах, тихо ответила:

— Никаких я слов не знаю и то, что говорила я тебе, было не мое, похитила из моих декадентских книг. Там действительно добро отрицается и возвеличивается сидящий на троне мира, по мнению этих авторов — сатана.

Она странно засмеялась одними губами, в то время как глаза ее смотрели серьезно и загадочно.

— Ты королева красоты, моя прелестная Тамара, — говорила снова Зоя, — и одинаково очаровательна, говоришь ли о добре или о зле. Только я нахожу, что зло имеет более прав для воцарения в этом мире: оно пленяет нас и развывает все желания и страсти наши, а добро, наоборот, связывает. Я не желаю быть связанной, а потому всем моим желаниям кричу: летите, миленькие, куда хотите.

Она взбросила руки кверху и засмеялась, но и в смехе ее чувствовалась разнузданность ее воли так же, как и в словах. Капитон, выслушав ее, с шумом поставил бутылки на стол и сказал, покачиваясь — он уже был немного пьян:

— Сейчас видно, что ты моя сестра. Да, черт возьми, я протру глазки миллиончикам папаша, чтобы они знали свою обязанность: превращать все дни жизни моей в наслаждение, так, чтобы каждая секунда кричала: «Время, стой», каждая минута пела о прелести жизни, каждый день кричал: «Как жаль, что прошел он». Иначе я не понимаю, на кой мне черт жить. Жизнь должна быть сладкой как мед, бальзамически ароматный, как хорошенькая девчонка...

Он стал разливать в бокалы шампанское, а Глафира в это время говорила:

— Да ты с ума сошел, Капитон. Несешь чепуху такую, и все это мы должны выслушивать, а ты, Зоя, заставляешь меня краснеть...

— Господа, не слушайте ее, — снова заговорил Капитон, — она, видите ли, помешалась, запутавшись в те тонкие силки, которые глупцы расставляют сами себе под именем различных добродетелей. Освободиться от сетей — значит стать свободным гастрономом тех блюд, которые преподносит нам жизнь. Я именно это и делаю, и полагаю, что не останусь в дураках. Я думаю также, что миром правят не добродетели, конечно, а очень умный, забавный и веселый ста-

ричок — господин черт. Не правда ли, мои птички?

С этими словами, многозначительно подмигивая, он посмотрел сначала на одну из своих соседок, потом на другую и, взяв в руки бокал, взглянул на небо, на котором уже засверкали золотые шарики и крикнул:

— За твоё здоровье, веселый старичок.

Все развеселились, начали смеяться, чокаются и пить, а Зоя сказала:

— Несомненно, Капитон, ты с каждым днем подымаешься по лестнице широкого миропонимания и делаешься демоноподобным.

В это время господин в цилиндре — Евгений Филиппович Ольхин — подойдя к Зое, сложил на груди руки, склонил набок голову и с видом просителя робко проговорил:

— Зоя Серафимовна, вы меня очень огорчаете.

Зоя резко повернулась и глаза ее блеснули веселым задором.

— Мой вечно вздыхающий печальный рыцарь, — знаете ли что?..

— Говорите, пожалуйста.

Она неожиданно отвернулась и равнодушно ответила:

— Мне решительно все равно — огорчаю я вас или нет.

— Да, теперь, может быть, и все равно, — с жалостным видом говорил Ольхин, — а прежде это было иначе. Глядя на вас, мне невольно кажется, что в душе вашей явились какие-то странные больные желания и в уме воцарился бес веселья.

Расширив свои синие глаза, она со смехом стала смотреть на него и закричала:

— Демон воцарился во мне, демон! Мы с Тamarой дочери ночи и он наш царь.

Ольхин беспомощно прошептал:

— Вы забыли ваше слово.

Она с видом удивления сложила руки на груди и насмешливо спросила:

— Какое?

— Быть моей.

Она закричала:



— Дочь демона никогда не может быть вашей, но вы можете быть ее...

— Кем?

— Рабом, — отрезала она и засмеялась, и глаза ее дерзко и вызывающе уставились на Ольхина. Он чувствовал себя несчастным и беспомощным, так как очень долгое время упорно добивался ее расположения, а она, зная это и завлекая его все дальше, то подавала ему надежды, то безжалостно начинала высмеивать его, и чем более вид его делался несчастным, тем ей делалось веселее. Она поступала так потому, что мучить кого бы то ни было ей доставляло удовольствие, но здесь была еще и другая причина: в замужестве она видела освобождение от всяких условностей и стеснений и давала понять Ольхину его будущее положение. Полная свобода ей была нужна, чтобы жить, ни в чем не ограничивая своих желаний и страстей. Несмотря на молодость свою, в уме ее постоянно проносились картины измен и дразнящих ее воображение грехопадений, и хотя тело ее оставалось пока еще девственным, но мысленно она часто падала на ложе разврата. Отсутствие всяких забот, незнание, как убить время, возбуждающая пища и вино, чтение декадентских и всяких иных книг, побуждающих ее мысленно раздевать себя — все это извращало ум и зажигало в душе адский огонек, на котором сжигались всякая мораль и нравственность. Этому способствовала и Тамара, обладающая способностью рисовать всякие картины зла в самых очаровывающих и соблазнительных красках. Зоя ее обожала. Подружившись с ней несколько лет назад в Москве, она кончила тем, что ни за что не хотела отпустить ее.

— Зоя, Зоя, твоя жестокость меня возмущает, — крикнула Глафира, глядя с сожалением на Ольхина.

— А меня веселит, — ответила Зоя. — Я делаю только то, что мне приятно... Тамарочка, послушай...

Она обняла свой подруку и отвела ее в сторону.

— Он растерялся, — прошептала Тамара.

— Но он будет-таки моим мужем, — насмешливо говорила Зоя, — потому что он привык видеть во мне божество.

— Превосходно, Зоичка, но никогда не забывай, — мы с

тобой — дочери царя тьмы.

По губам Тамары пробежал смех, но глаза ее сверкнули и расширились.

— Господа, смотрите, вот идет наш маг и волшебник в сопровождении своей свиты — фабричных пьяниц, — громко проговорил Илья Петрович, и все стали смотреть по указанному им направлению.

## II

Разумно мыслящий человек прежде всего думает о том, для какой цели он должен жить: он думает о своей душе, о Боге. Посмотрите же, о чем думают мирские люди. Они думают о пляске, о музыке, о пении, о богатстве, о власти. Но они вовсе не думают о том, что значит быть человеком.

*Паскаль*

В лунном сиянии обрисовалась фигура Леонида; по сторож нам от него шли рабочие. Среди наступившей тишины раздался голос <...>

— Да вот я слышал, будто вы приказали явиться привидению. Это, барин, есть не больше, как одна глупость.

— Мой друг, — воскликнул Леонид, — смотри на это небо.

— Смотрю, — и, остановившись, Ласточкин поднял голову и стал смотреть вверх.

— Эти золотые звездочки — миллионы миров, одни меньше, чем наша земля, другие в сотни раз больше. Представь себе только, что на каждой из них обширные царства, огромные города, гигантские здания, нищие и цари... Шум, движение, суета, молитвы и в уме мучительный вопрос: кто нас создал? Можешь ты это себе вообразить?

— Все может быть, барин <...>

Он <...> стал скрываться в отдалении вместе с рабочими.

— Да он просто сумасшедший! — вскричала Глафира, в чувстве изумления подымаясь с места и вглядываясь в сторону, где скрылся ее брат.

— Дурачок-дурачок Леонид бедненький! — отозвалась ее сестра, и как бы перебивая саму себя, воскликнула:

— Кстати, господа, вы видели привидение?

— Я видел, — сказал Капитон.

— Ты... врешь.

Зоя пристально стала смотреть на него и засмеялась. Теперь ей казалось, что сама она ничего не видела и что все эти стуки, пение и искорки были просто результатом воображения. Быть уверенной, что ничего подобного нет, было для нее психологической необходимостью: только при уверенности, что все это иллюзия, можно было спокойно упиваться своими греховными желаниями.

— А я говорю, что видел, — упорно возразил Капитон. — Слышал пение, видел маленькую сияющую ручку и какой-то столб, подобный облаку. Все это для меня совершенно непонятно и иногда тревожит. Тело, одно хорошенькое женское тело — вот что я хотел бы только видеть во всем мироздании! Ха-ха-ха! Выпьемте, Анетта и Розочка, пейте, говорю...

Его соседки, Анетта и Роза, поднесли к своим губам бокалы, а в это время Илья Петрович с высоты беседки проговорил громко и чрезвычайно уверенно:

— Конечно, ровно ничего не было. Допустить возможность появления мертвых значит оскорблять здоровый ум каждого человека.

— Еще бы, — сейчас же отозвалась Глафира, — все объяснение в том, что Леонид ненормален, а наш отец очень стар и стал терять рассудок.

— Вон он сидит под дубом и смотрит на небо, — сказала Зоя, расхаживая взад и вперед маленькими шажками вместе с Тamarой, голова которой лежала на ее плече.

— Будем слушать, господа, — снова воскликнул Илья, — вот опять показался маг и прорицатель.

Действительно, Леонид, окруженный рабочими, показался снова, и момент спустя зазвучал его голос, полный на этот

раз самого злого сарказма:

— Да нет, друзья мои, вы поймите меня. Наши тела — это просто костяные ящики, наполненные потрохами <...>

— Вы сделались теперь, барин, совсем как праведник, — проговорил Ласточкин. — Слова золотые говорите. А оно не надо бы вам сердце иметь.

— Иметь сердце не надо?! — воскликнул Леонид, оставиваясь на месте.

— Да, барин, у всякого человека внутри — зверь.

— Зверь! Да неужели? — воскликнул Леонид и странно рассмеялся.

Светлые глаза Ласточкина блеснули злостью и в голосе послышалось раздражение.

— Вот вы добрый барин <...> Сказывают все, что вы особый какой-то, да только блажь это одна и непорядок.

— Как это непорядок?

— Да так, — проговорил Ласточкин с язвительной улыбкой на тонких бескровных губах <...>

— В могилу, все в могилу! — воскликнул Леонид, взмахивая рукой по направлению к кладбищу <...>

Едва Леонид проговорил это, как фигура, стоящая под дубом, дрогнула и, озаряемая луной, медленно задвигалась, а Леонид с выражением сарказма на лице и в голосе продолжал:

— Но не думай. Хотя черви копошатся в мозгах и проебли внутренности их, но их бессмертные души поднялись из могил <...>

— Сын!.. — раздался за ним голос и, когда Леонид и рабочие обернулись, то все увидели старика с жалким, искаженным лицом. В душе его боролись страх и злоба, но, так как все это происходило в присутствии рабочих, то, стараясь подавить первое чувство, он вскричал:

— Безумие в тебе, так думаю <...>

И, повернувшись к рабочим, он с притворным гневом, чтобы показать, что он <...> хозяин, приказал им разойтись...

Рабочие ушли, а Колодников волнующимся голосом и подойдя ближе к Леониду, сказал:

— Что говоришь ты опять? <...> Разум мой отбрасывает это, а сердце мое, признаюсь я тебе, Леонид, оно, как свинцовое, стучит в груди моей и кричит: «Помилуй, Боже...» Страх испытываю — вот что.

И своими пугливо бегающими из-под нависших бровей глазками отец стал смотреть в глаза сына, который сказал:

— Страх испытываете, но знайте, что он спаситель ваш. Священный трепет души вашей уже поднял ваши руки к небу и глаза ваши раскрываются.

— Не безумствуй, сын, — шепотом заговорил старик, подойдя вплотную к Леониду. — На душе моей тяжелый камень... Клара...

Он испуганно остановился и с ужасом в лице воскликнул:

— Могила раскрылась ее и встала она, судья мой... О, милый Леонид, пойдем, расскажу я тебе о страхе своем!

Отец и сын стали быстро удаляться.

Едва только они скрылись, как Глафира, глядя на своего жениха, воскликнула:

— Как это грустно! Прежде был один безумный человек — наш несчастный братец, теперь их два: он и отец.

— Да, да, — согласился с ней Илья Петрович, — очень печально все это. Бедный старичок; в душе его страх и не может он понять, что привидение — просто игра расстроенного ума.

Зоя, которая продолжала похаживать взад и вперед вместе с Тамарой, внезапно остановилась, и был момент, когда в ее расширившихся глазах сверкнул испуг.

— Как это меня бесит! Чтобы мертвые смели являться с того света!

— Да они и не думали являться, — возразила Глафира. — Если же казалось, что кто-то поет, то это объясняется простой галлюцинацией слуха — вот и все.

Между тем, Капитон, совершенно опьянев, взял в руки бокалы и стал позвякивать ими, в то же время незаметно целуя то одну из своих собеседниц, то другую.

— Дзинь-дзинь! Девочки мои, будем жить и пить, а с холодных утроб могил пусть поднимаются мертвые и поют

орга́но-похоро́нно: «Капитон анафема!»

— Анафема! — насмешливо пропела Зоя, а Анетта и Роза, подраживая его, в один голос проговорили:

— Капитон Серафимович, вы — анафема.

— Ха-ха-ха! — рассмеялся Капитон. — Анетта и Розочка, пейте, говорю вам, и вот вам мое отеческое наставление: уме́йте смеяться розовым смехом и веселым бряцанием на арфе души и содомскими поцелуями отвечайте на возгласы монахов: «Покайтесь, ока́янные».

Окончив это, он обвил руками талию своих соседок и стал целовать их.

— Поцелуй — розовые, игривые бесенята, кричащие: счастье.

Глафира с видом возмущения поднялась.

— Ты возмутительно неприлично себя держишь, Капитон.

— Приличие — намордник, который я носить не желаю, — отвечал он, не глядя на сестру. — Выслушайте лучше мое дальнейшее отеческое наставление; вот оно.

Он положил локти рук на стол и, упираясь подбородком о ладони, возвел глаза к небу с таким выражением, точно прочитывая на нем то, что приходило ему в голову.

— Когда же наступит холодная старость, когда листья станут опадать с дерева жизни, на лице запляшут морщины и голос станет напоминать замогильный трубный глас — тогда я устрою последнюю комедию: лягу в гроб и заставлю обносить себя вокруг всей зеленой арены жизненной пляски моей, а за гробом будут идти красотки в одежде покаяния и все будут петь органно и мрачно: «Великий распутник Капитон подох и фурии смерти на шумящих крыльях уносят в ад его...»

Глафира опять поднялась с видом возмущения.

— Ты жалкий декадент, Капитон, и если не перестанешь чихать свои убийственные книги, то скоро превратишься в совершенного зверя.

Для объяснения этих слов надо заметить, что Капитон, лежа на диване и попивая вино, прочитывал довольно много книг, авторы которых дополняли и укрепляли его соб-

ственные воззрения на мир, как на арену оргий и вакханической пляски. За вычетом этого, Капитон ничего не хотел видеть в жизни, и потому и книги, которые он выбирал, отличались такой же разнузданностью содержания, как и его воображение — по преимуществу декадентские. Уму его часто рисовался черт, стоящий где-то наверху, над землей, почему-то в красной мантии и раздающий людям свои дары — соблазнительных женщин, вино и другие приятные подарки и, так как у Капитона было много денег, чтобы приобретать все это, то он думал, что находится под покровительством высшей силы, распоряжающейся выдачей патентов на право, ничего не делая, получать одни удовольствия. Промчавшиеся революционные бури, вызвавшие во многих воззрение, что люди — сыны антихриста, и картины разбоя и убийств, совершавшихся на его глазах, в свою очередь образовали в его уме черную тучу, сквозь которую смотрел женолюбивый улыбающийся Вакх.

Как бы делая вызов сестре, Зоя резко повернулась к ней и воскликнула:

— А я заявляю открыто: зверь, окрыленный воображением и пороками — мой идеал.

— Ты тоже сумасшедшая и декадентка, — ответила Глафира.

— Ну и что ж? — с презрительной усмешкой, искривившей концы ее губ, возразила снова Зоя. — Все запреты я давно разрушила в уме своем. Ведь на этой земле можно жить приятно только в том случае, если отбросить всякие мысли: это запрещено, а то грех. Нравственность изобретена для утешения нищих, но какой угодно порок, шелестящий шелковыми воскрыльями, грациозен и привлекателен.

Анетта, молчавшая до этого времени, вдруг подняла свою выкрашенную голову:

— Вот это — так совсем правда.

— Послушайте, что я расскажу, — сказала Роза; в ее черных глазах сверкнуло пламя, и вся ее хрупкая фигурка дрогнула. — Когда я была очень бедна, то в глазах людей всегда прочитывала одно снисходительное презрение, и так как я была красива, то всякий хотел воспользоваться моей бед-

ностью и развратить меня. Такие все канальи люди, такие канальи! И вот это случилось и на самом деле, и не могло не случиться, потому что моя добродетель меня не кормила, но тогда свое грешное тело я стала убирать в шелк и кружева, и представьте: несмотря на то, что всякий видел, что я порок и грех, я перестала уже прочитывать в глазах мужчин презрительное соболезнование, а напротив — уважение и заискивание.

— Ха-ха-ха! — захохотал Капитон. — Ты, куколка моя, прекрасно сделала, что вступила на этот благодарный путь греческих гетер. Господа, она настолько теперь сделалась свободомыслящей, что общество «Лига любви» ее избрало почетным членом.

— Лжете вы, лжете, лжете! — запротестовала Роза, ударяя с каждым словом палочкой веера по столу. В это время Зоя, глядя на Ольхина, который подошел к ней, чтобы снова приступить к своим объяснениям, равнодушно сказала:

— Вот когда я выйду замуж, то непременно сделаюсь членом общества «Лиги любви» или «Огарка».

Ольхин вспыхнул и в расширившихся глазах его выразилось изумление:

— Ваши слова возмущают, Зоя Серафимовна.

Зоя подняла веер и, распустив его в воздухе, с шаловливой улыбкой закрыла им лицо Ольхина и стала им помахивать, говоря:

— Э, мой друг, люди ко всему привыкают, и тот, кто будет моим рабом, будет держать себя с достоинством, как джентльмен, тем более, что рога часто превращаются в рог изобилия, а это самое приятное украшение.

Проговорив это с зловещей насмешливостью, она, захопывая веер, щелкнула им над его головой и уже повернувшись, желая предоставить Ольхину наедине с самим собой раздумывать о значении ее слов, как увидела стоящего около них Леонида. Он стоял, глядя на нее печальными укоризненными глазами, а когда взглядывал на Ольхина, с глубины их светилось сострадание.

— Откуда ты явился? Из-под земли, что ли?! — проговорила она, искусственно рассмеявшись.



— Ужасные ты слова проговорила, дочь отца моего, настолько ужасные, что холод пробежал по телу моему, как если бы во тьме этой ночи я увидел кинжал в руке убийцы. Ты режешь словами сердце человека, несчастная Зоя, но запомни эти вот слова: раны, нанесенные ножом, могут закрыться и о них можно забыть, но раны, нанесенные словами, остаются в самых глубоких тайниках души, бесконечно оживают и в последний час жизни появляются, как огненные надписи, начерченные незримой Немезидой.

— Пошел прочь! — вскричала Зоя с искаженным от злобы лицом, с опустившимися бровями и с судорогой, пробежавшей по губам. — Ты сумасшедший!

— Нет, я не сумасшедший, — с обезоруживающей кротостью ответил Леонид и печаль пахнула из глаз его, — но я хочу ясно уразуметь, какие плоды приносят наши миллионы, и вот вижу, на миллионах этих, которые в свою очередь покоятся на груде костей, возросли жестокость сердца, злые мысли, бессмысленная роскошь, отчуждение от Бога и людей, а в будущем — преступления, слезы, смерть...

— Не смей больше говорить, молчать! — вскричала Глафира, с диким видом вспрыгивая с беседки. Она стояла перед ним с бледным лицом, казавшимся в лунном сиянии лицом призрака, со сверкающими гневом светлыми глазами.

Наступила тишина. Леонид посматривал попеременно на Глафиру и Зою, пугаясь злым выражением их лиц. Вдруг раздался чей-то вздох и Леонид стал смотреть на Тамару.

Находясь в объятиях Зои и положив свою чудную голову на ее плечо, она смотрела на небо, и ее черные глаза казались пламенными глазами молящегося херувима, хотя в то же время по губам ее блуждала тонкая улыбка.

Охваченный новым чувством, Леонид, шагнув к ней, стал всматриваться в ее лицо, восторгаясь его выражением и красотой. Тамара снова вздохнула.

— Вы вздыхаете, сожалея, что находитесь не на небе, а на этой грешной земле.

Продолжая смотреть вверх, она тихо проговорила:

— Да, там только мир и счастье — на небе.

На губах ее зазмеилась улыбка.

Всматриваясь в ее лицо, Леонид продолжал любоваться ею, и вдруг, точно в чувстве внезапно охватившего его ужаса, всплеснул руками, повернулся и быстро стал удаляться под ветвями столетних лип и кленов.

С улыбающимся лицом Тамара подняла голову и из горла ее вырвался звонкий смех, рассыпавшийся в тишине ночи, как трель колокольчиков.

### III

И богатство, и власть, и жизнь, все то, что с таким страданием устраивают и берегут люди — все это, если и стоит чего-нибудь, то только по тому наслаждению, с которым все это можно бросить.

*Шопенгауэр*

Серафим Модестович медленно похаживал на фабричном дворе вдоль здания своей фабрики, с каждым шагом опираясь на палку и как бы приседая, и с каждым его шагом из трубы с тяжелым пыхтением вырывалось злое серое облако. Прислушиваясь к этому пыхтению, ему казалось, что дышит какое-то огромное животное, что его легкие — нестерпимо грохочущие машины и что каждый вздох этого зверя отдается в его сердце болезненно, как удар. Всматриваясь в глубину себя, он ясно видел, что он не так чувствует, не так думает, как это было раньше, что там, в душе его, воцарился страх перед тем, что он делал всю жизнь, и перед тем, что его ожидает, какие-то вечные тревоги, опасение чего-то, минутами как бы вскрикивания совести <...>

Момент этот проходил, холодное сомнение охватывало ум его, губы иронически улыбались и он думал: «Оглупел, видно, я, от старости или от волшебства сына юродивого — все одно дурачество».

Под влиянием таких мыслей, он остановился против раскрытой двери фабрики. Он и раньше останавливался здесь, пытаясь войти, но каждый раз его охватывал страх. Теперь же, после того, как он подумал, что это все одно дурачество, в нем явился на время прежний энергичный <...> делец. Он вошел.

Вдоль чрезвычайно длинной фабрики с шумом, свистом и неимоверной быстротой вертелись громадные колеса, стучали, точно в судороге бешеной страсти, стальные рычаги, звенели цепи. Шум, шипение, грохот, свист — все это сливалось в целый хаос звуков, и сквозь пелену водяных и серных паров всюду светились руки, полуголые тела, потные от жары, измученные лица.

Фабрикант остановился, всматриваясь в эти лица, поднимающиеся и опускающиеся руки и, хотя за сорок лет для него все это сделалось очень знакомой картиной, но прежде он смотрел на нее, как делец на свои операции и потому ничего ужасного в ней не видел. Теперь, глядя на все это сквозь призму своего нового понимания, ему вдруг показалась вся эта картина каким-то кошмаром, бредовым видением, пляской теней среди ревающего тартара. <...> Он продолжал стоять неподвижно <...> и вместо прежней решительности он снова стал испытывать колебание и робость. Он стоял, опираясь на палку, с опущенной вниз головой и с глазами, тревожно устремленными в отдаленный конец фабрики. Седые брови его беспокойно шевелились и под кончиком горбатого с синими жилками носа застыла, искривив губы, жалкая улыбка.

Вдруг около него появился рабочий со спущенной от шеи до пояса рубахой и с красным, исхудалым лицом. По голому телу его скатывались капли пота. Рассмотрев, что это не кто иной, как сам хозяин, он низко поклонился и в дико устремленных серых глазах его засветился страх.

С минуту Колодников смотрел на него молча.

— Что смотришь, как на зверя?! — грубо закричал он в чувстве внезапно охватившей его злобы <...>

— По тому самому, ваша милость...

Расставив красные пальцы опущенных книзу рук во все стороны и не зная, что ответить, рабочий стал переминаться с ноги на ногу.

— Ну! — закричал Колодников, и ему казалось, что это не он кричит, а кто-то другой, всегда находящийся в нем, кричит и душит его, фабриканта, и кажется ему, что он сам во власти этого другого.

— Кожа да кости и тела совсем нет, — кричал фабрикант, — не работать тебе, а дома сидеть с детьми голодными... Тоже, рабочим называется... здесь не богадельня... черт!

Последнее слово вырвалось из его горла с какой-то хрипотой и, быстро отвернувшись, он пошел прочь, чувствуя отвращение к себе и к тем бессмысленным гадким словам, которые он наговорил. Он шел вдоль фабрики, испытывая такое ощущение, точно внутри его от живота к горлу перекатывалось что-то холодное, скользкое, вызывая содрогания во всем теле, и ему казалось, что подымается тошнота, хотелось кричать, выть, плакать от чувства отвращения к себе, от ужаса пред своей внутренней скверной... безбожием, жестокостью. «Разбойник добрее меня», — прошло в его уме, и ему хотелось бежать в лес, в поле, закрыть лицо от света солнца, чтобы ничей глаз не видел его, и там взывать <к> Богу: «Помилуй и очисти мя». Бежать, однако, было уже поздно: десятки рабочих, прекратив на минуту свои занятия, смотрели на него, низко кланяясь. Он хотел сказать всем этим людям какое-нибудь доброе, ласковое слово, но <...> неожиданно для себя он закричал:

— Чего оставили дело, таращите глаза на меня? Вот я давно уже белый старик, а работаю, не покладая рук. Для того все на свет и родимся...

Внезапно остановившись, он пригнул голову, точно кто-то ударил его сзади, шепнув в душе его: «Зверь, опомнись, это ли должен говорить!» Он стоял с опущенной головой, с глазами потухшими и тупо устремленными на рабочих, и в уме его проходила мысль, что он, старый тиран, должен побороть зверя в себе, сказать рабочим что-нибудь ласковое, приветливое и доказать этим самому себе, что он все-таки человек. Однако же он чувствовал, что это трудно: привыч-

ка быть жестоким и грубым связывала все его добрые чувства, как железным обручем.

Вдруг он увидел мальчика лет двенадцати со встрепанными и рассыпанными вокруг бледного лица волосами, с голубыми яркими глазами, и глаза эти, как казалось фабриканту, смотрели прямо в него, и ему показалось, что их голубой цвет наполнил его душу голубым, смеющимся сиянием.

— Зачем здесь этот ребенок? — воскликнул он, и в голосе его послышалась искренность и всех удивившая человечность. — Разве я когда позволял, чтобы дети портили здоровье свое и надрывались? Да и воздух этот ядовит. Может быть, и позволял, да только не хочу этого больше: дети пусть уходят отсюда на вольный простор...

С каждой фразой в нем росло новое чувство, которого он не знал — доброта, прежний зверь скрылся в глубину существа его, и новая сила как бы подымала Колодникова, побуждая к необыкновенным для него словам и поступкам. Он увидел, однако же, что рабочие смотрели на него с большим удивлением и любопытством и что их было уже не несколько десятков, а гораздо больше. Все это подняло волнение в нем, и по привычке, поддерживая свой престиж, он заговорил с обычной грубостью, хотя глаза его светились добротой:

— Что смотрите так? Говорю вам, нехорошо это, мучить детей тяжелой работой. Разум я не потерял, кажется, и знаю, что это большой грех. Мы все люди, как я, так и вы, и кто из нас лучше, Бог один знает. Не зверь я — человек. Чего смеетесь? — черти!

Никто не смеялся; он взгляделся пристальнее в лица и поняв, что ошибся, сказал, глядя на мальчика:

— Дитя, подойди ко мне.

Мальчик подошел. Стоя в шагах трех от Колодникова, он смотрел на него большими простодушными глазами с детской наивностью, и опять старику показалось, что голубой свет ворвался в его темную душу и ему сделалось радостно, так что он вдруг улыбнулся.

— Что, ты, глупенький, думаешь, что тебе здесь надо работать с большими? Откуда это взял?

Губы мальчика огорченно дрогнули и, удерживая слезы, он сказал:

— Мама велела. Больная лежит и дети с нею голодные. Отец работал здесь и помер. Все хотим есть.

— Глупенький ты! — воскликнул Колодников, почувствовав такой прилив доброты, что его грудь высоко поднялась, точно чтобы дать место новым чувствам.

— Отец помер <...> так это прямой мой долг помочь его жене и детям. Деньги — прах, а люди — дети Божие. Скажи матери, что старый хозяин так говорит.

Рабочие с несказанным изумлением смотрели, как Колодников, вынуд толстый бумажник, быстро отделил пачку кредиток и сунул их в руку мальчика.

— Иди-иди, — повторял он, легонько подталкивая его в спину, и лицо его было удивительным: оно сделалось светлым и радостным, точно внутри его существа распахнулось какое-то оконце и в прежнюю тюрьму ворвался голубой свет.

Мальчик ушел.

Колодников посмотрел на удивленные лица рабочих и самолюбие старого дельца заговорило в нем прежним властным языком. Ему казалось, что он упал во мнении всех людей этих, и потому <он> с искусственным гневом закричал, нахмуривая брови:

— Чего смотрите так! Знаю, что делаю. Где не следует, не брошу денег, не думайте. У меня в голове своя бухгалтерия и вам это не пример. Разинули рты и думаете: не потерял ли рассудок хозяин? Ну-ну, нечего стоять, работать надо.

Он все громче кричал, и чем сильнее чувствовал доброту и участие ко всем этим людям, тем выкрикивал все с большей грубостью. Это, однако же, не помогало: из-под опущенных бровей его светилось что-то радостное и лицо было светлым. Вглядываясь в рабочих, он вдруг увидел Ласточкина и закричал:

— Эй, ты, поди сюда!

Ласточкин подошел.

— Не люблю я тебя, — грубо заговорил Колодников, хотя в груди его прыгали радостные, добрые чувства. — Всегда ты был бунтарь и сколько раз уже я прогонял тебя, а вот

теперь повадился разговаривать с моим сыном. Смотри, Ласточкин, помни: разум у сынка моего, что у младенца, запрещаю слушать его. Непутевый он, блажной, крамольный. Так ли говорю?

Он жадно ждал ответа, желая знать мнение рабочего о Леониде и почти уверенный, что Ласточкин будет поддакивать ему. Он, однако же, ошибся. Рабочий твердо и со злой улыбкой ответил:

— Нет, ваша милость, не так <...> Что же касательно ума, то тоже напраслина: он словно с горы смотрит на нас и, видя грязь нашу, скорбит.

Все были удивлены смелостью Ласточкина и ожидали грозы; но, к общему изумлению, фабрикант стал только задумчиво смотреть на Ласточкина и вдруг улыбнулся длинной улыбкой.

— А ведь ты правду сказал, крамольник. Да, он скорбит, видя, как все мы, люди, грешно живем, точно он вернулся из каких-то горних селений... Однако, что за разговор у нас?

Он вдруг грозно посмотрел на фабричных.

— Говорю вам, работайте. Все глупость одна, блажь и ненужные слова. Ты, Ласточкин, грубить мне стал. Смотри у меня.

Он сердито застучал палкой об пол, но глаза его под нахмуренными бровями смеялись.

— А, впрочем, Ласточкин, ты хотя грубиян <...> но я тебе верю: вижу в тебе честность, и поэтому поручаю тебе вот что: перепиши всех малышей, больных и старых, что у нас на фабрике, узнай, кто в чем нуждается и приходи ко мне.

Он рванулся с места, грубо крикнул на рабочих, обругал их лентями и, опустив голову, чтобы никто не видел его счастливого, но сконфуженного лица, быстро пошел к двери. В уме его или, вернее, в области подсознания тревожно билась какая-то скрытая мысль. Она беспокоила его, хотя и находилась вне сознания. Под влиянием этого беспокойства он остановился, делая усилие что-то вспомнить и вдруг закричал:

— Где этот дурак? Честушкин!

— Честушкин! — раздались голоса.

К нему бежал рабочий, который ему встретился, когда он вошел на фабрику.

Честушкин стоял перед ним с испуганным лицом и, как и прежде, расставив красные пальцы.

— Поди, поди сюда, — говорил старик, отводя его к двери, чтобы его никто не слышал. — Тебя я обидел, брат, так, без причины. Сорвалось, что делать? Все мы, люди — звери. Ты же вот какой, худой, измученный, и душа у тебя болит, полагаю. Возьми это вот, Честушкин, у тебя семья, знаю, да никому не сказывай <...> Пойми, я не зверь.

Он вложил в руку рабочего несколько ассигнаций и быстро вышел.



С этого времени Колодников стал часто заходить на фабрику, поражая рабочих выражением своего лица и еще более щедростью: он стал раздавать деньги, не глядя на них и не считая. Правда, минутами он кричал, грозно хмурил брови, но это никого уже не пугало.

## ГЛАВА ПЯТАЯ

### I

Если и есть великое и доброе для вас, оно не явится к вам по первому или второму зову, не явится к вам легко, без труда или в салоне... Тернии и крутизна — вот дорога богов,  
— сказал Порфирий.

*Эмерсон*

Золотисто-бледная луна, задумчиво катясь в голубой бездне, разбрасывала свои бледно-серебристые лучи на нашу



планету-корабль, несущийся в пучине беспредельности с двумя миллиардами пассажиров-преступников.

Ели и сосны, образующие лес, и липы и клены сада Колодникова, стояли точно погруженные в волшебное оцепенение и, как таинственные существа, нашептывали одно другому тайны своего зачарованного бытия. Ночь божественно молчала и звезды в беспредельности триллионов верст трепетали золотыми ресничками, точно миллионы очей матери-природы.

Хотя ночь дышала священной тишиной, но в душах людей была тревога, жажда порока и греха светилась из их глаз и минутами ложилась по их лицам мрачными тенями.

Как и в прошлый раз, Глафира с своим женихом сидела в беседке, а под липами, вокруг стола, на котором стояли бутылки с шампанским, — Капитон со своими дамами и напротив — Зоя, Тамара и Ольхин. Все много пили и Капитон — в особенности.

— Господа, — громко воскликнул Илья Петрович, подымаясь с места и вглядываясь в лица пирующей компании, — я вам должен сообщить вот что: Серафим Модестович начинает безрассудно разбрасывать деньги. Вообразите чудо: являясь почти ежедневно на фабрику, он начинает раздавать, не считая.

— Капитон и Зоя, — заговорила Глафира, в свою очередь подымаясь, — не забывайте — наши капиталы отец в безумии своем может разбросать на ветер, то есть раздать разным оборванным рабочим, и потому нам надо посоветоваться, что делать.

— Остаться без миллионов! — воскликнула Зоя, делая кислую гримасу. — Да я сама тогда превращусь в привидение и стану ему являться в саване по ночам: «Папаша, мои миллионы!..»

— Ха-ха-ха-ха! — захохотал Капитон. — Превосходная идея: оденемся все в саваны, возьмем факелы в руки и пойдем к нему петь: «Миллионы...»

— Тише ты! — перебила его Глафира. — Вон к своему заветному дубу идет отец и за ним его безрассудный сынок. Будем слушать, чтобы знать, что нас ожидает.

Едва она замолкла, как Серафим Модестович, подойдя к дереву, опустился на камень, а Леонид, в руке которого была скрипка, глядя своими задумчивыми глазами на небо, заговорил:

— Какая чудная ночь! Смотрите вверх — какое божественное спокойствие разлито под этим голубым необъятным куполом, и в этой бездонной глубине проносится от звезды к другой и катится в беспредельность одно дыхание: Бог, и в этом просторе, в трепетании звездных лучей слышится голос: вечность, и в дыхании всего безграничного мироздания: любовь, бессмертие, блаженство бестелесных...

Умолкнув, он задумчиво продолжал смотреть на небо, а фабрикант, вглядываясь в высоту, вдруг прошептал: «Бог, Бог!»

Леонид быстро взглянул на него.

Он сидел неподвижно, с руками, положенными на палку, и глаза его были устремлены к небу. Его лицо было задумчивым, бледным и важным. Вглядываясь в беспредельную высоту, откуда миры светились, как мельчайшие искорки, он поражался этой высотой и поражался, что никогда раньше не замечал этой беспредельности и не чувствовал в этой голубой бездне дыхания Бога. Теперь ему казалось, что он слышит трубные звуки архангелов, призывающих всех, кто может их слышать, на высоту, где мир и тихая радость. «Гроба раскроются и обвинители встанут мои», — проходило в его уме, и в воображении его в сотый раз восставал человек, в горле которого зияла красная рана.

Леонид долго смотрел на отца и, наконец, тихо сказал:

— Папаша, мне кажется, что теперь вы видите сами, как ничтожно наше обманчивое счастье на земле, но воздвигать это счастье безумных и слепых на могилах замученных — как это безумно, жестоко и страшно.

— Сын, сын! — воскликнул старик и губы его передернулись в нервной судороге. — Зачаровываешь ты меня или как, не пойму, но слушать тебя страшно, больно и сладостно — прямое чудо. Вспоминаю о жизни своей, — сколько слез и крови выдавливал и не понять, к чему все было. Словно камень, скатился с небес и так тяжело... и вот в небе Бога ищу...

С последним словом он снова возвел глаза к небу и опять, положив руки на палку, смотрел, неподвижный и задумчивый.

Зоя, которая расслышала последние слова отца, посмотрела на окружающих и, гримасничая, воскликнула:

— Вот чепуха-то еще!

Она посмотрела на Тамару и, как бы лаская ее своими смеющимися глазами, шутливо проговорила:

— Тамарочка, из твоих глаз в блеске ночи смотрит на меня демон.

— Да неужели?

Яркие губы Тамары дрогнули от смеха.

— Да, да, вообрази — демон. Он дразнит меня и обольщает, так что мне хочется крикнуть: «Грех, оплети меня и свейся на моей груди твоими черными кольцами».

Тамара опять засмеялась, а Зоя, как бы прельщенная этим смехом, в котором чувствовался скрытый порок, нежно обняла ее.

В это время Илья Петрович тихо говорил:

— Глафирочка, бедный папаша твой, кажется, совершенно помешался.

— Будем внимательно слушать и наблюдать, чтобы знать, что делать нам.

На некоторое время воцарилось общее молчание. Капитон продолжал пить, с каждым бокалом разгораясь все более сладострастием, так что неудивительно, что он наконец сказал:

— Анетта, закрой нас всех троих твоей шалью.

— Зачем это? — спросила Анетта, голова которой давно уже кружилась от выпитого шампанского.

— Они ищут Бога в небе, — насмешливо говорил Капитон, — а я хочу жить блаженствуя и умирать с поцелуями на губах...

— Как вы теперь мне противны! — неожиданно воскликнула Роза, отталкивая Капитона, который хотел обнять ее, и пересаживаясь на другое место. — Оставьте меня и не трогайте. Я слушаю их и мне делается противным все это.

Она положила локти рук на стол и, закрыв руками лицо,

стала прислушиваться к словам Серафима Модестовича, который взволнованно говорил:

— Сын, сын, твои слова не выходят из ума моего, что будто каждый мертвый, что там, на кладбище — обличитель мой. Положим, ты уверил меня, что это так, да я и сам соображаю: когда кто кует капитал себе, многие жизни подламываются, как солома под косой. Думал я об этом много после слов твоих и вот вижу, что так <...> Прежде-то и мысли не было такой и в ожесточении сердца привык думать: вы, покойники, будете лежать смирно, и вот чудо великое совершилось: померещилось это мне или как, не знаю, но только видел — поднялась из гроба Клара...

Длинные брови его тревожно зашевелились над испуганно уставленными на Леонида глазами, и последний сказал:

— Говорю вам, не только Клара, но все те, мертвые, не в земле лежат там, а кочуют в пространстве.

Руки фабриканта, опирающиеся на палку, задрожали, и он повторил взволнованно густым голосом:

— Кочуют в пространстве!..

Глядя со страхом на сына, он понизил голос до шепота:

— Значит, и супруг Клары смотрит на меня с перерезанным горлом?.. Говори, сын!

— С перерезанным горлом! — повторил в ужасе Леонид.

— Тише ты! — испуганно вскричал старик, с нервной силой хватая его за руки и привлекая к себе. — Слушай, какую тайну тебе открою...

Голова его подалась вперед и закачалась и по лицу пробежало нервное содрогание. Какая-то сила подталкивала его высказать сыну тайну своего преступления, освободиться от нее, как человек хочет освободиться от тяжелого груза, который давит его: казалось ему, что давящий его кошмар рассеется, когда откроет тайну свою Леониду.

— Слушай ты, — прошептал он, — супруга Клары убил я.

— Убили вы!..

— Тише ты! — воскликнул старик, освобождая его руку, и упавшим голосом добавил с хитрой, но жалкой усмешкой:

— Разве я говорил тебе это?..

— Вы сказали, что супруга...

— Нет, не говорил, — перебил его старик. Глаза его мучительно смеялись, и в углах рта пробежала судорога.

Отец и сын смотрели молча друг на друга, и вдруг старик снова заговорил, но мрачным глухим голосом:

— Могилы раскрываются и закрытые тайны выходят и гробов, но тайна в сердце моем глубоко похоронена и не крикнет: «Вот он, убийца». Так годы шли, и думал я, что скорее небеса прокричат языками молний: «Вот он, убийца...» Но молчало небо, а сердце вот закричало само. Как закрыть ему уста? Да, сынок, оно кричало, а я не хотел. Сын, молчи. Много лет прошло, как было это, но вижу я, что мертвец всегда подымался из земли и смотрел в душу мою — мертвыми, холодными глазами. Молчи... Только вот, мешается ум мой.

В глазах Леонида заблестали слезы, грудь мучительно поднялась и, опустившись на колени, он взял руки старика в свои.

— Несчастный человек вы.

Старик смотрел на него удивленно.

— Что ты, глупый! Перед кем стал на колени? Кто я?

— Мученик, — отвечал Леонид, — и я склоняюсь пред тем незримым алтарем в душе вашей, на котором вспыхнул очистительный огонь.

— Не целуй руки-то... в крови, — воскликнул старик с каким-то воплем в голосе и, подняв руку кверху и потрясая ею, вскричал со смехом отчаяния в лице: — Красная перчатка на ней. Так ходил тридцать годов. Никто не примечал, какой я. Теперь кричит сердце мое: «Крикни на весь мир, кто ты есть и тайну выбрось».

— Страдания — очистительный огонь и потому не бойтесь их...

— Да, сынок, с той поры, как явилась Клара, нет покоя мне, — в волнении заговорил снова старик. — Огненное колесо кружится в уме моем и в блеске его вижу мертвеца бледного. Да, сынок, чей-то глаз вверху смотрит на меня: так пусть в небесах звенят колокола и все люди закричат: убийца. Да слушай ты, как было это...

Он прислонился к плечу сына, который уже сидел рядом с ним, и начал шептать:

— Ночь была темная, гром гремел и лес стонал от бури. Сердце мое горело. Вдруг вижу, человек едет верхом по лесу — муж моей сестры, и демон-соблазнитель шепчет мне: убей, никто не узнает, капитал его от Клары возьмешь себе, и будет у тебя много золота и всякого богатства. «Стой!..» — крикнул я и, когда всадник остановился, я подошел к нему и стал ему что-то говорить. Разговаривали оба ласково, и вижу, что все сказал, что можно, и что теперь остается или дать ему уехать, или убить, и повернулся уже я, чтобы дать ему уехать; но здесь демон-соблазнитель шепнул во мне: «Убей — золото твое». Я повернулся, одним ударом сбил его с лошади и минуту спустя он лежал с красной раной в горле. Луна выплыла из-за туч, а я, наклонившись, смотрел в зияющую рану, и казалось мне, что она, расширяясь, делается громадной и из глубины ее бьет фонтаном кровь, заливая меня, что мои руки в крови, что во рту моем кровь, так что я ощущаю вкус ее, и что внутри меня хлещут красные волны. Я поднялся и пошел, шатаясь, и хотелось мне себя убить, но стало рассветать и, не знаю как, я увидел, что стою около дома и Клара пристально смотрит в мои глаза убийцы. Возненавидел я ее; стал ее бояться и объявил безумной. Тридцать лет прошло с тех пор, тридцать лет молчал судья на небе и громы молчали и вот раскрылись могилы.

Ужас светился в глазах его, по губам побледневшего лица пробегала судорога и какие-то точки нервно бились под веками. Глядя неподвижно на сына, он с силой охватил его плечи и вскричал:

— Слышишь ты, сынок, что говорю-то? Косматые руки острыми когтями тянут мое сердце и в глазах видения... Молчи ты, Леонид, сын, приказываю строго... Судьи мои — вон они в могилах и подняли руки к небесам <...>

С последней фразой он поднял руки кверху и, устремив глаза к небу, остался с минуту в этом положении, а Илья Петрович в это время тихо проговорил:

— Ага, ты слышала? Его слова пахнут кровью и смотри, какой у него вид.

— Молчи, милый, будем слушать, — ответила Глафира.

— О, отец, — проникновенным тихим голосом заговорил Леонид, подымаясь с места, — верьте мне, что очень скоро священная истина раскроет ваше сердце для света и любви. Безумны мы все на этой грешной земле — планете осужденных духов-преступников. Но вот спадает скорлупа эта — ваше тело, вы увидите, как были несчастны и воскликнете: «Злодейство мое из тьмы души моей возросло». Ваше «я» будет судить вас и еще другой неумолимый судия — ваша совесть. Сатана связал вас цепями из золота и вы для пленения своего подняли нож...

— Тише ты, тише ты! — испуганно простонал старик, так как последнюю фразу Леонид проговорил громким, возмущенным голосом. Как и всегда, в этом состоянии вид его изменился: он стал как бы выше, тоньше, лицо стало светлым, точно в отблеске огня, вспыхнувшего в душе, и голос стал звенеть, точно натянутые струны арфы. Все это означало, что нервы его пришли в движение и подняли его вверх, как человека-духа.

Не обращая внимания на страх отца, он поднял руку кверху и проговорил слова, которые по последствиям оказались роковыми:

— Выбросьте миллионы ваши в пучину этой жизни, чтобы ваш дух понесся свободно и легко, как корабль на парусах бессмертия в бесконечном океане вселенной.

Глафира, до слуха которой донеслись последние слова, в волнении поднялась с места.

— Опасный идиот!

— Да, опасный, — согласился Илья Петрович, — но успокойся, сядь и будем слушать.

— Что ты, сын, шутишь или как? — говорил Колодников, пораженный предложением сына и, вспоминая о могуществе денег и ценой каких страшных усилий они доставались ему, невольно продолжал: — Миллионы — боги на земле — вот кто они, и бросить их, так все как раз и закричат: «С ума сошел фабрикант». Забудь, что болтал я про видение и помни, глупый, что золото мое — здесь оно, под моим сердцем, сосет его и в сердце впилась каждая монета.

На некоторое время он снова сделался таким, каким был раньше, и прежняя любовь к деньгам заставила его в волнении проговорить:

— Разорвать сердце хочешь и распять волю мою и все, чем жил я...

Леонид звенящим голосом, с непреклонностью человека, высоко поднявшегося над тьмой жизненного бытия, вскричал:

— Распните на кресте истины и любви вашу злую волю и незримые ангелы понесут ваш бессмертный дух в потусторонний мир разума и света...

— Не своди меня сума, сын... Га!..

С этим восклицанием он стал изумленно смотреть на Леонида. В сиянии луны глаза его казались большими и светящимися, лицо бледным и оно светилося необыкновенной силой.

— Какой свет в лице твоём! — воскликнул старик.

Он, однако, все еще находился под обаянием своих миллионов и Леонид в его глазах представлял как бы чуждую всему его прошлому силу, с которой надо бороться, и потому быстро заговорил:

— Слушай ты... миллионы... сила в них, в них чары скрытые, волшебство и зачаровывают нас...

Он вдруг остановился, так как ему показалось, что из глаз Леонида полилось презрение и по губам прошла грустная улыбка, и это совершенно изменило мысли его.

— Да... прав и ты... ударит час и где я буду?.. Гроб, гроб и в нем прах гниющий мой. Да, не умрет одна душа разве.

Леонид смотрел на него пристально и строго.

— Что же ты хочешь от меня, сын? Знаю, знаю, чтобы я одел на себя лохмотья, взял посох в руки и в пустыне дикой начал бы звать к Господу: «Ангелы небесные, возьмите старца Серафима под ваш священный кров, ангелы небесные, избавьте его от бесов, что в сердце завывали его...»

— В пустыню, в пустыню! — с силой экстаза воскликнул Леонид. — И камни там запоют вам: «Человек, ты найдешь Бога в себе, забитого ударами демонов мира».



— Ох, ты, сын, как говоришь! — воскликнул Серафим Модестович и, сознавая необычайность своего положения и глубокого переворота, совершившегося в душе его, он вдруг начал с жалкой недоумевающей улыбкой ощупывать свою голову.

— Что делаете вы, папаша?

— Дай убедиться, что я — я. Как будто это я и как будто кто-то в кровавой ризе вышел из меня. Как, ужели это я выслушиваю непутевый вздор твой и не закричу: «Дурак, хочешь миллионы вышвырнуть как тряпки... золото — царь в короне, а дух, что он?»

Ему вдруг опять показалось, что он находится под влиянием какого-то бреда и с этим вместе все прежние понятия и страсти вынырнули со дна души его, так что он с силой проговорил:

— На весах мудрости дай взвесить, что тяжелее.

Он сделал вид, что что-то обдумывает.

— Га! Глупый ты — дух ничто, легок, как пух и улетел, а золото осталось здесь, на земле, мое оно...

Он странно захохотал каким-то не своим, чужим смехом и, как бы испугавшись, внезапно умолк и голова его опустилась на грудь.

— Страдайте, отец.

Старик поднял голову и в лице его были печаль и растерянность.

— Смеешься ты!

— О, нет, нет! — с чувством воскликнул Леонид. — Но я хочу, чтобы вы страдали, потому что мучения — очистительный огонь. Вот эти звуки...

Он приложил скрипку к плечу, ту скрипку, на которой когда-то играла Медея, и провел по струнам смычком.

— Эти звуки наполнят ваш дух отзвуками иного, духовного царства.

В воображении его явилась Медея и ему казалось, что ее бездонные глаза заглянули в душу его, наполняя ее одновременно и грустью, и радостью существования, оторвавшегося от жизни. Он стал играть, как бы наполненный пламенем, упавшим с небес, и скрипка Медеи заговорила, застонала

всеми мучениями земли, но потом звуки, сделавшись радостными и светлыми, как бы понеслись к небесам в голубом сиянии.

— Играй, играй, — повторял старик, испытывая такое чувство, что ему казалось, будто множество херувимов, отдернув над ним голубые ризы неба, склонили вниз сияющие головы, устремив на него печальные глаза, и ему стало больно и сладостно.

Леонид остановился.

— Гармония этих струн — отзвуки нашей родины, неба, и блаженства светлых созданий. По кругам небесных светил подымаемся мы с каждым воплощением все выше и очи наши начинают видеть всю необъятность мироздания и астральных гигантов, катящих миры в беспредельном воздушном океане.

Скрипка снова зарыдала, а немного спустя звуки ее стали сливаться с тоненьким женским голоском. Это пела Роза. Беспутная жизнь ее показалась ей теперь такой, какой она была и на самом деле, отвратительной и пошлой, и она, как бы уносимая звуками поющей скрипки в иной мир, пела, точно оплакивая свой прошлый позор. Тамара, которая долго смотрела на нее с блуждающей на губах улыбкой, положила голову на плечо Зои и, глядя на небо, стала в свою очередь тихо подпевать.

Скрипка рыдала, а два женских голоса тоненько звучали в воздухе.

Серафим Модестович в это время взволнованно говорил, как бы рассуждая с самим собой:

— Да, теперь я чувствую, что во мне заключен некто, оплакивающий жизнь мою. Как это странно: я, фабрикант — дух бесплотный, и это я знаю потому, что под вздохи скрипки твоей он рыдает во мне и рвется вырваться из этой храмины. Вот тело мое: машина, но кто-то скрытый уносит меня вверх — дух, кто-то невидимый шепчет мне: «Ты — вечность, бессмертие — дух, миллионы — гниль...»

Он уставил вниз глаза и на лицо его точно упала туча.

— А вот еще кто-то кричит во мне: «Убийца ты и весь в крови... убийца!...»

Он смотрел в одно место, в пространство между двух раки с печально свешенными книзу ветвями. Лунные лучи серебрили их и на траве отражались дрожащие кружева листьев. Он долго смотрел широко раскрывшимися глазами и лицо его выражало все больший ужас.

Со времени появления видения Клары в его душе была вечная тревога, опасение, нет ли около него призрака мертвеца. Страх этот все более овладевал им по мере того, как он проникался мыслями сына и верой, что мертвые блуждают среди живых. Днем он успешно боролся со своими страхами и в борьбе с ними так называемый здравый смысл всегда торжествовал. Но наступала ночь и пугливость овладевала им настолько, что он делался жертвой ярких образов своего воображения. Ему казалось, что слышатся шаги, шелестят и поднимаются занавеси и портьеры и что всюду скользят тени — обличители его злых деяний. И он не мог понять: видит он их на самом деле или они создания его собственного ума.

Теперь звуки скрипки и пение, разбив его волю, наполнили его высокими чувствами, страданием и в то же время ужасом. С этой высоты бездна, в которой он находился, показалась ему особенно глубокой и мрачной. В воображении его стал обрисовываться образ человека, и благодаря сейчас же овладевшей им пугливости ему показалось, что между деревьями скользнул серебристый человеческий силуэт.

Он стал медленно подниматься с камня.

— Га!.. Кто там стоит? Ты видишь, сын? Вон он, вон...

Перестав на мгновение играть, Леонид с чрезвычайно нервной силой проговорил:

— Да, он там... он смотрит на вас, в вашу совесть лучистыми, но страшными, мертвыми глазами.

Казалось, в организме Леонида разрядилось заключавшееся в нервах электричество и потому слова его отразились в старике, как невидимый бич, ударивший по нервам. В то же время, воля Леонида направила силу, испешшую из тела его, в пространство, куда смотрел его отец, и вот с полной ужасающей реальностью перед Колодниковым появился, весь обсыпанный серебристыми иглами, облик чело-

века с широко раскрытыми мертвыми глазами, из глубины которых исходили яркие лучи. В горле его краснелась рана.

Колодников задрожал с ног до головы, ощущая в себе холодный свет, льющийся из глаз видения, и в безумии отчаянья, дребезжащим, как струна, голосом заговорил:

— Тридцать лет как было это, но ты вылез из гроба и стал здесь, предо мной. Рана твоя в горле все еще сочится кровью и кричит: «Вот здесь ты вонзил свой нож, убийца...» Ох, ох, ох!., Ты манишь за собой меня? Иду! Твои бездонные глаза влекут меня ужасной силой. Иду!.. Сто демонов в груди моей кричат: «Убийца».

С последними словами старик медленно пошел в просвет, образуемый деревьями, а Леонид, продолжая играть и глядя на небо, пошел за отцом.

## II

Чем красивее женщина, тем она должна быть честнее, потому что только честностью она может противодействовать тому вреду, который может произвести ее красота.

*Лессинг*

— Ты слышал?

— Да, кое-что, — отвечал Илья Петрович на вопрос Глафиры, — хотя далеко не все, но нетрудно догадаться: старые преступления выползают из гробов и мучают старика. Вот отчего он стал так суверен и так подчиняется внушениям безумного сына.

— Все это ужасно. Леонид действительно безумен и Бог знает, что в будущем им обоим может взбрести в больные головы. Они, действительно, способны расшвырять капитал нищим. Необходимо принять меры.

— Я же тебе говорил, Глафирочка.

— Так советуй же мне, что делать. Ты умный, рассудительный, ты все знаешь.

Оба они начали шепотом совещаться.

Между тем, звуки скрипки становились все тише и тише, и это показывало, что старик, увлекаемый призраком, и его сын уходили куда-то все дальше. Несмотря на это, Роза продолжала петь, но тихим, печальным голоском, и в ее кротком, матово-бледном лице отражалась невыразимая грусть. Не обращая больше внимания на нее, Капитон, заключив в свои объятия Анетту, нашептывал ей что-то настолько грязное, что даже она, не выдержав, громко сказала:

— Однако, ты совершенное животное, мой миленький, совершенное.

— Может быть, и животное, что ж такое? — спокойно ответил Капитон, залпом выпил бокал вина и, сидя на стуле, качнулся.

— Да, Тamarочка, я с тобой согласна, — тихо говорила в это время Зоя своей подруге. — Замужество — свобода для меня; отец мне должен будет выдать, по крайней мере, миллион, и тогда все цепи добродетели долой и понесемся мы с тобой в вихре грехов и удовольствий.

Тамара, голова которой, по обыкновению, лежала на плече Зои, а чудные глаза мечтательно смотрели на небо, с блуждающей по губам улыбкой тихо проговорила:

— Грехи — очаровательные змейки, с чудесным ядом, — знаешь?

— Да, да.

— Ужалят и кровь побежит в жилах, как бешеная, сердце замрет в наслаждении, а в уме в это время воцаряется маленький, все осмеивающий демоненок.

Тамара устала на свою подругу свои грешные глаза, в глубине которых что-то смеялось, и по губам ее скользнула улыбка.

— Как это интересно выходит у тебя, Тamarочка.

— Однако, прежде тебе надо купить себе мужа. Вон, твой будущий раб ходит вокруг нас, боясь подойти. Утешь его, чтобы он не сорвался у тебя с цепи.

— Евгений Филиппович, — крикнула Зоя.

Ольхин подошел. Она потянулась к нему губами.

— Поцелуйте меня.

Ольхин стоял, не двигаясь.

— Ну!..

— Не верю я такому счастью.

— Целуйте сию минуту, — скомандовала Зоя, нахмури-  
вая брови и краснея от гнева.

— Какое счастье, — шептал Ольхин, исполняя ее прика-  
зания. — Зоя, милая, я пьянею, целую тебя, как от вина.

— Пей! — крикнула Зоя и рассмеялась каким-то хищным,  
развратным смехом. Когда же Ольхин стал ее целовать, она  
с силой оттолкнула его от себя и опять рассмеялась.

— Учи его, Зоичка, — с невыразимо коварной улыбкой  
на губах тихо проговорила Тамара, снова кладя голову ей на  
плечо.

Вдруг Роза, которая продолжала тихонько петь, неожиданно закрыла лицо руками и зарыдала. Все с видом недоумения стали смотреть на нее.

— Что с тобой, глупая? — искривив губы, злобно спросила Анетта. Роза подняла голову.

— Я привыкла думать, что этот мир — болото мерзостей, разврата и обмана. Но иногда приходится думать, что это не так, и эта скрипка плачет и разбивает мое сердце. Что-то поет, стонет в душе моей и мне хочется унести куда-то под эти звуки от этой грязи и пошлости.

Она снова закрыла лицо руками и опустила голову, а Анетта, глядя на нее злыми глазами, сказала:

— Разодолжила, признаюсь.

Капитон посмотрел на Розу пьяными глазами, с неожиданным бешенством схватил бокал и, разбив его вдребезги, поднялся с места.

— К черту слезы! Тоска и грусть, это не по мне — мешают жить и наслаждаться. Эй, я хочу жить!

Глафира, поднявшись с места, строго крикнула:

— Капитон, не смей скандалить!

— Жить хочу! — кричал он, расставив руки и глядя пьяными глазами вниз. — Эй, пейте и пляшите! Эта желтая луна опьяняет <не> хуже, чем мадера, и лучи ее пляшут,

точно маленькие желтые девочки. Ха-ха-ха! Анетта, ну-ка, хорошенький канканчик в честь луны. Да ну же, танцуй! Не хочешь?

Он приблизился к ней и шепнул:

— Десять катенек обещаю, это уж верно.

— Если хочешь, изволь, — сказала Анетта и, став против Капитона, начала вальсировать, сладострастно изгибаясь и подымая кончиками пальцев платье. Эта картина оргии в безмолвии ночи вызвала в Зое ее врожденные склонности и, неожиданно сорвавшись с места, она завертелась, ударила веером Ольхина, приглашая его стать против нее, и когда он это сделал, заставила его танцевать. «Как это интересно, в лунном сиянии», — кричала Зоя, стараясь в движениях своих быть, насколько возможно, бесстыдной. Скоро все они закружились и понеслись, притоптывая ногами, хлопая в ладоши и моментами издавая дикие восклицания. Глафира, полная возмущения, поднялась с места и крикнула:

— Да вы все с ума сошли, господа.

Никто ее не слушал. Тогда Глафира с негодующим видом взяла за руку жениха своего и быстро сошла со ступеней беседки с видимым намерением оставить эту пьяную компанию, как вдруг увидела стоящего невдалеке от нее своего отца и за ним Леонида и остановилась, полная затаенной тревоги и любопытства.

Опираясь на палку, Серафим Модестович смотрел на всю компанию, мрачно нахмутив брови, а Капитон в это время, галопируя против Анетты с поднятой бутылкой над головой и выделявая ногами всевозможные узоры в воздухе, выкрикивал пьяным голосом:

— Душа, ешь, пей и наслаждайся. В этом все мои десять заповедей и больше я ничего не хочу знать. Для этого папаша нам сколотил капитал огромный. Вот молодчина. Всю жизнь он трудился, как верблюд, для того, чтобы я мог разбрасывать его деньги, как царь. Всегда нам можно плясать так, кутить и наслаждаться с девочками, а желтая луна пусть себе смеется на своем небе своим желтым смехом, мне какое дело? Да, пусть смеется. Я буду блаженствовать под

хрустение нежных косточек розовых девственниц. Молодец папаша, сколотивший для всего этого нам капитал. За его здоровье и к черту всякую мораль.

Он поднес к своим губам бокал вина, но в этот момент раздался громкий, негодующий голос:

— Мерзавец!

Танцующая Зоя и все другие внезапно остановились. Серафим Модестович стоял посреди них, дрожа от негодования, по губам его пробегала конвульсия, и под нависшими бровями бегали и сверкали глаза, как маленькие, злые зверьки. По всем этим признакам видно было, что им со стихийной силой овладевает ярость. Вдруг он поднял палку и закружил ею в воздухе, точно желая кому-то разmozжить ею голову, но потом, видимо, сделав страшное усилие над собой, опустил ее и в волнении заговорил глухим, негодующим голосом, в звуках которого моментами слышались сокрушение и грусть:

— О, если прав ты, Леонид, и если с небес высоких смотрят на нас существа всезрящие, то пусть они разразятся хохотом и миллионами языков заговорят: «Безумный, глупый, жестокий старик Колодников! О, да, ты, Серафим, комедиянт, ты шут пред Богом и собой, — и вот, смотри: на золоте твоём, которое ты добыл трудом сотен людей, их потом и слезами, кружатся в разврате твои дети и глумятся над тобой же». Так, так надо осмеять меня, старого глупца, а когда в могиле я буду лежать, настанет для вас всех праздник светлый и в ликовании закричите: «Га, сколько денег оставил нам, детям греха и дьявола, этот старый шут». Да, дьявол был во мне, в душе моей, и глаза мои были закрыты. О, плясуны! Вот так, ударом палки...

С этими словами, подняв палку свою, он одним взмахом разбил вдребезги бутылки и бокалы.

— Вот так, одним ударом я хотел бы разбить все плоды жизни, — эту выдумку дьявола, — капитал. Знайте же вы все, что я вот что сделаю: раздам его я нищим, бездомным людям, не знающим, где преклонить голову свою <...> все, все им отдам! О, я безумец! Я терзал людей, мучил их <...>



и вот плоды: на миллионах этих возросли безбожие и разврат.

Он повернулся, чтобы уйти, но, увидев за собой Леонида, неожиданно охватил его шею рукой, склонился головой на его плечо и зарыдал:

— Мой друг, мой милый сын, идем отсюда.

Оба они стали медленно уходить.

Глафира, Зоя, Капитон и другие все долго стояли неподвижно, ошеломленные последними словами отца — раздать капитал. Наконец Зоя воскликнула:

— Раздать наши миллионы нищим и оборванцам! Как бы не так! Позволим мы — как же!

— Опасное сумасшествие, — вскричала Глафира, блеснув глазами, и нежно очерченное лицо ее сделалось злым.

— Ха-ха-ха! — искусственно рассмеялся Капитон. — Вот еще чудак-старикашка. А ведь когда-то он и сам имел целые стаи красоток. Видно уже вместе с молодостью черт уносит на рогах своих и последний умишко, годный хотя бы для того, чтобы сообразить, что жизнь дана для упоений, или черт с ней.

— Перестань ты паясничать, — вскричала Глафира, и в нижней части ее лица отразилась холодная злоба. — Мы должны унять отца. Не дожидаться же нам, чтобы он в страхе перед привидением раздал наши богатства.

Зоя нахмурила свои черные брови, с нервной силой сжала руки в кулаки и, вытянувшись, вскричала:

— Я просто бешеной делаюсь от этой мысли — раздать наш капитал.

— Вот идет мама, — сказала Глафира и шагнула навстречу матери, которая, выйдя из боковой аллеи, остановилась и стала попеременно смотреть на всех.

— Сидя на балконе, я слышала, что ваш отец говорил здесь с большим гневом, — сказала Анна Богдановна.

— Он просто рассвирепел, мама, — ответила Глафира, а ее сестра скороговоркой, резко добавила, делая презрительные гримасы губами.

— Как бенгальский тигр.

— Он уже не тот, — заговорила снова Глафира, — и так

страшно изменился в ужасе пред своим же бредом о воскрешении мертвых, что я не узнаю его и прямо ставлю вопрос, мама.

Она шагнула к матери и, почти касаясь ее лица, резко спросила:

— Хотели бы вы быть нищей?

Анна Богдановна даже отшатнулась от неожиданности.

— Очень странный вопрос, признаюсь.

Зоя, в свою очередь, тоже шагнула к матери и глядя на нее из-под нахмуренных бровей своими синими глазами, настойчиво сказала:

— Нет, вы прямо отвечайте: хотели бы вы, чтобы у нас ровно ничего не было — ни имений, ни капиталов, ни бриллиантов?

— Бриллиантов! — воскликнула Анна Богдановна со слабым смехом на губах и на минуту глаза ее засветились прежней, былой жизнью. — Да это и представить себе нельзя. Мои бриллианты были всегда моей гордостью, и на балах я блистала в них, как королева.

Она вдруг остановилась, почувствовав, что все, о чем она говорит, время унесло с собой безвозвратно и что это даже и хорошо, потому что в душе ее теперь поднялись совершенно другие силы. Она стояла неподвижно, задумчиво глядя в пространство голубой ночи.

— Что с вами, мама? — с досадой в голосе спросила Глафира.

Продолжая смотреть в пространство и как бы взвешивая каждое слово, Анна Богдановна тихо и печально отвечала:

— Сверкающие эти камни и все, что было — тщеславие и суета. В душе моей не то теперь и с прошлым я простилась. Как будто бы во мне поселился кто-то мрачный и печальный и совершает панихиду над мертвецом в алмазах, в бальном платье, и я слышу голос: «Молись, молись», и перед глазами человек в венке терновом — мой судия.

Глафира холодно выслушала, на губах ее появилась гримаса досады, и она с презрением сказала:

— И, мама... Кажется вы опять поехали за Рубикон здорового ума.

Проговорив это, она стала пристально смотреть на нее, а Зоя в это время, склонившись к уху Тамары, со смехом шептала ей:

— Со стороны мамы это отвратительное лицемерие, Тамарочка, так как она нисколько не вакханка, а скорее Мессалина, и ее романы нам известны всем.

Между тем, Глафира, продолжая смотреть на мать, громко и резко проговорила:

— Отвечайте просто: хотели бы вы быть нищей?

Анна Богдановна удивленно посмотрела на дочь и, опустив голову, задумалась и только потом сказала:

— Нищей быть — тяжелый крест, хотя Господь может убить и миллионами.

— Теряю я с вами терпение, мама, и повторяю снова, — раздражительно заговорила Глафира, — настанет день, когда отец раздаст наш капитал, и нам останется ходить по домам и славить Христа.

— Христа славить — светлая радость, — к общему удивлению, тихо и печально отвечала Анна Богдановна. — Взять крест в руки и воспевать Христа и, одевшись в черное, жить в черной комнате, как сын мой, и видеть привидения из могил.

Все смотрели на нее, совершенно ошеломленные такой необыкновенной для нее речью, и только спусти некоторое время Зоя, сорвавшись с места, подскочила к ней, уперла руки в бока и покачивая головой, насмешливо отрезала:

— Мама, вот что с вами случилось: какой-нибудь астральный идиот потушил всякий свет в голове вашей и там теперь совершенная тьма.

Анна Богдановна только страдальчески посмотрела на нее.

— Как ты дерзка, Зоичка, и бесчувственна.

Глафира, пристально взглянув на мать и как бы сразу сообразив, как им надо поступать с ней, подошла к Зое и шепнула ей о необходимости повлиять на мать мнимой добротой и ласковостью. Зоя только тонко улыбнулась, показывая этим, что она сразу поняла Глафиру, и как только последняя отошла совещаться с своим женихом о способах по-

ставить отца в невозможность поступать по своей воле, Зоя, нежно обняв мать, начала ей ласково нашептывать что-то. Вообще, лицемерие в характере Зои играло не последнюю роль: когда не помогали дерзость, грубая насмешка или гнев, она благоразумно прятала когти, в лице выражалась ласковость и уста начинали лгать, произнося слова любви и мира. Против этих орудий своих дочерей, уловления в сети, Анна Богдановна, по слабости характера и чувствительности, всегда оказывалась бессильной, и потому не удивительно, что в конце концов, после того, как Зоя объявила о своем желании немедленно выйти за Ольгина, Анна Богдановна сказала:

— Он очень добрый человек. Да, вам обоим необходимо выйти замуж, и капитал надо разделить.

— Вот видите!

— Но как повлиять на вашего отца, я, признаться, не знаю.

— О, мама! На него теперь совершенно нельзя положиться, так как привидения все более завоевывают его. Он разбрасывает деньги рабочим и делается совершенно немняемым.

Пока они разговаривали таким образом, Капитон, находясь в объятиях Анетты, под влиянием сладострастия, а также выпитого шампанского говорил:

— <...> для меня ничего не значат никакие мертвецы, которые, может быть, и поднимаются из гробов, как только им там надоест лежать. Пусть себе и поднимаются, я все равно не изменю своей жизни, хотя бы с неба опустился целый эскадрон духов на белых крылатых конях и протрубил мне: «Анафема, анафема».

Анетта звонко рассмеялась и, бесцеремонно барабаня пальцами по его лбу, со смехом проговорила:

— Эскадрон девиц, мой котик, девиц, а не духов, это вот более вероятно, и я предчувствую, что ты умрешь где-нибудь на сеновале, протерев глазки твоим миллиончиком.

Капитон захохотал.

— Прощеловать миллион — ничего не имею против и в этом ты мне поможешь.

— О, не беспокойся. Ведь я тебя обожаю.

В доказательство своих слов Анетта, охватив голову Капитона обеими руками и прислонив ее к своей высокой груди, начала бесцеремонно теревить ее во все стороны, не замечая, что в это время мимо них проходили Глафира и ее жених. Приостановившись на мгновение, Глафира с видом глубочайшего презрения только произнесла: «Какая безобразная сцена» и пошла дальше.

— Понимаешь, остается одно, — продолжая разговор и занятый исключительно своим иезуитским планом, говорил Илья Петрович, — остается твоего отца признать душевнобольным и назначить над ним опеку.

— Раз другого исхода нет, то это только грустная необходимость.

— Для этого необходимо согласие всех членов семьи и вообще, хлопот будет много.

— Ну, что же делать? Нельзя же нам оставаться в таком рискованном положении, и мы сейчас же устроим первое совещание.

С этими словами Глафира направилась к матери и с выражением ласки в лице и голосе объявила ей, что им всем необходимо собраться, чтобы посоветоваться, что делать. После этого Глафира крикнула: «Капитон, иди вместе с нами» и, взяв под руку жениха своего, направилась уже было к террасе дома, как вдруг все приостановились, пораженные видом идущего вдоль ограды сада Леонида. Он шел, закинув назад голову и, как всем казалось, рассматривая звезды. В одной руке его была скрипка, в другой — смычок, которым он размахивал в воздухе, точно дирижируя воздушным оркестром.

Остановившись, Глафира указала всем на брата.

— Смотрите, как задумчиво идет он.

Илья Петрович тоном злого сарказма проговорил:

— На крыльях бессмертия идет и в небесах видит Бога. Не будем ему мешать.

— Бедный мой Леонид! — со вздохом и печалью в лице проговорила Анна Богдановна.

— Тамарочка, и ты пойдешь с нами, — сказала Зоя, беря

под руку свою подругу, но Тамара ответила:

— Нет, Зоичка, я должна совершить один подвиг.

— Какой?

— Поймать на удочку сына небес, — сказала Тамара, указывая глазами на уходящего Леонида, и в ярких губах ее промелькнуло тонкое коварство.

— Как это интересно! — воскликнула Зоя. — Поймай же сына небес, Тамара: тогда мы обе обломаем его крылья, и он будет уже безопасен для нас.

— Он будет на цепочке у меня, — прошептала Тамара, блистая глазами и медленно отходя.

### III

Беспредельная нежность есть величайший дар и достояние истинно великих людей.

*Джон Рескин*

Изгибаясь гибкой талией своей, Тамара быстро прошла под ветвями лип и вязов и внезапно остановилась, увидев Леонида. К ее удивлению, он был не один. Он стоял, размахивая над головой своей смычком и поглядывая то на небо, то на стоящую в нескольких шагах от него Розу.

— Пегас, Лира, Сириус, Арктур, Андромеда, Проксима, Альфа Южного Креста, Альтаир, Альдебаран — все эти бриллианты, топазы и яхонты — миры, прелестная дама, — дома и приюты, обсыпанные алмазной пылью, для таких одиноких, грустных странников, как моя странница-душа и, может быть, и ваша. Вы же говорите мне, что я одинок и что, вероятно, я скучаю на этой маленькой грязной планете. Надо быть слепым, чтобы не видеть миллионы существ, окружающих нас, как улей — рои золотистых пчелок, и совершенно глухим, чтобы не слышать, как уверял еще и Пифа-

гор, музыки небесных сфер.

«Да он совсем сумасшедший», — думала в это время Тамара, стараясь скрыться в сиреневых кустах, и тем увереннее она думала это, что, произнося все свои странные слова, Леонид казался то грустным и серьезным, то в лице его и глазах отражался злой сарказм, так что в общем трудно было понять, серьезно все это он говорит или в словах его выливался горький юмор его души.

Роза стояла вытянувшись, как бы в чувстве удивления, и в ее широко раскрытых кротких глазах выражалась печаль, испуг и непонимание.

Леонид, между тем, продолжал и голос его звучал то юмором, то грустью:

— Согласитесь, что вы ошибаетесь, прекрасная дама, думая, что сын вечности может скучать, находясь в этом храме, в лучах миллионов светил. Мои друзья — мысли, мои неверные спутники — страсти тела моего, которых я хлещу бичами воли моей, но они все-таки кусают меня, как стаи злых псов, мои кроткие подруги — небесные воспоминания, как называет их Платон, и стремление сына вечности. Видите, в какой я прекрасной и разнообразной компании, как настоящий король, окруженный огромной свитой из баронов, рыцарей и наглых хамов, которых укрощать можно только хлыстом. Правда, находясь на этой планете безумцев, очень легко провалиться в болото, но оно не опасно для того, кто умеет читать в вечной книге небес.

Вдруг он остановился, быстро шагнул к Розе и стал пристально смотреть в ее глаза.

— Что вижу я! Из этих сияющих окон в смятении смотрит печальная душа и в отчаянии кричит: «Как грязен этот мир».

— Вот это совершенная правда, — воскликнула Роза, обрадованная, что наконец услышала понятную для нее фразу. — Да, я всегда думала, что этот мир очень грязен, хотя я сама самое ничтожное, презренное и порочное существо.

Не глядя на нее, а куда-то в пространство, Леонид задумчиво проговорил, как бы отчеканивая каждую фразу:

— Ничтожное и презренное существо никогда не может

подняться на такую высоту, чтобы это признать, хотя бы в руках судьбы оно было бы простой размалеванной куклой.

И с последним словом его глаза уставились на Розу.

— Я это и есть — размалеванная кукла, — вскричала она, и по губам ее пробежал беззвучный печальный смех.

— О, нет, не думайте.

— Что не думать?

— Это только тело ваше — кукла.

Он склонился к ней и чрезвычайно нежным голосом, причем глаза его светились лаской, проговорил:

— Душа же ваша в плену у демонов мира этого.

Он грустно смотрел на нее.

В его собственной душе постоянно одни чувства сменялись другими и, хотя господствующим была грусть, но, так как он видел противоречия жизни нашей, то она часто сменялась иронией и юмором. Теперь же, глядя на кроткое огорченное лицо Розы и понимая, что происходит в ней, он испытывал печаль, теплое участие к ней и чувство вполне человеческой любви. Он нежно провел рукой по волосам ее и сказал:

— Не огорчайтесь и поверьте мне, что, хотя демон мира и зажег в душе вашей огни пороков и грехов, но в вас живут воспоминания иной, светлой стороны, и я слышу, как в вас звенит печаль, а это отголосок бессмертия.

— Звенит печаль! — повторила Роза с кроткой и счастливой улыбкой. — Хотя я не понимаю, как может звенеть печаль, но чувствую, что в моей душе звенит что-то. Я не помню, чтобы кто-нибудь так говорил со мной. Ваши слова так же трогают меня, как и звуки вашей скрипки; но я не хочу скрывать кто я такая... Я не только кукла размалеванная, я...

Она гордо выпрямилась и резко произнесла:

— Кокотка.

Леонид схватил ее за руку и, став на одно колено, приложил ее к своим губам.

Роза испуганно отскочила.

— Что делаете вы?!



— Душу, оскорбленную демоном мира, поднимаю к небесам, — отвечал он, подымая руки кверху, и поднялся. — Однако, вы ошибаетесь, — продолжал он, сразу меняясь и переходя в иронический тон. — Кокотка — тело, но в размазанной храминке может случайно поселиться король-дух. Какое мне дело, во что ваше «я» временно заключилось? Мы, бессмертные существа, миллионы лет блуждая в пространстве мироздания, не можем знать, где поселимся — во дворце или в лачуге. Наше «я» — то нищий, то король. Из ваших глаз смотрит существо страдающее, молитвенное и вечное и в них отражаются развалины прежних царств.

С удивлением слушая его, Роза стояла неподвижно, с улыбкой счастья на губах, и в глазах ее светилась радость.

— Знаете ли, что вы сделали со мной? — спросила она.

— Что?

— Теперь мне омерзительна моя жизнь и я бросаю ее.

— О-о! — воскликнул Леонид с сияющим лицом. — Пускай же душа ваша омоется от грязи в купели страдания, печали и тоски.

Он быстро подошел к ней и поцеловал ее в лоб.

— Роза, Роза! — раздался откуда-то голос Анетты.

— Запишите в сердце вашем, — проговорил снова он, — Леонид желает вам счастья вечного...

Не договорив, он поднял руки и задвигал ими над головой.

— В просторе эфира.

Показалась Анетта и, увлекая с собой Розу, тихо сказала ей:

— В просторе эфира — вот идиот!

Отходя, она хохотала и говорила:

— Удивительно, что это с тобой делается, Роза. Дура ты, что ли, в самом деле? Разговаривать с этим сумасшедшим — это все равно, что слушать вой ветра или завывание в трубе. Не он, а пьяница и распутник, его брат — вот клад, от которого мы обе можем черпать сколько угодно золота.

Судорога отвращения пробежала по губам Розы и, ни слова не ответив, она быстро ушла от нее. Анетта долго стояла неподвижно, совершенно ошеломленная этим.

Между тем, Леонид стоял на месте, прислушиваясь к хохоту Анетты и печально покачивая головой. В это время Тамара, стоя за кустами сирени, думала: «Я никогда не видела такого сумасшедшего». Разговор с Розой, а в особенности нежное обращение с кокоткой, удивляло ее, возмущало и вызывало злость, досаду и ревность. Ей казалось, что если он так относился к «бульварной девке», как она мысленно называла Розу, то перед ней он должен преклониться, как перед божеством, и если до сих пор он только убегал от нее, то это, конечно, потому только, что ее красота действовала на него слишком сильно. Подстрекаемая всем этим, а также и желанием искусно разыграть свой роль, Тамара беззвучно вышла из-за кустов и вблизи Леонида стала у дерева, выпрямилась, заложила свои руки за шею, чтобы выразить этим картину душевных мучений, закинула голову и чудесные глаза свои молитвенно устремила на звезды. В этой позе, залитая светом луны, в котором ее матово-бледное лицо в рамке черных волос светилось, как алебастр, а глаза, казалось, шептали небесам молитвы, она действительно казалась божественно прекрасной. Леонид, однако же, погруженный в свои мысли, стоял неподвижно, с опущенной головой.

Не изменяя позы, Тамара вздохнула.

Он вздрогнул и, увидев ее, бросился к ней и устал на нее свои изумленные и очарованные глаза. Он смотрел на нее и ее красота тонким ядом охватила ум его и наполнила душу отравой желания и стремления к ней. Хотя глаза ее и смотрели в голубое небо, но в глубине их горело пламя греха и на ярких губах пробегала улыбка, точно крошечная змейка, полная ядом. Он чувствовал, что вся она дышит пороком и всеми обольщениями земли и что под ее ангелоподобной формой скрывается грех, смотрит из ее глаз и влечет к себе всеми земными чарами. Волнение охватывало его все сильнее и кто-то в душе, как бы его второе «я», повторял давно забытые слова Медеи: «Распни змея».

— Прекрасная дама, — заговорил он тоном иронии и всеми силами стараясь побороть свое волнение, — что хотите вы сказать вашей театральной позой сыну вечности?

Тамара, не изменяя позы и продолжая смотреть вверх, очень тихо проговорила таким мелодическим голосом, точно в груди ее была музыка:

— Что на меня с глубины этого неба смотрит вечность. — Яркие губы ее вздрагивали от змеино-коварной и в то же время обольстительно-порочной улыбки. — Мне хотелось бы вознестись к небесам и хотелось бы, чтобы там был колокол: я стала бы звонить в него до тех пор, пока все люди поднялись бы от праха земли к небу.

Леонид изумился, так как такого ответа не ожидал. Вслед за этим им овладело еще большее волнение, ему казалось, что все тело Тамары пышет огнем земли, грудь с каждым вздохом манит его, забыв все, броситься на нее и выпить чашу блаженства, смешанного с ядом и огнем, и будто яркие уста ее шепчут: припади к ним и выпей яд очарования моего. Ему почувствовалось, что огненный змей поднялся из глубин его животного существа и, расправляясь кольцами своими, каждую каплю крови превращал в пламя. «Распни его», — шепнул голос в нем, и в его душе поднялась эфирная Медея, ее бездонные глаза, в которых теперь была вечность, взглянули в его глубину, все нервы его дрогнули и вдруг раздался звон струн.

Тамара вздрогнула, опустила руки и с побледневшим лицом стала смотреть на него.

— Ага, прекрасная дама! — властным голосом воскликнул Леонид. — Сын вечности опрокидывает чашу с обольстительной отравой и уходит в свой духовный храм. Счастливо оставаться.

Он заиграл. Струны скрипки зазвучали с такой силой, точно по ним пробегали пальцы невидимых фей. Он играл, быстро удаляясь от Тамары.

Она стояла, неподвижная и бледная.

---

## ГЛАВА ШЕСТАЯ

### I

Болезни мысли губительнее и встречаются чаще, чем болезни тела.

*Сенека*

— О, Тamarочка, какую странную и смешную историю ты рассказываешь мне, — говорила Зоя после того, как Тамара стала передавать своей подруге свое приключение с Леонидом, причем старалась выставить его в смешном виде и не жалела для этого красок. В особенности ей это удалось, когда она, передавая его разговор с Розой, рассказала, как он, опустившись на одно колено, воскликнул: «Душу, оскорбленную демоном мира, подымаю к небесам». Обе они долго и звонко хохотали.

Они находились в это время в обширной комнате Зои, обитой розовым шелком. В сиянии солнечного света, который, врываясь в окна, заливал широкие шелковые диваны и кресла, этажерки и сотни всевозможных безделушек, комната сверкала всевозможными переливами цветов, а канарейки, распеваящие в золоченых клетках под окнами, придавала ей еще более веселый и ликующий вид.

Обе они только что проснулись.

Рассказывая свою историю, Тамара лежала на диване на груди, болтая в воздухе голыми ногами и поминутно подымая с шелковой подушки голову со смеющимся лицом. Слушая ее, Зоя сидела, покачиваясь в качалке и время от времени ударяя носком голый ноги об пол. Когда Тамара сказала ей о ее собственном приключении и о том, как Леонид ушел от нее, глядя на небо, точно «беседуя с своими знакомцами, обитателями эфира, и давая их милостям концерт на скрипке», Зоя, остановив качалку, нахмурила брови и негодующе воскликнула:

— Какой дурак! Он не только сумасшедший, но и непротитительно глуп. Ты — царица красоты, Тamarочка, дочь неба, и если он бежал от тебя, как осел, то значит, он не способен видеть ангела, спустившегося на землю. Какое животное! Да если даже мы обе поклялись быть дочерьми сатаны и жить в грехах, как героини Пшибышевского, и если ты, Тamarочка — хорошенький, очаровательный демон, то все равно, красота — божественна. Ты моя прелесть, мой ангел, мой бог.

Произнося все эти слова, Зоя, пересев на диван, склонилась к своей подруге и стала целовать ее глаза, губы, ее голые плечи. Тамара, приподняв голову с рассыпавшимися по плечам кольцами черных волос, смотрела на нее наблюдательно, отвечая на все это загадочно-лукавой улыбкой. Вдруг она приложила палец к губам, давая понять Зое, что хочет что-то ей сообщить.

— Ты думаешь, что я позволю твоему безумному брату продолжать мирно беседовать с небом и думать, что он победил меня? Как бы не так! Я расстрою его мирный дух, я оплетусь тонкой змейкой вокруг его сердца и буду пить кровь его, я рассыплю в его голове тысячи соблазнительных мыслей и они будут жалить и терзать его, как тысячи пчел, которые, однако же, не дадут ему ни одной капли меда.

— Ха-ха-ха-ха! — рассмеялась Зоя, сливая свой смех с веселой трескотней канареек, обнимая Тамару и падая вместе с ней на диван. — Ни одной капли меда! Как это ты забавно говоришь! Да, пусть он окончательно сойдет с ума, Тamarочка. Это будет все-таки лучше: сумасшествие от любви — прелесть, а теперь оно вполне дурацкое, так как в голове его какие-то духи и всякая чушь.

— Он будет у моих ног! — воскликнула Тамара, свешивая ноги с дивана, и ее черные глаза ярко заблистали. — Вся эта чепуха вылетит из головы его и вместо всех духов там воцарится демон.

Зоя опять громко засмеялась, обняла ее и две женские головки с рассыпавшимися черными волосами опять упали на подушку.

Странные отношения Зои и Тамары образовывались постепенно. Тамара была существом сенсуальным, в котором сливались воедино качества исключительно женственные и в тоже время порочные, полученные от природы и усиленные предшествующими условиями жизни. Кроме того, она была коварна, обольстительна, вкрадчива, мстительна, сластолюбива. Зоя была тоже порочна по природе и порочность ее тоже страшно усилилась, но от других причин, — от безделья, богатства, от постоянных картин измучиванья сотен людей тяжелой работой ради ее прихотей и удовольствий. При всем этом, в противоположность Тамаре, в ней преобладали решительность, энергия, стремительность, внезапность страстных движений. Противоположность эта между ими обеими была причиной их взаимного бессознательного влечения друг к другу при первой их встрече в Москве. Зоя с наслаждением любовалась ее лицом, фигурой, ее полными неги движениями, в которых было что-то напоминающее пантеру в то время, когда она ласкается, изгибаясь и пряча когти. Когда же подружились они, то Тамара стала увлекать ее и своей порочностью, богатством воображения, которое рисовало ей жизнь, полную опьяняющих грехопадений, без всяких цепей морали или нравственности. В глубине души Зоя и сама рада была бы с себя сбросить всякую ответственность перед внутренним свидетелем ее поступков и мыслей — совестью, но в одиночестве она чувствовала невозможность освободиться от этого внутреннего наблюдателя. Тамара ей помогла, подстрекая ее любить грех и изображая всякое добро и добродетель в смешном и карикатурном виде. Говорила о всем этом она с таинственной улыбкой на губах, и улыбка эта и глаза Тамары, в которых как бы отражалось обаяние греха, завлекали, притягивали Зою.

Тамара походила в это время на обделанный в золото флакон, хранящий в себе всякого рода яды, и потому в уме ее начали быстро бродить и разные извращенные понятия, превращаясь в душе ее в невидимых чудовищ, тем более опасных, что они хранились под чарующей наружностью. Природа ее создала с известным расположением к порокам,

а ее мать-армянка, мучающая своего русского мужа, изменявшая ему на глазах Тамары и внушавшая дочери влечение к жестокости, обманам и коварству, сделали то, что, когда Тамаре исполнилось шестнадцать лет и мать ее умерла, то она вступила в бой за право жизни вооруженной с головы до ног, не кинжалом, саблей и прочим, а оружием, более верно действующими — обольстительным умением завлекать, очаровывать, хитрить, вероломно изменять и, когда надо, жестоко осмеивать. Приблизительно в это время она встретилась с Зоей и обе они практику жизни начали поэтизировать, убирая ее в венец декадентской поэзии. Они жадно прочитывали книги, в которых мир изображался как царство сатаны, а человек как его сын, и в которых поэтому горячо провозглашались содомские оргии, утонченный разврат и поклонение дьяволу.

Продолжая разговор и восхищаясь каким-то своим планом в отношении Леонида, Тамара внезапно остановилась и в глазах ее отразился испуг.

— Скажи, пожалуйста, Зоичка, что это за дьявольщина, ведь я прекрасно видела — скрипка сама зазвенела. Как это он делает?

В глазах Зои в свою очередь отразилась пугливость.

— Черт его знает! — воскликнула она, продолжая неподвижно смотреть в глаза Тамары. Казалось, из глаз подружки ее в глаза Зои и наоборот переходила какая-то ужасная мысль, заставляя обеих их испытывать чувство бессознательной тревоги, которая с минуты на минуту все более усиливалась. Обе они никогда не могли забыть «разные штуки» и «необъяснимые проделки», которые произошли на их глазах какой-то непонятной силой Леонида. Упорное желание думать, что все это не стоящая внимания «чепуха», сделало то, что им казалось, что это действительно так. Однако же, где-то в области подсознания продолжали вырабатываться мысли и чувства совершенно другого рода, и минутами на фоне их сознательного ума-аппарата с рельефной ясностью вырисовывались мысли и картины, таившиеся где-то в глубине их духа. Тогда их нервы вздрагивали и они начинали осторожно передавать одна другой свои тревоги и опасе-

ния. Это произошло и теперь. Зоя неожиданно поднялась, лицо ее стало неподвижным и в глазах отразился страх.

— Вот что непонятно: каким образом этот дурак мог свести с ума нашего умного, практичного отца? Ведь он положительно обезумел.

Обе они снова, в недоумении и с отражением в глазах охватившего их страха, стали смотреть друг на друга.

— Но скажи мне, Тамарочка, твое истинное мнение, ведь он же сумасшедший, совершенно безумный человек?

Тамара молчала и зрачки ее глаз неподвижно усталились в глаза Зои.

— Я говорю о моем брате.

— Сумасшедший ли он?

— Да, да! Что с тобой, Тамарочка? — беспокойно воскликнула Зоя, чувствуя, что зрачки глаз Тамары как бы проникают в нее и испытывая все большее беспокойство.

— Какое нам дело до этого? — неожиданно, со странной улыбкой и спокойствием, проговорила Тамара. — Он живет, заключив Бога в себе, и потому он наш враг, так как мы тайные жрицы Астарты, дочери сатаны, и демон внутри нас.

Глаза Тамары засветились ярким светом, по лицу разлилась яркая краска, и все это показывало, что ее собственные слова вдохновляли ее, пробуждая чувства влечения к греху и злу. И столько было влекущей к себе силы в глазах Тамары, что Зоя, точно охваченная внутренним огнем, внезапно вскочила, бросилась к Тамаре и, обнимая ее, начала целовать, с каждым поцелуем повторяя:

— Демон, демон, демон! Тамарочка, ты для меня ангел, Бог и черт. Теперь поняла я — наш враг всякий, в душе которого силы, противные нам.

— И помни еще вот что, — отстраняясь от нее, добавила Тамара. — Мы должны твердо верить в то, в чем клялись... Или нас ждет гибель — двух дочерей демона... распятие на кресте... Бог и черт не могут жить в одной душе.

Зоя отскочила от нее, пораженная, и неподвижно стала на нее смотреть.

Вошла горничная и, поставив сервиз с чаем и закусками на стол, сказала, смеясь:



— А ваш папаша и братец опять провинились. Пошли по квартирам фабричных и стали их женам и детишкам бросать деньги, как щепки. Страсть сколько нашвыряли.

Горничная вышла.

— Не будет больше он безумствовать, — воскликнула Зоя, энергично сжимая руки в кулаки, выпрямляясь, и лицо ее сделалось мрачным и злым. — Два доктора незаметно следят за каждым их шагом. Отца мы или посадим в сумасшедший дом, или назначим над ним опеку, а миллионы разделим поровну.

Пока она говорила, Тамара открыла шкаф и, достав из него бутылки с разноцветными ликерами, стала все это с улыбочкой расставлять на стол.

Скоро голова Зои закружилась. Внутренний свидетель-совесть со страхом убрался куда-то в уголок ее души, лицо Зои сделалось красным и синие глаза загорелись бесстыдным огнем.

## II

Смерть есть начало другой жизни.

*Монтень*

Обессиленное сентябрьское солнце погасло. Ветер дул и ревел, срывая с деревьев пожелтевшие листья и унося их вверх, крутил их в воздухе, развеивая в разные стороны, как стаи перепуганных желтых птичек.

Леонид шел полем и вдруг остановился, всматриваясь в человека, стоящего на гребне холма среди крестов и могильных камней. Человек стоял неподвижно, с опущенной головой, и ветер развеивал во все стороны его длинную, совершенно белую бороду.

— Отец мой, несчастный мой отец! — прошептал Леонид. В лице его отразилась скорбь и сожаление и он быстро направился к холму. «Тень убитого ходит за ним следом

и гонит к гробам пересчитывать мертвецов своих — все жертвы его проклятого богатства», — думал он.

Старик Колодников, проникаясь все более мыслями Леонида и идеей, что его преступления — мстители его, в то же время все более проникался верой, что духи бывших людей рассеяны в пространстве и вечно смотрят на него, их мучителя и палача. Вера эта, отодвинув все его прошлое далеко назад, в долину скорби, заблуждений и напрасных злодейств, в то же время наполнила его воображение страшными галлюцинациями и картинами ужасов. Призрак убитого им начинал все чаще пред ним появляться и увлекал его к кладбищу, глядя на него проникновенно смотрящими, мертвыми глазами. «Иди и считай», — раздавался голос из каких-то неведомых глубин его духа и, повинуясь голосу, он шел на кладбище, обходил могилы, подолгу стоя над каждой из них, и иногда ему казалось, что он видит их колеблющиеся тени, поднявшиеся из земли.

Войдя на кладбище, Леонид стал подходить к отцу. Старик стоял, поглядывая во все стороны на заросшие травой могилы грустными, растерянными смотрящими глазами. Услышав шаги, он поднял голову и, указывая сыну на могилы, с глубоким вздохом воскликнул:

— Мертвые, мертвые, мертвые! Как много их, как много!..

Леонид посмотрел вокруг себя грустными глазами.

— Лес из крестов,—сказал он.

— Лес, да... из крестов! — повторил старик и в лице его отразился ужас. Сын видел это, но, желая, чтобы одна истина светила в душе отца, пристально глядя в его глаза, с горечью сказал:

— И на каждом кресте притаились птички — души их.

— Птички — души их! — повторил старик, мучительно вздыхая, и губы его судорожно передернулись в выражении страдания. — Ты рвешь мое сердце, сын. Так грустно говоришь и больно мне, больно!

Он снова посмотрел вокруг себя на ряды деревянных крестов, возвышавшихся один за другим и казавшихся ему во мраке наступившего вечера большими и страшными.

— Да, лес из крестов! Я — сеял смерть и выросла вот она

и смотрит на меня из впадин каждого пустого черепа над каждым крестом. Ах, сынок, тяжело думать это! <...>

Мучения сомнением часто являлись в его уме посреди страданий, и в такие минуты он настойчиво требовал, чтобы сын разбил его сомнения.

— Истина должна сиять в уме вашем и потому жестокую правду говорю, несмотря на жалость к вам.

Дрожащим, волнующимся голосом старик заговорил:

— Ой, тяжело! Кремень-то я был и вот шелуха распалась эта и под ней сердце мое в огне пылает. Каин я, Каин, и вот стою посреди леса крестов над телами и черепами их и ни один не подымется из гроба...

Он повернул голову к сыну с развевающейся от ветра бородой и, вопросительно глядя, воскликнул:

— А?

Теперь Леонид стоял, выпрямившись, глаза его горели, точно излучая в душе его таившуюся силу, и его голос зазвенел в воздухе необычайной уверенностью:

— Авели со светильниками истины в руках, поднявшись из могил своих, смотрят на вас.

Слова сына, сила, испешшая из него, имели на старика такое действие, как если бы по его нервам ударил электрический ток и, сразу теряя всю свою волю, он только испуганно воскликнул:

— Смотрят на меня — что ты!..

Он стал испуганно озиаться и ему казалось, что в темноте кресты, возвышаясь один над другим, уходят высоко в темное пространство и угрожающе раскачиваются, а Леонид еще с большей силой проговорил:

— И светильники их озаряют прожигающим светом пропасть души вашей.

— Пропать души моей! — упавшим голосом повторил старик, вглядываясь в глубину себя. И с такой силой вспыхнула в нем мысль эта, что ему казалось, что он видит пропасть души своей, озаряемую светом своего ярко вспыхнувшего факела, выступившего из оков материи — вечного ума. Ему ярко представилось, что в пропасти этой — вечность, мудрость, всеведение, совесть, но что свет и голоса, исходя-

щие из его глубин и бывшие в нем до его земного рождения, всегда в этой жизни заволакивались тучами его зверских пороков и страстей и сетью ядовитых мыслей его временного повелителя, слепого практика-ума. «Так вот я кто?» — как молния, прорезавшая тучи, зазвучал голос в нем, как бы исшедший из вечности. И почувствовал старик, что он как бы выходит из тела своего. Восторг, ужас и вера в могущество свое, все это одновременно явилось в его душе, и уверенность в свои способности видеть невидимое глазами сделала то, что ему показались над могилами чьи-то чуть заметные облики... Они светились и гасли... <...>

Это были как бы светящиеся контуры головы и рук человека. Согнутые руки упирались о дерево и между ними светилось кроткое, тонко очерченное лицо, и два блистающих глаза были устремлены в глаза старика.

— Видение ты! — в смертельном страхе и одновременно с этим в восторге воскликнул он, отступая назад.

— Смотри, мой сын, мертвый смотрит с вершины креста своего. О, о!.. Какой страшный свет в его глазах. Дух в эфирном облачении, что хочешь мне сказать? Ужас, ужас, что делал я в этой мрачной жизни. О, говори, замучил, истерзал тебя безумный, жалкий Серафим! Говори, или пусть трубы архангелов прозвучат надо мной проклятия.

Он ждал ответа, не отводя своих страшно смотрящих глаз от видения, и ответ этот был в глубине его самого. Там громко звучал голос терзающейся в оковах грехов, мятущейся совести, там звучала истина, но, так как дух старика был в волнении, по нервам пробегала сила, неведомая нам, то опять случилось то, что психиатры для удобства своего называют галлюцинацией: слова прозвучали с вершины креста.

— Да, жизнь моя была страдание <...> убит был я во цвете лет, но здесь, за гробом, вкушаю мир и радость, которые недоступны богачам земли под ношей их кровавого золота.

И светящаяся голова на вершине креста рассеялась, как столб крутящегося дыма.

Старик стоял неподвижно.

— Исчез!

Он бросился к сыну, положил руки на его плечи и, глядя на небо и на могилы, закачал головой.

— О, Леонид, небеса опустились на землю и шепнули земле: подымайтесь, мертвые, из могил своих... Смотри!

В смятении обернувшись, он стал неподвижно смотреть на вершину небольшого креста, стоящего над маленькой могилой. Над крестом клубилось сияние и из него стал обрисовываться силуэт детской головки, с согнутыми ручками, положенными на вершину креста и подпирающими подбородок. Головка светилась бледным пламенем, губы кротко улыбались и голубой свет лился из глаз.

— Ребенок! — в трепете кричал старик и умолк <...>

Свет над крестом внезапно погас, как свеча, на которую дунул кто-то незримый. Колодников продолжал стоять и под глазами его и в углах рта конвульсивно бились какие-то больные нервы. Он поднял руки кверху и как-то просто-нак, глядя на небо <...>

Стоя с простертыми руками, он стал оборачиваться в разные стороны, глядя на могилы. Воля его теперь и обычный здравый ум были задавлены силами, кружившимися в нем, как огненные вихри, и силы эти, исходя из него, как неизвестные еще нам лучи, очерчивали линии вокруг его видений.

Куда он ни смотрел, всюду над могилами показывались призраки и исчезали. Он видел себя как бы перенесенным в иной мир, с иного рода явлениями, и в это время для него мир вещественный, все интересы его, и все, чем жил он, перестали существовать. Падая на колени, подымая руки кверху и глядя на небо, он кричал каким-то чужим голосом:

— О, громы небес, обрушьте на голову мою, и огненные вихри, подымите меня, и пусть гореть я буду, как живая свеча среди вселенной.

Леонид подошел к отцу, скрестил руки на груди и лицо его светилось радостью и любовью.

— Отец, верьте мне, что с этой минуты вы перешли из этого мира грехов и тления в иной светлый мир, и тысячи существ смотрят на вас с радостью и умилением.

В это время откуда-то из оврага поднялись два человека и, осторожно ступая, начали спускаться с вершины холма в поле. За ними шли управляющий и его сын. Все они весело и насмешливо улыбались. Пройдя некоторое расстояние, все остановились. Господин, высокий и толстый, с выпученным, круглым животом, на котором светилась цепь, и с очками на глазах, проговорил, обращаясь к Петру Артамоновичу и его сыну:

— Ну-с, констатирую голый факт: оба безумны, отец и сын.

— Безусловно, — басом подтвердил другой господин, такой же толстый, как и первый, но гораздо ниже его.

Это были два психиатра, приглашенные из сумасшедшего дома.

— Теперь мы со спокойной совестью можем выдать желаемое вами свидетельство и посодействуем во всем остальном, — говорил высокий доктор-психиатр.

— Никакого сомнения: всего, что мы видели в эти дни, совершенно достаточно. Старик страдает бредовыми идеями, сопровождающимися галлюцинациями слуха и зрения.

Оба эскулапа быстро направились к дому, а Петр Артамонович, радостно улыбаясь, проговорил, глядя на сына:

— Сыночек миленький, так ты на линии, значит, к денежкам, и будет он у нас под опекой, как мальчик.

— Не сомневаюсь я уже несколько, — ответил сын.

— Ха-ха-ха! — весело рассмеялся управляющий, глядя на сына и любуясь им. — Не нарадуюсь, сыночек мой. Смотри! — воскликнул он, взглянув на вершину холма.

Колодников продолжал стоять на коленях с простертыми к небу руками и говорил:

— Клянусь душой бессмертной, все золото свое, все проклятое богатство я раздам несчастным беднякам.

— Ха-ха-ха-ха! — снова весело рассмеялся управляющий. — Двенадцать миллиончиков раздать. Ха-ха-ха-ха!

---

### III

Счастье, истинное счастье есть сама добродетель.

*Спиноза*

Роскошные комнаты дома Колодникова были ярко освещены огнями. В обширной зале с колоннами сверкали несколько хрустальных люстр, и в потоках яркого света, под звуки выписанного из Москвы оркестра, носились пары многочисленных гостей, приехавших сюда из всех окрестных местечек и городов. Давно уже в доме миллионера не было такого шумного сборища, такого общего ликования, таких гор всевозможных съедобных вещей и таких длинных рядов бутылок с шампанским и различными винами; но, если взять во внимание причину всего этого, то станет понятным, что иначе не могло и быть: совершилось двойное бракосочетание — двух дочерей фабриканта с молодыми людьми, которых они избрали быть спутниками дальнейшей жизни своей. Глафира была уверена, что, вручая свой руку Илье Петровичу, она поступает благоразумно, дипломатично и дальновидно, так как сын управляющего, по ее мнению, именно человек, который сумеет сделать так, чтобы прилив золота в их сундуки никогда не прекращался, так что над их головами всегда будет сиять звезда счастья. Зоя была тоже уверена, что, избрав себе мужа в лице Евгения Филипповича Ольхина, она совершила смелый дипломатический акт, гарантирующий ей свободу, независимость и возможность под фирмой законной супруги иметь очень много незаконных мужей. К этому шагу она уже и приступила, так как, несмотря на присутствие мужа, сумела окружить себя, при ловком содействии Тамары, целой толпой безусых юношей. Обе они — Глафира и Зоя — чувствовали себя прекрасно, и это тем более понятно, что одновременно с выходом замуж они вступали и во владение своими миллионами: их отец, признанный докторами, по общему же-

ланию всех членов семьи, душевнобольным, совершенно устранился от владения своим имуществом и над ним был назначен опекун в лице мужа Глафиры Ильи Петровича. Отец последнего, Петр Артамонович, расхаживая под веселые звуки вальса по длинной анфиладе комнат, старался скрыть свою радость, но это ему не удавалось: во всей его фигуре было что-то самоуверенное, дерзкое и довольное, и по всем этим признакам все видели, что он торжествует как бы какую-то победу и чувствует восторг победителя. Капитон тоже был весел. Его радовало сознание, что он теперь неограниченный хозяин своих миллионов; но он ошибался, так как всегда находился под деспотической властью тирана — своего сладострастия — и различных иных своих невидимых мучителей. Не беря всего этого во внимание, он, в ознаменование своей самостоятельности, очень скоро напился и, так как обычных спутниц его пригласить сюда оказалось невозможным, то он, усевшись у колонны, мрачно насупился.

Посреди всех этих галопирующих и веселых людей одиноко ходила по комнатам Анна Богдановна. Она одна была печальна и тяжелое предчувствие закралось в сердце ее. Как бы в ознаменование своей скорби, она, отдав дочерям все свои драгоценности, одела на себя в день свадьбы черное платье и только большой бриллиантовый крест повесила на грудь. Это рассердило ее дочерей, но она, спокойно выслушав их дерзости, только сказала: «Ступайте и танцуйте себе и в дальнейшем поступайте, как считаете для себя хорошим, а меня оставьте». Тогда от нее с гримасами на лице обе дочери отошли, а она продолжала одиноко расхаживать по комнатам, чувствуя, что под видимым для всех крестом бриллиантовым на груди ее, в ее груди таится другой крест, тяжелый, как свинец, который все ярче будет сверкать иными бриллиантами — ее слезами, пока она не выплатит все свои долги, наделанные ею в этой жизни, вечному Хозяину. Ее мучила совесть: муж ее, до этого времени властный фабрикант, теперь делался бесправным, как ребенок, с которым может делать все, что вздумает, его опекун, муж Глафиры, и она первая, по настоянию дочерей, под-



писалась под таким общим позорным решением! Она тем более мучилась, что перемена, совершившаяся в душе Колодникова, казалась ей чудесным знамением той истины, что все прошлое их обоих было сплошной цепью одобряемых законом и людьми преступлений и что цепь эта будет обвивать двух божьих колодников, пока не растопится в огне, брошенном в их сердца Леонидом. Хотя она не вполне понимала, что это за «штуки» проделывает ее сын и откуда в нем явилась эта таинственная сила и нравственная высота, но она испытывала такое чувство, как если бы Леонид отдернул завесу, отделяющую этот мир от другого. Она вполне прониклась верой, что дела наши вечно продолжают жить за пределами гроба, и все ее прошлое, и все, к чему люди стремятся, потеряли в ее глазах всякий смысл. И вот, когда глаза Серафима Модестовича раскрылись на дела его жизни, когда истина воцарилась в уме его и он стал освобождаться из-под власти тьмы этого мира, тогда именно все закричали: «Он безумен». Совесть ее мучила и, побуждаемая ее голосом, она сделала все старания, чтобы он ничего не знал о признании его сумасшедшим. Это ей удалось тем легче, что Серафим Модестович совершенно перестал интересоваться делами своими и на капиталы свои начинал смотреть, как на ядовитую золотую пыль, разъедающую глаза до потери способности видеть, как на сор, который надо далеко отвести от себя и путь к могиле своей сделать легким и гладким. Он стал походить теперь на человека, готовившегося уйти в пустыню. Однако же он очень удивился, когда увидел бесконечные ряды экипажей, потом — в своем доме многочисленных гостей и когда раздались громкие звуки музыки. «В этом доме, который я называл своим, музыка и пляска — что все это значит?» — спросил он резко и сильно волнуясь. Ему объяснили, что обе его дочери вышли замуж. «Как, без моего решения?!» — воскликнул он гневно, но, сейчас же сделав усилие над собой и вспомнив, что все прошлое не что иное, как «тяжелое сновидение на земле», стал задумчиво смотреть на свои раззолоченные комнаты. «Зачем вся эта роскошь?! — воскликнул он неожиданно. — Нам ли, гостям в мире этом,

возводить такие чертоги? Пиршества и пляска — бесовская затее. Наше счастье не увеличивается от грома музыки, танцевания и всей этой мишуры». Он постоял, глядя задумчиво на танцующих, и грустно окончил: «Мне бы лучше в лес или в поле. Все это не для меня». Он походил еще немного по своим апартаментам, покачивая головой, как бы что то припоминая и имея вид человека, который явился в чужой дом, и никто не заметил, когда он исчез. Леонид побыл здесь дольше, нежели его отец, но, по общему мнению, он странно себя держал, говорил возмутительные вещи и все это вместе — одних приводило в недоумение, в других вызывало негодование. Он расхаживал среди танцующих, высоко поднимая голову, и по лицу его нервно перебегали бесчисленные морщинки, отражая царившие в душе его юмор и горечь. «Ой-ой! Как смешно подпрыгивают все эти люди! — воскликнул он, неожиданно остановившись. — И никому не приходит на ум, что веселье пляшущих — только наарумяненный шут на цепочке богини счастья».

— Неужели это правда? — неожиданно спросила его молоденькая блондинка, переставая танцевать и пытливо глядя на него светлыми глазами.

— Совершенная правда, прелестная дама, — отвечал он с выражением неподражаемой иронии в лице, низко склоняясь корпусом и опуская руки. — Когда вы сделаетесь такой же печальной, как я, то и для вас наступит май и в душе вашей запрыгают все светила небесные; но если вы сами будете только прыгать, то в будущем понадобится целый водопад горячих слез из ваших чарующих глазок, чтобы он растопил лед вашего замороженного сердечка.

На лицах стоящих вокруг него мужчин и дам выразилось полное недоумение и, пока они стояли, раздумывая, как им поступить — рассмеяться или вознегодовать — Леонид быстро отошел и уже направился в другие комнаты, как совершенно неожиданно перед ним появилась Тамара. Она стояла с чудной улыбочкой на своих губах, похожих на два ярких коралла, и из ее черных глаз как бы смотрело скрытое в ней обольстительное чудовище — дерзкий призыв к пороку и наслаждению. Чудовище в душе ее смея-

лось, нежилось и как бы млело от страсти, глядя из ее черных глаз, как из окон. Одета она была в белое, усеянное цветами, воздушное платье, очерчивающее ее грациозную, гибкую фигуру и оставляющее голыми ее руки и плечи. Ее грудь, бесстыдно обнаженная в верхней своей части, вздымалась, колебля легкую материю.

Леонид стоял неподвижно, глядя на нее и чувствуя, что земля в лице Тамары притянула его, разбивая его высшие силы, и что скрытые в нем чувства «зверя земли», тонким ядом разлившись в его существе, затуманивают его ум, свет глаз его. Он чувствовал, что так долго мирно таившийся в нем «змей похоти» выполз из глубин своих и снова стал дышать отравой и огнем. А Тамара продолжала стоять, наблюдательно глядя на него. Вдруг она глубоко вздохнула с особенным, многозначительным выражением в лице и улыбочкой и ее грудь, высоко поднявшись, заволновалась. «Брось на нее и пей яд и пламя ее тела», — точно тонкая молния, пробежала мысль в его мозгу, но Леонид стоял неподвижно, делая усилие уничтожить в себе эту мысль и желая смирить поднявшегося зверя в себе. Страшная сила желаний влекла его к этому грешному телу, а волнующаяся грудь Тамары манила его всеми чарами обольщения, точно в ней были заключены все волшебные зелья, приготовленные каким-то злым чародеем земли для пленения и порабощения людей. Леонид продолжал стоять, мысленно призывая все свои знания, волю свою и все стремления к свободе и независимости вечного человека. Вдруг Тамара, пленительно рассмеявшись, с тонкой насмешкой проговорила:

— Сын неба, спуститесь на землю и удостойте меня, дочь земли, побеседовать с вами.

Она взяла его за руку и быстро повела куда-то. Идя за ней, Леониду казалось, что она его уводит в бездну, что с каждым шагом он куда-то проваливается. Теперь им всецело овладело одно желание — победить зверя в себе и одержать победу в битве сил духовных с силами зверя земли. Он внезапно остановился.

— Сын неба, идите же за мной.

— О, не думайте! — воскликнул он и морщинки забежали по его лицу, давая понять, что в нем снова воцаряется бог иронии и юмора.

— Что не думать?

— Что сын неба может попасть вам в лапки... в ваши нежные бархатные лапки... В плен взять меня — ни за что. Сознаюсь, однако, — дочь земли обдаёт меня пламенным дыханием уст своих... Прелестная дама, да не будет свободный сын неба превращен в раба, вдыхающего в себя отраву вашего тела, подобно спутникам Одиссея, превращенным какой-то волшебницей в свиней. Нет, божественная Тамара, если я и не сын неба, то, во всяком случае, свободный гражданин этой маленькой грязной планетки и никогда не паду побежденным рабом перед телом женщины, хотя бы в вашей красивенькой хранилке, очаровательная дама, скрывались бы все соблазны мира, все одуряющие чары, и если бы даже в вас горели все огни, пылавшие некогда в телах чертовок Клеопатры, Таисы, Тамандры и той адской полудевы-поэта, которая, пожираемая палящим в ней огнем любви к женщине, бросилась со скалы в море.

С бесчисленными морщинками смеха на лице, он насмешливо отвесил ей низкий поклон. Тамара стояла неподвижно и черные глаза ее побледневшего лица горели негодованием, злобой и поднявшейся в ней бурей желаний. Леонид повернулся уже, чтобы уйти, как кто-то резко проговорил:

— Чудовище!

Около Тамары стояла Зоя, окруженная целой свитой юношей, — среди которых было видно огорченное лицо ее мужа. Зоя пристально смотрела на брата негодующими, злыми глазами.

— Ты совершенное чудовище и дурак, — отдельно продолжала она, — если решаешься говорить таким тоном с моим божеством, с моей прекрасной Тamarочкой.

С последним словом она нежно обняла Тамару, голова которой склонилась на ее плечо и жгучие глаза снова усталились на Леонида. Последний стоял неподвижно, с печалью в глазах и с таким грустным лицом, точно на него упала туча.

— Несчастливая Зоя, — начал он тихим и скорбным голосом, — знай, что я делаю все усилия, чтобы быть человеком в самом лучшем значении этого слова, и если во мне и скрывается чудовище, то оно должно будет уйти в бездну свою от молний света в царстве вечного духа моего.

Глаза его загорелись и голос стал звучать увлекающей всех силой.

— В тебе, дочь отца моего, тоже скрыто чудовище, но ты не отгоняешь его силой воли твоей, а наоборот — голубишь его и ласкаешь, оно растет в тебе, дышит огнем, рассылая по телу твоему тысячи желаний и зарождавая в уме тысячи мыслей-убийц. В глазах твоих я вижу тень зверя этого, ты его раба. Ты будешь убивать словами и изменой без ненависти, пожираемая огнем твоих страстей...

— Сумасшедший, пошел от меня! — вскричала Зоя и ее полные, чувственные губы судорожно передернулись в выражении ненависти и злобы, в то время как из глаз светился страх. Злость и какая-то непонятная пугливость перед силами Леонида — два чувства, которые рельефно отразились теперь в ее лице. Опасаясь, чтобы он не устроил какой-нибудь «своей штуки», она быстро повернулась и, сопровождаемая толпой своих ухаживателей, стала быстро удаляться. Тамара шла, обернув к нему лицо и ее два черных глаза, казалось, высказывали ему какие-то скрытые в душе ее тайны.

---

Потянулись дни и недели. Глафира и Зоя царили в доме полновластными хозяйками, причем Зоя, всегда окруженная целой толпой гостей, заняла почти целую половину дома, Глафира — другую. Глава семьи ютился где-то в третьем этаже, но, так как он считал себя «гостем этого мира», то и не высказывал никакого недовольства. Леонид, однако же, давно догадался, что его отец считается всеми душевнобольным и находится под опекой.

## ГЛАВА СЕДЬМАЯ

### I

Для того, кто поднимается мыслью на небо,  
всегда будут ясные дни: над облаками всегда  
сияет солнце.

*Чаннинг*

Леонид ходил по своей черной комнате, свесив голову на грудь. На лбу его образовались складки, показывающие, что мысли его ушли в глубину его существа. Лампа под красным абажуром, стоящая на письменном столе, ярко освещая крест и череп, бросала на черные стены багровые полосы.

Сознающее «я» Леонида уходило все глубже в свои бездны, силясь увидеть все глубины свои, все свои потаенные места, — увидеть с такой ясностью, как человек с фонарем в руке видит недра пропасти, или водолаз — морское дно. При этом мысли его приняли такой оборот:

«“Познай самого себя”, — в этом вся мудрость, разгадка бытия, лестница, ведущая к Богу, и в этом же крест с распятым на нем змеем-искусителем. Это значит найти в себе Бога, слышать в себе его голос, знать, что начало мое от Бога и потому мое бытие началось не в этой жизни и не окончится с потерей ее. Все многоликое мироздание с его стихийным добром и злом заключено во мне, как в микрокосме. Я есмь необъятное в храмине тела, и в своем царстве я вижу бледные лики глядящих палящими очами из своей тьмы и кроткие нежнолюбивые лики, как в первобытном хаосе вселенной: поэтому я понимаю многообразное зло — оно смотрит из глубины моей, и многоликое добро: здесь во мне небо и ад. Теперь вот, глядя в себя, я ясно вижу все это».

Он остановился с опущенной вниз головой и глаза его смотрели вовнутрь себя. Он видел, или ему казалось, что он видит, лики демонов и ангелов, ведущих между собой борьбу и заключенных в его храме-духе и слышал голоса, исходящие из таинственных глубин его — голоса как бы его многообразных «я». Его сознательное «я», — функция его мозга — наблюдало, осматривало все находящееся в нем, критиковало, сомневалось, утверждало, но в нем не было ничего вещего, и всегда так бывало, что чем яснее оно мыслило, тем храм, заключавшийся в нем, все более распадался, превращаясь в иллюзию. Его сознательное «я», его ум были подобны часовому, стоящему на вершине башни: оно наблюдало, прислушивалось и подымало тревогу, как только в его царстве появлялись силы, которых оно не признавало. Тогда эти тайные силы скрывались его «я» опять ничего не видело, кроме башни — головы своей и крепости с миллионами электрических звонков-нервов — машины-тела. Дело обстояло иначе, когда часовой этот засыпал или когда он утрачивал свою бдительность и отказывался от своей роли наблюдателя и критика: тогда из глубин непознаваемого царства подымались вечные силы — дух, разум, голоса — маленький храм-человек начинал светиться изнутри сиянием вечного духа и его как бы подымали невидимые крылья. Внешним образом, физиологически, это выражалось подъемом, вибрированием всей его нервной системы.

Все это Леонид знал. Привыкнув всматриваться в себя, он знал, что в нем часто происходит как бы раздвоение личности, одна из которых Леонид № 1, другая — Леонид № 2. № 1 будничный, добрый человек, такой же простой смертный, как различные Иваны, Петры и др. Когда же где-то в глубине маленького храма-тела его подымались его непостижимые силы, внешний вид его сразу изменялся: обыкновенно согнутый стан выпрямлялся, голова высоко подымалась, из глаз сыпались лучи, и все это означало, что он, перестав быть будничным человеком № 1, преображался в человека со скрытыми в нем многообразными силами, в Леонида № 2. Всмотревшись в себя и подумав все это, он, точно сорвавшись с места, стал снова быстро ходить под влия-

нием нового импульса: мысли о том перевороте, который произошел в его отце; и Леонид № 2 рассуждал: «Он растет с каждым днем, освобождаясь от цепей жизни, от бремен своих суетных дел, от томившей его жажды скапливать горы золотой дряни. Все это сделал я силой духа... Участие к людям, понимание блаженства святости наполнили его сиянием небес, а новые мысли, оторвав его ум от пыли золота, несутся ввысь, как ласточки в голубую лазурь. Великие духи, охранители мои, благодарю вас, и вы, Клара и Медея, я знаю — с потустороннего мира вы протягивали мне и отцу моему руки помощи... Вы приподняли пред ним завесу того мира, и он понял, что его бытие — вечность, а эта жизнь в скорлупе тела — испытание, посылаемое нам великим Разумом, чтобы мы посреди пылающих страстей тела научились понимать, что сатана, создавший мир материальный, кроме неутолимой жажды и мук не дал нам ничего. Ведь мир этот гигантский обман и, живя здесь, мы научаемся понимать, что рай в нас самих. К вечному идеалу красоты и счастья стремимся мы все, но небо вечной радости здесь, в моей груди, как и там, за квадриллионы верст от мира, как на светилах Млечного пути, так и на Кресте Христа. Небо опрокинулось в душу мою и мысль моя может создать рай и посреди пламени костра... это вот понимает и чувствует отец мой. Золото его пропало и богатство его сгнило, но он не думает больше о нем. Он был связанным сатаной мира и со стоном в мучениях ползал по грудам соковок своих. Я расковал его цепи и освободил от бесов, живущих в нем. Теперь в душе его буря, но, как среди черных туч видно бывает небо, так и в душе его посреди раскаяния, укоров совести и сожаления, слышится радостный трепет ангельских крыльев. Я раскрыл перед ним завесу того мира...»

Леонид внезапно остановился. Посреди всех его переживаний его ум постоянно силился разрешить загадку: какие силы в нем порождали все эти явления, противоречащие всем известным в науке законам и имеющие такое сходство с чудесничеством или волшебством. Одно не оставило в нем сомнения: силы эти исходили из него. В даль-



нейшем вопрос усложнялся, так как, по его мнению, одни духовные силы не могли действовать на мертвую материю.

Раздумывая теперь о всем этом, он вдруг вскричал под влиянием мысли, прошедшей в его уме:

— Мертвой материи не существует.

Постояв на месте, он снова быстро начал ходить и в уме его стали пробегать давно надуманные им мысли.

«Да, да, все вещественное живет своей особенной жизнью, дышит и сознает. Все видимое в природе состоит из одушевленных атомов. Демокрит, потом Декарт и другие доказывали, что это материальные атомы, но прав один Лейбниц: его атомы — монады, обладающие сознанием, психической жизнью и движущиеся, а я к тому же убежден, что они так же многообразны, как существа от насекомого до человека, что в одних телах, например в камне, их жизнь — полусон, в растениях они чувствуют, сознают и, благодаря присущей им Шопенгауэровской воле жизни, направляют рост дерева по пути его обыкновенного развития. Есть третий род монад, движение которых — вихри, пролетающие с быстротой мысли. Отсюда наша иллюзия цветов. Сотрясения воздуха, например, бомба, вылетевшая из пушки, вызывает ужас и переполох у триллионов монад и это передается нам как звук. Мир без монад был бы тем, что Кант называет “вещью в себе”, а оккультисты астральной вещью, распадающейся и неуловимой, каким мне явился кинжал... Монады, эти метафизические точки, благодаря биллионам колебаний в секунду убирают мир в цвета, исторгают из туч и из глубин океана звуки, заставляют светить солнце и луну, поддерживают вечное движение сфер: без их сознания и воли жизни, миры распались бы и наступил бы хаос. Мертвой материи нет и она никак не могла бы управляться сама, как об этом уверяли философы-позитивисты, начиная от Конта. Она не мертвая, а живая, и физические законы — воля бесконечно малых существ, находящихся под властью стихийных духов, а эти, в свою очередь, под властью одного разлитого во всей вселенной верховного Разума».

Леонид уже не ходил, а бегал по комнате, так как теперь душа его была объята пламенем восторга и увлечения под влиянием надуманных им в течение долгих ночей мыслей. Кружась по комнате и сверкая глазами, он вдруг снова остановился.

«Но не это самое важное. Есть еще вид метафизических атомов, которые заключены в магнит, электричество, радий и другие еще не открытые силы. С магнитом вот что происходит: монады его при приближении к железу рассыпаются в нем и совершается притягивание не мертвой материи, что абсолютно невозможно, а притягивание живых существ живыми. Если же оторвать магнит от железа, то последний оказывается превращенным в магнит, что совершенно понятно: магнитные существа вошли в него и обнаруживают в нем свои силы. Электричество — бесчисленное скопление особого вида монад-молний. Так как это духовные вечные сущности, то для них пространства не существует. Теперь я дошел до разрешения вопроса: какие силы действуют во мне, когда, повинаясь моей воле, мертвые являются предо мной, предметы поднимаются и инструменты играют. Во мне выработались силы, однородные с электричеством — бесконечное количество монад-молний. Под влиянием моей воли монады производят во мне вихри, исходят из тела моего и, так как они обладают сознанием, действуют на желаемые мной предметы или, образуя вихри вокруг астрального существа, притягивают его, как магнит и, материализуя его, делают видимым для моих глаз. Каждый атом — вечность, каждое живое существо — бессмертие в бесконечной цепи превращений, каждое нарушение добра, справедливости, самоотречения — страдание, а освобождение духа от нашей материи, от всех обольщений земли — свобода, независимость, свет, радость, счастье. Там, где-то в безграничном пространстве вселенной, плавно пролетают великие духи-цари, без корон и скипетров, но с челом, сверкающим молниями и с такой силой, что по их воле миры распадаются в пыль, они зовут меня, к ним стремлюсь я, и с каждой жизнью буду подыматься выше по ступеням миров, пока чело мое не обовьет венец всевидящей мудрости,

полного совершенства и пока могучие силы не вложат в мою руку ветвь совершенной любви, отражающей в себе все существа. Только такая цель жизни достойна человека — сына великого Разума».

Он стоял среди комнаты, вытянутый и ровный, как трость, и в высоко поднятом лице его отражался отблеск горевшего в нем пламени, губы его были твердо сжаты в выражении непоколебимой воли.

В это время маленькая дверь неслышно раскрылась и в комнате появилась фигура, закутанная в красную шаль, и беззвучно стала у двери. Лицо невысокой, стройной фигурки было тоже чем-то задержано, так что видны были только спускавшиеся на лоб черные волосы и жгучие черные глаза.

Леонид продолжал стоять неподвижно и глаза его, не отрываясь, смотрели на портрет Медеи. Вдруг он с силой вскричал:

— Медея, твое тело лежит в земле, но сила твоя перешла в меня, в каждый нерв мой и, хотя ты теперь — странница в эфирной бездне, но водишь меня по кругам мудрости, любви и совершенства к высоте могучих существ.

«Безусловно, сумасшедший, — проходило в это время в голове фигурки в красном, — как бы ни было, однако, мне надо заставить его преклониться передо мной или перед моим телом, это для меня безразлично. Сын неба должен признать власть греха: тогда он уже не будет сыном неба, а червем, раздуваемым огнем похоти и ползающим у моих ног».

Здесь мысли Тамары прервались, так как Леонид, нагнувшись к портрету Медеи, стал смотреть на него с необыкновенным выражением в глазах и это ее испугало. Чувства Тамары к Леониду отличались большой сложностью. Она ненавидела его, как человека, посягающего разрушить тот храм дьяволу, который она возвела в душе своей, и в тоже время оригинальность его и то, что он не похож на других, восхищали ее, усиливая в ней желание заставить его ее любить.

Леонид, продолжая смотреть на портрет Медеи, опять воскликнул:

— Дух мой растет и минутами, мне кажется, выходит из меня. Медея, как я хотел бы, чтобы мы, как два вихря, понесли в бесконечном эфирном океане.

«Еще чего недоставало, — снова прошло в голове Тамары. — Нет, как угодно, а я выкину какую-нибудь штуку сейчас же. Если он в самом деле полетит с этой идиоткой, то мне придется умереть от ужаса, и потому необходимо возбудить в нем иного рода чувства и я в этом, конечно, и успею, если только он не совершенное дерево».

С этой мыслью она шагнула вперед и, закрывши совершенно лицо красной маской, стала против Леонида.

Некоторое время он смотрел на нее с выражением крайнего изумления, но потом это выражение внезапно сбежало с его лица и он спросил совершенно просто:

— Вы кто такой?

— Самый сильный дух, могущественней вашей Медеи, — не своим голосом отвечала Тамара, увлеченная мыслью, что здесь возможна очень интересная игра. К ее крайнему удивлению, однако же, он улыбнулся какой-то детски простодушной улыбкой, как умел улыбаться только Леонид № 1 и, видимо, сразу поняв, что кто-то вздумал подшутить над ним, проговорил:

— Напрасно вы думаете, что меня так легко ввести в заблуждение. Вы не дух, хотя каждая женщина — змий-искуситель и каждая правнучка Евы — дух в бесовской оболочке. Прекрасная дама, меня нельзя ни обмануть, ни соблазнить: вокруг меня невидимые силы, давно уже обратившие в безвредного червя того змея страсти, который таится в каждом внуке Адама.

Глаза Тамары, из двух отверстий ее красной маски, засверкали жгучим пламенем, и шагнув ближе к нему, она страстно проговорила:

— Один владыка на земле — царь зла, со злой шаловливостью разрушающий всякое добро, очаровательно смеющийся над вашим мучеником — распятым Назареем — и всеми подобными ему и посылающий к самому небу стрелы,

отравленный ядом насмешки, и во всякое сердце — стрелы опьяняющего сладострастия.

Она приостановилась. Пламенная уверенность звучала в переливах ее голоса, переходя моментами то в нежность и страсть, то в полные гнева угрозы.

— Все сердца пылают огнем и, только испытывая огонь этот, жар опьяняющих поцелуев бога любви, страстное трепетание, только кружась в оргии ненасытной и всегда пламенной вавилонской Астарты — только тогда упоенный сын земли, в восторге воспекает хвалу всем демонам ночи. Глупец, ты охладил сердце твое, превратив его в мягкий холодный воск, на котором отпечатались все добродетели. К чему это? Твои взывания к каким-то астральным созданиям и мертвецам, блуждающим, по твоему мнению, где-то в пространстве, делают тебя самого странным, больным существом. Эти воздушные господа выпили горячую кровь тела твоего, перелив в него свой могильный холод, посыпали пеплом голову твою, в руки вложили посох и сердце наполнили мученичеством и слезами. Смотри на себя, ты молод, но ты стар: в твоем теле лениво течет кровь пустытника-аскета и, едва зародятся в голове твоей мысли о наслаждении, как их рассеивает могильное дыхание твоих мертвецов. Ты весь устремился к небу, забывая, что небо с его населением для нас совершенно неизвестная страна. Безумный человек, пойми, что твои астральные гости тебя бессовестно обманывают: добродетель — тяжелые оковы, крест на Голгофе, пытки и терновые венцы, и те, которые принимают безропотно все эти подарки вашего небесного тирана, бестолковый народ, доводящий себя различными самовнушениями до состояния не ясновидящих, как думаешь ты, а сумасшедших и идиотов... Молчи, я еще не окончила...

Произнося последние слова, Тамара гневно топнула ногой, заметив, что по лицу Леонида забежали морщинки, показывающие, что в душе его царствует теперь смех.

— Слушай, глупый ты человек, вот я тебе расскажу сказочку. Когда-то на небе находился лучезарный благородный архангел, ясно понимавший, что совершенная чистота и добродетель — Бог — совершил ужасающую несообраз-

ность: сотворив материальные миры и подчинив человека законам материи, плоти и крови своей, Он в то же время оплел его сетями различных добродетелей, родина которых там, в небесах. Архангел понял, что ошибка эта породит раздвоение в человеке, так как одни силы тянут его к небу, другие цепями страстей приковывают его к земле, что в будущем это образует бури в сердцах и бесконечные страдания. Он был справедлив и благороден и потому, пылая негодованием, собрал великие сонмы подчиненных ему ангелов и произнес полную гнева речь. Я не знаю, какие именно слова говорил он, но думаю, что они были ужасны: все небо горело молниями, от которых дымились крылья ангелов, а миры дрожали, как в агонии, пронзаемые огненными копьями молний. Старый деспот, почувствовав бессилие свое унять эту первую великую революцию в небесах, далеко ушел от своих бунтующих ангелов в глубокие недра небесных покоев. С тех пор Его никто не видит и небо стало безмолвной пустыней, потому что молниеносный архангел со всем сонмом своим сорвался с вершины. Здесь, на земле, он стал называться Сатаной, а ангелы — демонами. Тысячелетия идет вечная борьба между Сатаной и Богом. Кто из них прав — это всем говорит простой, здравый рассудок и, так как они никогда не сведут своих старых счетов, то устремляться к небесам, отворачиваясь от горячих поцелуев земли, могут только слабоумные или безумцы. Знайте, Леонид, я давно уже храбро стала под черное, гордо развевающееся знамя моего милого молниеносного Сатаны и никогда не раскаюсь в этом. В моих жилах течет кровь, как бурная река, к груди моей приливают силы жизни и зовут к наслаждениям, в голове моей — целые вихри мыслей, сжигающие всех богов, которым поклоняются слабоумные люди, и раскрывающие мне дверь земного рая. Все цепи добродетелей Сатана снял с меня и потому я свободна в пороках своих, как свободна от всяких укоров совести тигрица, отдыхающая под пальмой на растерзанном ею теле святого отшельника. Он молился и истязал себя и вот награда отдыхающего где-то в небесах Творца: его кости разнесет знойный ветер пустыни, а мясо его будет прогуливаться по пищеварительным

органам зверя, слепо повинующегося противнику великого идеалиста вселенной, адреса которого, впрочем, я совершенно не знаю.

Тамара говорила все это бурным, волнуемым голосом, в котором моментами слышался то гнев, то страстность, то восторг, то нежность. Только при последней фразе в голосе ее прозвучала ирония. Леонид в течение всей ее речи стоял, все ниже сгибаясь и опуская голову, и лицо его делалось то иронически-важным и строгим, то удивительно грустным, точно обвешанным черной тучей, то смеющимся, и тогда тысячи морщинок, точно в какой-то пляске, пробегали по лицу от лба к его губам. При последней фразе Тамары лицо его смеялось, хотя в то же время в нем было что-то больное, грустное, плачущее. Она долго смотрела на него и в душе ее все сильнее подымался гнев. Она видела, что не достигла цели. Его лицо бесило ее, и чем меньше ее слова действовали на него, тем с большей неудержимостью ей хотелось на него наброситься, дать ему почувствовать свою силу женщины. Так как она не обладала глубиной мысли и знания, то ее речь ей самой представлялась молнией, которая должна зажечь в нем пожар желаний и страсти. И вот, глядя на него, она видела, что никакого пожара не получилось: он смеется. Гневно топнув ногой и сверкнув глазами, она волнуясь заговорила снова:

— Ты молчишь и только смотришь на меня, глупо усмехаясь. Согласись, глупец, я рассеяла всех твоих астральных страшилищ. Если даже признать их существование, то ведь кто они? Рабы небесного идеалиста-мучителя и их существование призрачно, как сны, потому что они только тени в царстве теней, так как без тела не может быть ни удовольствия, ни радости, ни жизни. Забудем же об этой тысячелетней борьбе царя небес с владыкой мира: все равно их раздорам не будет конца. Царь материи никогда не перестанет жечь сыновей земли всеми огнями грехов, страстей и пороков, открывать двери земного рая послушным ему, давать им все радости жизни и, наоборот, тех, которые стремятся к небесам, обращать в нищих, налагать оковы на них, заключать в тюрьмы, возводить для них виселицы и разбрасы-

вать по всему их пути камни и колючие тернии. Переменить все это ты не можешь и бороться с неумолимым законом жизни и материи дерзает только упрямый идиот. Святость в этой жизни — смешное явление, а в тебе она прямое уродство, потому что ты молод и богат. Царь мира этого рассыпал у ног твоих золото, показывая этим к тебе свою благосклонность: подними свои миллионы и двери всех наслаждений для тебя раскроются. Не сделаешь этого, так знай: такой бунт перед силами жизни наказывается моим богом страшной карой — безумием. Свет ума твоего померкнет, ты как зверь будешь рычать, смотреть на астральных страшилищ твоего бреда и биться головой о стены где-нибудь в доме умалишенных. В таком исходе ты не можешь ни капли сомневаться. Уже теперь все начинают думать, что твои пророчества и виденья — просто помешательство. С каждым месяцем ты идешь все дальше в этом направлении, всех раздражая, мешая всем жить и порождая к себе ненависть. Ты уже привел своего отца к безумию, но он уже очень стар, тиранствовал и потому это тебе прощается. Смотри, не раздражай больше своих сестер и всех окружающих и знай, что если они и будут падать тебя, то вот что неминуемо случится: явится полиция и объявит, что такого безумца держать на свободе нельзя. Леонид, я пришла спасти тебя. Хотя я дочь ночи и греха, хотя демон заключен в груди моей, но во мне все-таки есть уголок для участия к тебе и сожаления. Я не рисуюсь добродетелями и даже больше: просто отрицаю их, как чепуху, в этом мире, но тебя мне все-таки жаль. Слушай<ся> мудрости моей: будь порочен, не бойся грехов, оплетишься с ними душой и телом, как со своими возлюбленными женами, наслаждайся, блаженствуй, пей, веселись и ты будешь в полной безопасности. Лучезарный царь мира сего зажжет ярким светом ум твой, разольет в теле твоём страсти и желания, — люди воспоют тебе хвалу и ты сам почувствуешь силу своего ума, блеск остроумия твоего, гибкость твоих рук, которыми ты будешь жадно схватывать золотые яблоки, в изобилии разросшиеся на дереве познания зла после того, как Ева, по совету благожелательного сатаны, села одно из них и, почувствовав блаженство, не по-



желала больше находиться в снотворном и глупом раю.

Голос Тамары зазвучал иронией и она умолкла. Из двух отверстий красной маски глаза ее пристально и с любопытством смотрели на Леонида. Он стоял, согнувшись, опустив голову, и точно могильные тени на лицо его легли грусть и сокрушение, в то время, как в глазах, укоризненно и печально устремленных на Тамару, светились слезы.

— Что же ты молчишь? — тихо спросила она.

Он молчал и только немного спустя из уст его глухо вырвалось:

— Все?

— Да, я все сказала, — ответила она.

Он продолжал молчать.

Теперь в нем всецело царила печаль и, всматриваясь в себя, ему казалось, что кто-то плачет в нем и что слезы, скапываясь одна за другой, со звоном падают на дно его духовной бездны. Что-то пело и звенело в нем и страдание грусти охватывало его все сильнее.

Пока Тамара с гневом укоряла его за его стремление к свету иного царства, призывая к наслаждению и грехам, пока рассказывала сказку о борьбе Бога с сатаной, Леонид в душе только смеялся, находя все это очень забавным. Потом, однако же, когда Тамара стала обрисовывать его положение в семье и говорить о ненависти всех к нему, в нем начала рождаться все большая скорбь. Он ясно видел, что она во многом права. Да, его стремления к истине и добру вызывают в людях ненависть к нему, а в его сестрах — в особенности. Отец его, по его мнению, погибал в омуте всяких пороков и заблуждений: словами истины и любви он вывел его из тьмы к свету. И вот никто не понимает, что он внес свет в ум его, совесть — в сердце, и как раз в то время, когда глаза его раскрылись, чтобы видеть и сердце — чтобы любить, объявили, что он сошел сума. Он не мог не понимать, что самое сильное чувство у людей этих — жадное влечение к деньгам и что перед этой силой вянут и хиреют и любовь, и правда, справедливость и честь, умный превращается в безумца, а подлец часто ими наделяется всеми совершенствами. Да, если бы он не знал всего, что знал, то подумал бы,

что Тамара права в утверждении, что в этом мире властвует дух зла. В основе его внутреннего мира была глубокая неиссякаемая доброта, подобно светлomu ключу, бьющему с глубины гор, и мучительная любовь к людям; но добро и истина одно, и потому в нем сейчас же начинались страдания, как только истина затемнялась в его уме, и отсюда все его жадные искания правды в этой жизни и жажда раскрыть вечные тайны за пределами ее. Все, что ему казалось несправедливым, болезненно поражало его, как стрела, вонзавшаяся в сердце.

— Надо же мне наконец знать, что ты мне ответишь на все это, — тихо произнесла Тамара. — Может быть, ты все еще не догадываешься, какой демон глубокой ночью явился к тебе, так вот тебе, смотри.

Тамара сорвала со своего лица маску, и кольца ее черных волос рассыпались по обе стороны ее светящегося, как алебастр, лица.

Леонид смотрел на нее, не отрываясь, и та доброта, которая смотрела из его глаз, зажгла в глубине души Тамары такой же свет: точно там скрывалась погасшая свеча, вспыхнувшая внезапно от приближения к ней света, и лицо Тамары, освещенное изнутри, сделалось прекрасным.

Он смотрел, пораженный, любуясь ею, и отразившаяся в ней доброта всколебала всегда горевшее в нем пламя любви к людям. Это был восторг, перемешанный с мучением, огонь, заливаемый слезами.

— Как ты странно смотришь. Просто боязно делается.

Ничего не ответив, он еще ниже склонился и вдруг опустился на пол. Он сидел у ее ног, положив руку на одно колено, и глаза его мучительно и любовно были устремлены в глаза Тамары. Она стояла, не двигаясь, глядя в его глаза, и вдруг в лице ее отразился испуг: ей показалось, что она смотрит в какую-то бездну, наполненную сиянием.

— Что же ты мне ничего не отвечаешь? — сказала она, опускаясь в кресло и, чтобы уничтожить в себе пугливое чувство, стала смотреть на разные вещи, стоящие в комнате. Ей показалось, что она находится в какой-то огромной черной гробнице, наполненной невидимыми мертвецами. Че-

реп, стоящий под крестом, ярко сиял в свете лампы и, как ей казалось, улыбался своей странной костяной улыбкой. Пугливость все сильнее охватывала ее и, оторвав глаза от черепа, она стала смотреть на потолок. Ей показалось, что там развевались какие-то похоронные знамена, под которыми скользили бледные лица, улыбающиеся такой же страшной улыбкой, как череп. Нервы ее дрогнули и, оторвав взоры своих глаз от потолка, она стала озираясь ими комнату и вдруг уставилась на портрет. Медея была нарисована во весь рост, в белом платье и с такой реальностью, что, казалось, выступала из рамы. По обе стороны ее мертвенно-бледного лица рассыпались черные волосы и из огромных черных глаз, казалось, смотрела бездна. Тамара нервно содрогнулась и в чувстве пугливого любопытства взглянула в другую бездну — в глаза Леонида. Она сейчас же с содроганием отвела свои взоры, но и одного момента было довольно: показалось ей, что как из глаз портрета, так и из его глаз смотрит страшная, пугающая ее тайна, что оттуда, из глубины, говорит ей что-то о существовании иного, невидимого мира, мира бледных теней и страшных знаний, понимания тайн земли и холодного презрения к чарам жизни. «Этот хотя живой», — прошло в уме Тамары и, делая усилия победить свою пугливость, она резко сказала:

— Что ты так странно смотришь?

Глядя на нее пристально, Леонид медленно стал говорить:

— Прекрасная и ужасная, ангел и змея, дух света и чудовище, белая лилия и алтарь, в котором хозяйничает черт...

— Что все это значит? — с выражением пугливости в лице вскричала Тамара.

— В вас все это соединилось.

— Ну!

— В вас одно и три, и три есть одно, и одно — три.

Тамара испуганно привстала.

— Что с тобой?

— В вас разум, о котором сказано: в начале было слово, в вас — вечный дух и в вас жизнь бессмертная. В вас три и эти три есть одно — вечное сознание, воплощенное здесь, на

земле, имя которой Тамара. Вы — вселенная в грациозном миниатюрном образе женщины и как Бог «без лиц в трех лицах божества», так и вы. Радуйтесь, вы божественны. Прогоните бесов и демонов из вашей чудесной храминки, вы взойдете в высшее царство и вместе со мной будут радоваться ангелы.

— Благодарю покорно, — со злой иронией ответила Тамара; яркие губы ее сложились в насмешливую улыбку и лицо сразу утратило свой прежнюю ангельскую красоту, так как в душе ее поднялось бешенство, которое напрасно боролось с царившим в ней страхом.

— Кажется, ты хочешь увлечь меня в свою компанию духов и мертвецов, но я с тобой к ним не полечу, можешь быть в этом вполне уверен.

Губы ее дрогнули и судорожно забились в беззвучном смехе.

— Отвечай на все, что я тебе говорила, и конец.

Леонид долго смотрел теми же печальными глазами и вдруг по лицу его пробежал нервный смех.

— Чего ты смеешься?

С гримасами в лице, он брезгливо ответил:

— Я не ем людей.

Тамара удивилась.

— Поздравляю. Только что же ты этим хочешь сказать?

— Тигрица ваша может съесть отшельника, и дочери демона на земле могут зажигать свой ад в груди сыновей Адама, но, хотя вы прекрасны, как ангел, хотя в девственной груди вашей бьют все ключи жизни, хотя моментами из черных окон души вашей смотрят два жгучих солнца, угрожая прожечь своим огнем всякого сына греха, хотя ваши руки, изгибаясь, как две цепкие лианы, огибаются вокруг дерева познания зла, стремясь оборвать все его яблоки, хотя в ушки ваши два демона ночи, — на каждое ухо по этой твари, — нашептывают вам песни вавилонской Астарты: «Греши и наслаждайся»... хотя...

С каждой фразой лицо его выражало все большую силу горького юмора, так что делалось очевидным, что Леонид № 2 воцарился на место пассивного и печального существа.

ва, Леонида № 1. Вместе с этим, он все заметнее подымался с пола, и глаза его начинали гореть знакомым Тамаре огнем. Любопытство ее все более усиливалось и в уме пробежало: интересный он, черт побери.

— Что ж из всего этого выходит?

— Хотя все это и так, но я, как верный рыцарь, стоящий на страже у врат бессмертия, объявляю следующее: все дочери ночи, находящиеся под командой царя ада на земле, плутовки и мошенницы.

— Ха-ха-ха! — слабо рассмеялась Тамара.

— Ха-ха-ха!

Смех его, в котором слышались звуки страдания, странно прозвучал среди тишины черной комнаты и оборвался. Леонид снова смотрел на нее серьезными, ярко светящимися глазами.

— Как ты странно смеешься, — сказала она дрогнувшим голосом.

— Да, очаровательная правнучка Евы, знайте вот это: едва вы открываете дверь наслаждений, как в нее невидимо врываются вихри отвратительных ехидин-ларв — обитателей астрала. Они вцепляются в мозг, кружатся в душе и располагаются по всему телу, как хозяева в доме, и горе сыну Адама: он подпадает под их власть, в мозгу его образы сладострастия, в теле огонь неутолимых желаний и он продолжает пить из чаши жизни страшное зелье дьявола, никогда не утоляя жажды. Путь земного блаженства — дорога обманов, усеянная тернием, и на каждом терновом кусте отвратительные гадины. Человек, раздираемый ими, делается рабом тела, и в теле его располагаются гости — скользкие, мокрые, отвратительные астральные существа. Знай, Тамара, покой и счастье — в царстве духа. Там свет, свобода, мир, радость.

Он вскочил с места с такой внезапностью, точно его подняли вверх внутри его крутящиеся силы и, вытянувшись, вскричал с необыкновенной силой:

— Тамара, иди за мной в новое, светлое царство!

— Нет, ты иди за мной, — отвечала Тамара, подымаясь, в свою очередь, с места.

Она видела, что избрала неудачное орудие борьбы с ним и что силой слова она никогда ничего с ним не сделает. Ее в особенности возмущала его уверенность, что над ним никакого не имеет влияния власть тела: это затрагивало ее самолюбие дочери тьмы. Желая победить его и победить исключительно женским обаянием, чарами жрицы Астарты, властью тела, она готова была на все, чтобы возбудить в нем животные чувства, которые, измучив его, довели бы до полного падения. В этом заключалось ее женское торжество, и тогда она могла бы гордо сказать: «Вы видите сами, что пред моею властью разлетелись все ваши воздушные друзья, и потому должны признать, что сатана мира сильнее ваших небесных обитателей».

Быстро подойдя к нему, она с силой взяла его за руку и, приблизив свои губы к его, слегка и как бы нечаянно провела ими по его губам и повелительно шепнула:

— Иди за мной.

Он шел, не сознавая, что делает и испытывая такое чувство, точно прикосновением своих уст она обожгла его, разлив в его жилах горючий яд. Голова сделалась легкой, хотя перед глазами все кружилось от какого-то мучительно-сладостного опьянения, точно он выпил чашу волшебного напитка, после чего прежние силы отлетели от него и с глубины поднялся змей жизни, дышащий огнем.

Подойдя к широкому дивану, Тамара опустилась на него и, заставив Леонида сесть около себя, неожиданно легла, вытянувшись и закрыла глаза.

Он смотрел на нее, не двигаясь, смотрел на ее чудное лицо, по ярким губам которого скользила тонкая, коварная улыбка, смотрел на ее шевелившиеся, как тонкие стрелы, ресницы, смотрел, как ее грудь, обрисовываясь двумя полукругами, вздымалась под красным шелком. «Змий-искуситель, — прошло в уме его посреди ощущаемого им мучительно-сладостного опьянения. — Да, змей, в этом теле все обаяние земли, все адские чары, все обольщения греха и все терзания. Как я теперь слаб и безволен! Все силы духа моего оставили меня, и вместо них в теле разлилось пламя жажды проклятого греха. Победить себя, но как? Я уже не

тот, каким был только что перед этим: что-то отошло от меня и что-то вошло в меня. Призвать силы духа моего? Но проклятая жажда меня терзает, и у меня на это нет сил, мне хочется смотреть на нее, испытывать это упоение и мне теперь кажется, что высшего нет блаженства ни на небе, ни на земле. Сатана умеет обольщать искуснее, нежели все полчища ангелов. Это блаженство — иллюзия? Да, конечно. Стоит упиться этим телом и демон сладострастия, отойдя, будет посмеиваться, глядя на раба своего. Я сделаюсь слаб, печален, безволен, буду чувствовать унижение свое, сознавать, что змей жизни победил, опрокинул мой вечный, духовный храм. Это лишит меня жизни и мое могущество разлетится. А силой воли я мог бы уничтожить в себе жажду эту. О, о!.. Какое упоение смотреть на нее! Тамара, ты чарующе прекрасна, но как я ненавижу тебя и как люблю сжигающей меня ужасной адской любовью! Ведь люблю я этот одуряющий, ядовитый цветок — тело твое, и именно потому, что оно влечет с такой опьяняющей властью, именно потому, что оно раскрывает ад пороков: я смотрю в него и меня головокружительно влечет в него броситься. Ты яблоко на дереве мира, и как когда-то змея, во мне шепчет кто-то: “Сорви и почувствуешь блаженство”. Если бы небо умело так искусно обольщать, оно все было бы наполнено святыми и праведниками. О, эта грудь! Как она подымается с каждым ее вздохом. Мне кажется, что если бы спала с нее эта красная ткань, я бы с ума сошел от опьянения желанием и закричал бы: “Сатана, я твой раб”».

Последняя мысль прошла в уме его так ярко, точно среди тьмы фосфорическая змейка, и в этот же момент Тамара, улыбнувшись тонкой, коварной улыбкой, движением руки сбросила со своей груди красную ткань.

«Вы, незримые тайны, помогаете мне, но я вас не просил, я только ищу выхода из этой западни дьявола, но как отвести свои взоры от этого обольстительного ада?»

Леонид сидел, склонившись к ней, пожирая глазами ее вздымающуюся с каждым вздохом розовато-белую грудь, то смотрел на ее лицо с закрытыми глазами и яркими губами, по которым скользила улыбка. Казалось, что в ней был

скрыт могучий магнит земли, притягивающий его стихийной силой.

«Тамара, мне хотелось бы убить тебя... Убить, чтобы одним ударом убить в себе жажду зверя жизни. Кинжал Медеи рисуется в уме моем и над ним черная туча клубящихся страстей. Огонь, палящий ад в теле моем».

Повинуясь страшной силе желаний, Леонид нагнулся и губы его коснулись рта Тамары. Торжествующая улыбка зазмеилась по губам ее, длинные стрелки ресниц дрогнули и разомкнулись: два глаза Тамары, черные и большие, смотрели в глаза Леонида. Вдруг она тихо, с улыбкой произнесла:

— Кинжал! Дай его.

— Кинжал! — воскликнул он, вздрагивая, сразу уразумев, что его мысль опять отразилась в ее уме.

— Да, кинжал, — бессознательно шептала она, не понимая, почему это ей пришлось в голову.

— Милая Тамара, кинжала здесь нет и знай: сын Разума никогда не должен брать его в руки.

— Сын Разума, — воскликнула она со звонким смехом и между ее яркими губами сверкнули мелкие белые зубы, голые руки протянулись и вдруг, охватив ими шею Леонида, она привлекла его к себе и впилась своими горячими губами в его уста.

Он рвался и бился в ее руках и наконец, вырвавшись, отшатнулся.

— Что? — воскликнула она со смехом.

— Не надо больше этого делать, — проговорил он глухим голосом, ощущая один палящий жар во всем существе своем.

— Обожгла? — воскликнула она, коварно смеясь.

— Тамара!

— Сын неба обжег крылья свои от одного прикосновения уст дочери ночи, — говорила она, смеясь каким-то притягивающим и звенящим, как журчание ручейка, смехом и стараясь снова привлечь его к себе.

Он сидел, глядя горящими глазами то на ее лицо, то на ее грудь и, чувствуя, что он больше не может оставаться в таком положении, с усилием глухо проговорил:



— Тамара, как вам не стыдно?

— Что?

Она звонко захохотала.

— Быть совершенно голой.

— Нет, нисколько.

Она тряхнула головой, опять рассмеялась и продолжала:

— Что значит быть голой? Человек, не признающий власти тела и греха, не может тревожиться видом голого тела женщины. Милый мой, если ты видишь, что я голая и если, как мне кажется, горишь, созерцая меня, то ты сын не неба, а блудницы-земли. Да, ты совершенно земной, миленький, но какой-то бред об астральных пугалах увлек твои мысли в воздух, к несуществующим тварям. Не будем же лицемерить: ты вполне земной и находишься теперь в лихорадке, палимый огнем земли, а я больше, чем земная, и в этой вот груди клокочет целый ад желаний. Огонь и пламя во мне и я обовьюсь кругом тебя, как кольцами змея. Хочешь?

Она смотрела на него жгучими глазами, дразня его сладострастно-коварным смехом, и он видел, как два полукруга ее груди в волнении высоко подымались. Он сидел, не шевелясь, палимый огнем желаний, и он подумал, что он мученик, сидящий на пылающем костре.

— Нет? Не хочешь? Так вот, я сейчас встану и убегу, миленький дурачок. Экзамен окончен и ты сам видишь, что диплом быть членом общества бесплотных существ тебе выдать нельзя. Больше мне нечего здесь делать. Прощай, дурачок мой.

С звенящим смехом на губах, она изогнулась своим голым телом, делая вид, что хочет вскочить и исчезнуть. Что-то дикое и страшное сверкнуло из глаз Леонида: зверь, таившийся где-то в глубине его многоликого существа.

— Тамара! — закричал он глухо, подымая руки, бросаясь на нее и припадая губами к ее губам. Это был порыв, образовавшийся вследствие поднявшегося в нем зверя. Несмотря на всю силу страсти, в нем сейчас же прошел как бы холодный вихрь, охладивший этот огонь, и в уме его ярко об-

рисовался кинжал в руке Медеи.

Ничего не понимая, что в нем происходит, вполне уверенная, что он окончательно низвергнулся с своих высот и внутренне гордясь своей ролью могущественной жрицы Астарты, Тамара хотела окончательно разрушить в нем все его иллюзии, обратить его в раба ее тела, и потому, звонко хохоча и, как змея, ускользая из рук его, заговорила:

— Демон, демон ты, а нисколько не сын света и разума. Настоящий, сверкающий глазами Вакх, бросающийся, как молния с вершин, на тело женщины. Вот таким ты мне нравишься и <я> безумно обожаю тебя. Мы теперь оба — сын и дочь одного отца — сатаны. Что? Молчишь? Разве это не так? Ненаглядный, я открою тебе рай блаженства, хотя мы спустимся для этого к сатане — в ад. Как, не хочешь? Нет, стой, не бросайся как молния на это ненасытное тело. Слушай, я не все сказала.

Она снова выскользнула из его рук.

— Не могу еще назвать тебя своим. Астральная дрянь веет на нас холодом. Прогони их всех к черту и поклянись быть верноподданным владыки земли — сатаны. Слушай хорошенько и пойми: наш храм — пламя всех грехов и страстей, поднятое над землей царем ада, алтарь — это вот моя голая грудь. Отслужи черную мессу на ней, и тогда можешь приобщиться моим телом...

Леонид сидел не двигаясь, глядя в ее, теперь расширившиеся и серьезные глаза. Лицо его побледнело. Две силы боролись в душе его: огонь животной страсти и с другой стороны — голоса, всегда живущие в его глубинах и протестующие против животного-организма, воля вечного существа и свет, поднявшийся с глубин его духа и осветивший всю внутреннюю пропасть его, как маяк бушующее море. Видя все, что было в нем, он видел и своего двойника — животное-организм и холодное презрение вечного Леонида пахнуло на зверя, сжигаемого огнем похоти и готового на груди женщины отслужить черную мессу дьяволу. «Проклятое тело — вонзить в тебя кинжал», — раздался голос с глубин его и сейчас же на вершине башни машины-организма в голове его озолотилась, как в отблеске пожара, фигура Ме-

деи с кинжалом в руке. Внизу продолжал klokотать вулкан, но он теперь заливался холодным светом и змей страсти бился в цепях вечной воли и разума. Получилось, таким образом, как бы полное раздвоение его: Леонид-дух и Леонид-животное, и в то время, как второе было сжигается огнем похоти, Леонид-дух уходил в свое царство и ему казалось, что он отделяется от своего организма-тела.

«Молчи, грязный зверь, — прошло в уме его, — что мне до тебя? Ты всегда мучил меня, всегда дышал огнем страсти, но я тебя победил. Теперь я царь света, а ты червь тьмы. Я изгоняю тебя силой духа моего. Скройся от меня и дай мне освободиться от твоего плена. Вот я отделился от тебя, а ты мучаешься и изгибаешься на теле женщины, готовясь ее ужалить... В этом счастье твое... ха-ха-ха!..»

В это время Тамаре показалось, что кто-то захохотал — Леонид, которого она привлекла на грудь свою, или кто-то другой — она не знала. Страшно испугавшись, она вскочила.

— Ай! Кто это здесь? Ужели это ты смеешься так? ты! Что с тобой? Я тебя боюсь!

И случилось так, что именно в этот момент Леонид почувствовал, что он вышел из себя самого и, почувствовав это, отошел. Он смотрел на свой двойник-животное с холодным презрением, рассматривал лицо его, дышащее похотью, и торжествующая радость вечного существа подымала его, как крылья.

«Червь!.. Гниющий порок в глазах твоих, вонючая похоть — в теле. Проклятый червь!..»

— Ай-ай-ай! — вскричала Тамара, спрыгивая с дивана и оставляя на нем свои красные одеяния. — Ты говоришь это, или кто?

Она забегала по комнате, стуча по полу босыми ногами и вдруг остановилась, в смертельном страхе глядя в одно место.

Посреди комнаты стояло гордое, независимое, бессмертное существо со светящимся лицом и лучами над головой. Оно казалось воздушным. Тамара взглянула на диван: там лежал Леонид.

— Ай-ай-ай-ай! — издавая звуки смертельного ужаса, голая женщина забегала по комнате и ее ноги в какой-то судороге громко стучали по полу. Вдруг раздался спокойный, звучный и ласковый голос:

— Женщина, чего ты так испугалась?

Тамара сразу остановилась, глядя на Леонида. Он стоял перед ней в своем обыкновенном виде Леонида № 2, спокойный, светлый и величественный, как никогда.

Она взглянула на диван: там никого не было. С облегченной душой она подумала, что все это ей показалось.

— Очень рада, теперь я вижу, что мой страх — иллюзия.

— Иллюзия — весь этот мир: его не существует. Истинно сущее за пределами материи, и то, что ты видела сейчас, Тамара — за гранью мира.

— Я опять боюсь тебя, — вскричала Тамара, — опять ты странно говоришь, необычаен вид твой, и опять я во власти страха.

— Страх — иллюзия чувства. Нет ничего ни на земле, ни на небе, что могло бы свободного сына вечности заставить бояться. Вы боитесь — значит, вы не свободны: дьявол связал вас чарами мира этого.

— Какой у тебя вид и как ты говоришь! — испуганно вскричала Тамара. — Опять ты кажешься мне другим. И что это за мрачная гробница — твоя комната?

Она снова забегала, стуча ногами, и вдруг остановилась, глядя на портрет: ей казалось, что Медея выходит из рамы и грозно смотрит на нее.

Леонид проговорил:

— Да, Медея всегда присутствует здесь, и чтобы ты видела ее, я говорю...

Он вскричал с необыкновенной силой:

— Медея, явись!

— Нет, нет, нет! — в ужасе кричала Тамара, не имея сил оторвать своих глаз от портрета. — Нет, не надо! Ах, это что?

Она стояла, охваченная ужасом: Медея, выступив из рамы, медленно приближалась к ней, как бы подплывая. В руке ее был кинжал.

Она вскрикнула и зашаталась...

— Змей раздавлен! — вскричал Леонид и с презрением ступил ногой на неподвижное тело. — Вот оно, голое тело самой прекрасной женщины — под моей ногой, и я смотрю на него холодными, равнодушными глазами вечного существа.

## ГЛАВА ВОСЬМАЯ

### I

Хорошая жена — многоценный мужу  
подарок, злая — злокачественная язва  
для него.

*Лессинг*

Тамара и Зоя вошли в обширную залу, в передней части своей имевшую два этажа окон, и в задней, с потолком, гораздо более низким, за белыми мраморными колоннами, представлявшую род гостиной.

Обе они были одеты в странные ярко-желтые платья с остроконечными вырезами, оставлявшие голые места на груди и руках; в волосах их, высоко поднятых надо лбом, сверкали разноцветными камнями золотые венцы, по их мнению — эмблема жриц Астарты; ноги их были затянуты в желтые остроконечные ботинки.

Тамара была бледна, и эта матовая бледность ясно говорила, что со времени ночи, проведенной в черной комнате, в душе ее происходили мучительные процессы. В самом деле, в воображении ее постоянно рисовались два Леонида, призрак Медеи и всего, что она видела тогда, и все это наглядно показывало ей, что она, всецело предавшись наслаждениям и проповедуя прелесть пороков и грехов, попала в пропасть мучительных противоречий. Однако же, чем сильнее развивалась ее пугливость, чем яснее рисовалось ей ее

падение, тем неудержимее ее влекло к порокам и грехам. Прежде она с оттенком шутливости говорила о своей преданности сатане, в душе не веря в это; теперь она начинала верить в его реальность. Настроения и мысли ее, заражая Зою, опьяняли ум последней прелестью различных утонченных пороков и, так как Тамара уже серьезно считала себя дочерью гибели и греха, то не без чувства тонкого удовольствия делала усилия, чтобы столкнуть ее поглубже в бездну. Она испытывала род наслаждения мстью: Леонид и его незримые существа должны видеть торжество зла на земле.

Остановившись у двери, Зоя заговорила, обнимая Тамару:

— Постараемся забыть о всем, что мы видели, Тамарочка. Леонид — душевнобольной, страдающий галлюцинациями — наполнил видениями твое воображение. Вот и все. Я прихожу в бешенство от мысли, что на нас смотрят невидимые свидетели. Мы — дочери греха и тьмы и наше единственное божество — пламенная, распутная Астарта. Демон мой!..

С последним восклицанием Зоя сделала движение броситься на шею Тамары, но в этот момент к ним подошли два очень юных господина. С одним из них начала тихо разговаривать Зоя, с другим — Тамара. Отвечая на слова юноши, Зоя, между прочим, сказала:

— В полночь мы придем за вами карету. Вы переоденетесь в женское черное платье, которое мы вам пришем, приедете и вас проведут ко мне.

Она со смехом вытолкала его и повернулась к Тамаре. Последняя, прощаясь с другим молодым человеком, оканчивала слова свои так:

— В похоронном этом наряде вы должны иметь вид смиренный и молитвенный. На груди вашей должен быть черный крест, в руке — Евангелие. Не забывайте, что дьявол нигде так ловко не может спрятаться, как под монашеской рясой.

Зоя и Тамара остались одни. Они долго смотрели друг на друга, Зоя — все с большим восхищением, Тамара — пле-

нительно улыбаясь, с неизъяснимым коварством и насмешливостью.

— Ты мой бог, мой кумир! — вскричала Зоя, бросаясь к ней и целуя ее в глаза, потом, отойдя от нее и задумчиво в нее всматриваясь, серьезно проговорила: — Тамарочка, глядя на тебя, мне кажется, что какой-то пламенный дух рисовывает в уме моем огненной кистью картины кричащего в восторге ада под колокольный звон и набожное пеньи ангельского хора.

— Знаешь ли, как я хотела бы жить? — с таинственным видом проговорила Тамара.

— Говори.

— Хотела бы я иметь высокий и мрачный дом, где-нибудь на высокой скале, что ли, чтобы залы дома были обиты в черное, как у твоего брата — комната, с черепами по стенам, из орбит которых смотрела бы желтая смерть. Я жила бы там, окруженная девами в черном, таинственной жизнью жрицы оргий Астарты. И вот, как только наступала бы полночь, мы все, сбросив с себя черные одеяния, начинали бы носиться в вакханической пляске. Так глумилась бы я над миром, посреди которого, на троне из черепов, молитвенно звенящих прошедшим гимном Богу, восседает могучий...

— Сатана, — окончила Зоя, заметив, что Тамара, не сказав своей фразы, стала пугливо смотреть в пространство.

— Да, сатана.

— Что смотришь ты так задумчиво, Тамарочка?

— Два Леонида, — один и за ним другой. Ничто меня так не изумляет, как это.

— Но ведь мы решили, что это только обман зрения.

— Да, конечно.

— Так не думай же об этом.

— Я не думаю, — сказала Тамара, и вслед за этим пристально и задумчиво стала смотреть на Зою. — А что, если...

— Что такое? — тревожно спросила Зоя и глаза ее пугливо расширились.

— Если один настоящий, другой — астральный.

— Это не может быть, — воскликнула Зоя и голос ее дрогнул. — Астральный человек — басня. Довольно нам одного Леонида и этот один несносный, нестерпимый дурак, который, созерцая в своей комнате лежащее на диване божество, ушел от него и еще вдобавок страшно напугал.

— Пусть будет, что быть должно, — вскричала Тамара с просиявшим лицом и загоревшимися глазами. — Демон наш пусть вводит нас в свое царство, а мы, Зоичка, будем гореть в огне блаженства, поднявши знамя бунта к небесам.

Зоя смотрела на нее, любуясь ею и не замечая, что ее муж, войдя в комнату, остановился, прислушиваясь и наблюдая.

— Какая ты красавица! — вскричала Зоя, обнимая Тамару и целуя, и продолжала уже не своим языком, а декадентским:

— Небо смеется в глазах твоих, отравы в твоих губах и твоя грудь, вздымаясь как нежно-пурпуровое, охватывает ароматно-нежным все мое существо...

— Ночь упоений ждет нас, — тихо и таинственно отвечала Тамара.

— Тамарочка, изобретай новые восторги для нас и новые сладкие грехи, а миллионы мои пусть будут конями, несущими колесницу богинь. Все мое бери.

— Богатства твоего мне не надо, — с видом полного равнодушия и как бы лениво отвечала Тамара, — но, когда я убираюсь бриллиантами, мне кажется, что во мне пробуждается царица Савская — мудрая, порочная и сладостно-греховная. Бриллианты твои подари.

— Все драгоценности—твои.

Обе они, обнявшись, пошли в глубину залы, где были расставлены шелковые диваны и кресла. Евгений Филиппович, неслышно ступая, шел за ними с печально опущенной головой. Лицо его было мрачным и злым. Поведение Зои и обращение ее с ним с каждым днем делало его все более несчастным. Никогда ни одного ласкового слова он не услышал от жены с самого дня их свадьбы, несмотря на все свои нежные чувства, которые он высказывал ей. Постепенно он стал понимать, что замужество для нее было не



более как ширмы, за которыми она совершала всякого рода любовные похождения. Все это повергало его в полное уныние, сменяемое минутами озлоблением и яростью. Тамару он ненавидел, видя в ней авантюристку, способную для своих каких-то целей устраивать самые вероломные планы. Стоя теперь за женой, которая, усевшись в кресло, о чем-то шепталась с Тамарой, он с храбростью отчаяния шагнул к ней.

Обернувшись и увидя мужа, Зоя с выражением негодующего изумления стала медленно подыматься.

— Милостивый государь, что делаете вы здесь и что вам надо?

— Я не милостивый государь, а законный муж ваш, — растерянно проговорил Евгений Филиппович.

— Законный! — воскликнула Зоя и захохотала. — Закон — цепи, в которых ходят глупцы, безвольные, безличные людишки, как вы. Я — орлица с огнем в груди, моя воля — крылья и я ношусь высоко над этим миром дураков, издеваясь над всеми вашими пугалами морали. Мои желания — закон для меня и мои страсти — огненные кони, уносящие колесницу богини по океану моего неба-воображения.

Она подняла руку и, указывая ею на дверь, нахмурила брови и глухим голосом произнесла:

— Господин законный супруг мой — прочь!

Евгений Филиппович стоял неподвижно, борясь с поднимающимся в нем бешенством.

## II

В комнату вошли и расселись невдалеке от Зои и Тамары Анна Богдановна, старик-управляющий, Глафира и ее муж. Петр Артамонович, поглядывая на всю компанию веселыми глазами и почему-то вздохнув, проговорил:

— Все в сборе значит, и вы, Анна Богдановна, матушка. Вот и хорошо. Я-то все готовлюсь спросить: как быть с Серафимом Модестовичем?

— Что же случилось опять? — испуганно воскликнула Анна Богдановна.

— Ничего не случилось такого, — осторожно и вкрадчиво говорил старик. — Только неладно: опять выкинул штуку.

Все переглянулись и на лицах отразилось любопытство.

— Если вы хотите совета, то обратитесь к вашему сыну, — тихо и с огорченным лицом сказала Анна Богдановна. — Он всем руководит и, если не считать моего бедного мужа — глава дома.

— Сынок-то мой! — воскликнул старик, поглядывая на Илью Петровича, и засмеялся. — Что ж, я ничего, не завидую. Был управителем и остаюсь им, а сынок с молодой супругой настоящие господа, значит. Я ничего.

Он смиренно сложил руки на груди, но по губам его пробежала хитрая улыбка и по лицу разлилось удовольствие. В это время его сын громко проговорил:

— Вероятно, опять произошел какой-нибудь новый анекдот Серафима Модестовича с рабочими.

— К счастью, духи могут теперь потешаться над ним сколько им угодно, — насмешливо заговорила Глафира, — он не имеет уже никакой власти.

Зоя, находясь в отдалении от общей группы, громко крикнула:

— Старые люди, как и дети, должны находиться под руководством молодых.

— Это ты про отца так? — огорченно спросила Анна Богдановна. — Мне очень больно это слышать.

Зоя опять крикнула с необыкновенно резкой насмешливостью:

— Большая важность: отец — священная особа, как папа римский или тибетский далай-лама.

Наступила тишина. Тогда Глафира с колкой иронией сказала:

— Отче Серафим! Разумеется, особа священная.

Анна Богдановна вспыхнула.

— Не забывайте, вы ему обязаны тем, что живете на земле.

Сестры переглянулись, и Зоя, как бы прочитав в глазах Глафиры одобрение мелькнувшей в ее голове веселой мысли, прокричала смеющимся голосом:

— Ах, мама, это такой легкий труд! И к тому же он обо мне нисколько не думал, когда занимался этой скульптурой.

Глафира и ее муж засмеялись, а Анна Богдановна, поднявшись с опечаленным и раскрасневшимся лицом с места и негодуя покачивая головой, сказала:

— Ах ты, бессовестная! Как ты решаешься это говорить?

Она снова опустилась в кресло и, укоризненно поглядывая на обеих дочерей, грустно продолжала:

— Еще недавно вы относились к нему с большим уважением и при всякой его вспышке трепетали перед ним, как перед грозой. И вот теперь, когда капиталы его в ваших руках, ваше обращение с ним сделалось возмутительным.

— К помешанным не чувствуют уважения, — коротко отрезала Глафира, и, чтобы придать разговору более веселый характер, обратилась к отцу ее мужа: — Расскажите же, пожалуйста, что у вас там произошло?

— История вышла вот такая, — хитро улыбаясь, говорил управляющий, — явившись сегодня на фабрику, он всем громогласно объявил, что они, рабочие, такие же люди, как он: воплощенные, бессмертные существа.

Раздался громкий смех, в котором слышались насильственные, досадливые звуки. Глядя укоризненными глазами на лица своих смеющихся дочерей, Анна Богдановна вдруг заметила неподвижно стоящего у колонны с бледным, страдальческим лицом Евгения Филипповича и крикнула:

— Что вы так грустно и одиноко стоите у колонны?

Евгений Филиппович медленно подошел к ней и тихо проговорил:

— Ваша дочь — страшное существо, но лучше я буду молчать.

Он повернулся, как автомат и, снова подойдя к колонне, остановился там. «Вот еще один несчастный человек», — подумала Анна Богдановна.

— Пожалуйста, продолжайте, — сказала Глафира, глядя на Петра Артамоновича.

— Дальше вот как ваш папаша говорил, громко, на всю фабрику: «Вы вечные духи. <...> Деньги проклятые — кровь и слезы <...> Сердце мое было камень, а теперь вот сам плачу с вами и отдам вам все и закрою фабрику».

Едва управляющий произнес последние слова, как все насмешливо переглянулись, а Зоя крикнула:

— Как хорошо, что надели на него намордник.

— Да, превосходно, что его признали безумным и назначили над ним опеку. Теперь мы хозяева и фабрики, и капитала, и все решительно наше.

Илья Петрович поднялся и, положив руку на грудь, с чувством сознания своей значительности сказал:

— За его действия ответствен теперь я. Печальный процесс совершился.

Наступила тишина, все молчали, посматривая на горделиво выпрямившуюся высокую и тонкую фигуру мужа Глафиры. Вдруг Анна Богдановна громко зарыдала. Слезы текли по лицу ее и, всхлипывая, она говорила:

— Печальный — да, и что же может быть ужаснее для вас, его дочерей, отца признать безумным из страха потерять деньги?

Она подняла руку вверх и голос ее сделался густым, как звуки органа.

— Бог когда-нибудь за это опустит на ваши головы свои громы. И если вы все утверждаете, что не видели привидения, то, может быть, настанет день, когда сама смерть пред вами восстанет из земли...

На минуту воцарилось молчание, но вслед за этим по комнате со смехом стало проноситься одно и то же слово:

— Чепуха!

— Вы, мама, кажется, тоже страдаете галлюцинациями, — совершенно спокойно сказала Глафира, насмешливо глядя на мать. В это время Зоя тихо говорила своей подруге:

— Тамарочка, ты так пугливо смотришь...

— Что, в самом деле, если...

— Что?

— Подымаются мертвые.

Зоя и Тамара пристально и пугливо стали смотреть в глаза друг другу. В это время Анна Богдановна громко и возмущенно проговорила:

— Не понимаю, почему вы все лжете и отрицаете то, что видели своими глазами?

Илья Петрович снова поднялся. Насмешливо посмотрев попеременно на всех присутствующих, он сложил руки на груди и, снисходительно улыбнувшись, авторитетно проговорил:

— Видеть это возможно разве в больном воображении. Во всей истории человечества насчитывается всего несколько чудес и между ними самое поразительное — Воскресение Христа. Его и признают поэтому Богом и нам приходится верить, ничего не поделаешь. Теперь, в двадцатом веке, человечество впало снова в младенчество, и с того света появляются уже не боги и ангелы, как раньше, а из могил выскакивают разные хулиганы и оборванцы. Скажите на милость, разве это не бред? Утверждать возможность таких явлений значит низвергать нас до уровня дикарей или деревенских старух, по понятиям которых ведьмы путешествуют на метле. Как вам угодно, но если бы даже силой каких-нибудь неизвестных науке законов стали бы происходить мнимо сверхъестественные явления, я все-таки сказал бы: именем здравого рассудка повелеваю вам, мертвые, убраться обратно в могилы и не мешать нам работать и наслаждаться.

Он окончил и вид его был заносчив и самодоволен.

— Браво! — крикнула Зоя и за нею Тамара.

— Совершенно резонно, мой друг, совершенно, — сказала Глафира, одобрительно глядя на мужа.

— Тамарочка, ты думаешь о чем-то.

Тамара шепотом отвечала:

— Да здравствует сатана! Вот резюме его речи. Наслаждения и миллионы только и можно находить под крыльями дьявола. Зоя, послушаем его: будем изгонять все, что не отзывается кухней ведьмы.

Глаза Тамары горели и, вглядываясь в них, Зое казалось, что они притягивают ее.

— Согласна, — прошептала она.

— Как мой бедненький муж изменился и до чего он дошел, — с опечаленным видом снова заговорила Анна Богдановна. — Я сама не узнала бы его. Он иногда трогает меня до слез. И этот человек с дико смотрящими глазами, с всклоченной бородой — ведь он и чесаться теперь не желает — все тот же мой муж, Серафим. Как удивительно это! Ах, знаю — нисколько он не помешан, но в прошлом его были грехи и вот они поднялись из могилы...

Все на нее смотрели с насмешливым сожалением, а Глафира с досадой проговорила:

— Мама, надоели вы. Разве это возможно, чтобы здоровый человек уверял, что из могил поднимаются мертвые?

Зоя крикнула:

— К тому же, мама, вы сами подписались под общим желанием назначить над ним опеку.

Анна Богдановна растерянно посмотрела на дочерей и, охватывая голову руками, воскликнула:

— Ах, я бессильна с вами! Вы как ласковые кошечки, когда хотите чего-нибудь добиться, а потом вас и не узнаешь.

За окнами послышался шум и крики людей. Илья Петрович, взглянув в окно, объявил, что рабочие, вышедши из фабрики, большой толпой направились к дому, и едва он проговорил это, как дверь с шумом раскрылась и в залу вошли несколько человек из фабрики. Впереди стоял высокий, рыжий рабочий и, видимо, чувствуя себя неловко, мямл в руках шапку.

— Эй, вы! Как вы смели войти сюда? — быстро к ним подойдя и принимая гордый и заносчивый вид, резко спросил Илья Петрович.

Высокий рабочий с рыжей копной волос на голове, продолжая мямл шапку в руках, сказал:

— Серафим Модестович изволили приказать перестать работать и закрыть фабрику. Много дураков слухали, и этот Ласточкин первый, а мы как видели, что хозяин не в своем уме, пришли доложить...

— Прекрасно сделали. Объявите же всем от моего имени, что никто не должен его слушать, так как хозяин ваш теперь я.

Высокомерно проговорив это, муж Глафиры гордо закинул голову. В это время Зоя рванулась с места и быстро подошла к рабочим.

— Одним словом, вот что: отец наш сошел с ума.

— Понимаем-с, — проговорил рыжий человек и закачал головой. Он хотел еще что-то сказать, но подошла Глафира и решительно проговорила:

— Никто не должен ни слушать его, ни разговаривать с ним, ни, тем более, принимать от него деньги. Кто нарушит это, немедленно получит расчет. За верность твою вот тебе золотой.

Держа между большим и указательным пальцами золотую монету, Глафира подняла ее над головой, повертела ею в воздухе, как бы всем заявляя, как она великодушна, и уже после этого опустила ее в протянутую лохматую руку рыжего фабричного. К ее досаде, Зоя разрушила весь произведенный ей эффект, так как, опустив руку в карман и достав оттуда маленький портмоне, она одним грациозным движением, с презрительным выражением лица, бросила его на пол, к ногам рабочих.

— Возьмите и разделите поровну.

Она снова подняла руку и, обвинив ею шею Тамары, направилась к оставленному ею креслу, на ходу громко прокричав рабочим:

— Гоните отца, как только он явится.

— Ну, сынок, я пойду посмотрю, что там такое, ты — хозяин, можешь себя и не тревожить.

Проговорив это, старик-управляющий, вздыхая и покачивая головой, направился к двери.

Все уселись.

Вдруг среди воцарившейся тишины раздались с необыкновенной грустью прозвучавшие слова:

### III

О, ты, ищущий бессмертной истины, владей  
своими мыслями, устрями взор своей души  
на тот единый чистый свет, который свободен  
от страсти.

*Брам. мудрость.*

— Горе мне, горе!

Все повернули головы и в конце залы увидели вошедшего Серафима Модестовича и за ним его сына. Старик неподвижно стоял, опустив голову и глядя вниз, в одну точку. Длинная и теперь белая, как снег, борода, закрывая его грудь, свешивалась книзу кольцами, как хлопья снега на опущенных ветвях плакучей ивы; такие же белые волосы падали с его головы на плечи. Морщины на его лице углубились и около рта образовались складки, придающие его улыбке вид необыкновенной грусти. Несмотря на все это, в глазах его светился свет, которого прежде в них не было, точно по мере разрушения его телесной храмины, в духовном храме его все ярче разгорался огонь.

— Ах, с каким чувством он это сказал, бедненький, — тихо сказала Анна Богдановна, и в глазах ее сверкнули слезы.

— Тише вы, мама!.. Сядемте здесь все за колонны, — прошептала Глафира и все, беззвучно пересев на другие места, с любопытством стали прислушиваться и наблюдать.

— Горе мне! — с тяжелым вздохом воскликнул снова старик, продолжая смотреть вниз и расставляя руки. — Лес крестов вижу пред собой. В глазах кровавые круги кружатся и в них бледные лица. Чем больше в совесть смотрю, тем страшнее думать мне, и вот все в голове стучит, словно молоточек: «Сосчитай-ка, сколько ты похоронил». И вот все считаю, все счет веду: того хитростью несчастным сделал, лишив куска хлеба, того в гневе вытолкал в шею умирать смертью голодной <...> того подтолкнул в яму, когда он со



слезами молил: поддержи, падаю, тот от притеснений моих на крючке повесился... Все считаю, Богу хочу счет представить и не могу: голова идет кругом, тошнота подымается к горлу, и в глазах кресты, кресты... мертвые встают и слышу предсмертные стоны и пение: вечная память.

Он поднял голову и с искаженным лицом, густым голосом запел:

— Веч-на-я па-а-мь!..

Опустив голову, он снова стал неподвижно смотреть вниз.

Все вздрогнули и переглянулись.

— Бедный мой Серафим! — прошептала Анна Богдановна и слезы градом потекли из ее глаз. Как бы в ответ на это, лицо Глафиры сделалось холодным и злым и она сухо возразила:

— Да, бедный, но надо еще добавить: совсем безумный.

— Тише, будем слушать, — прошептал Илья Петрович как раз в тот момент, когда Леонид окликнул отца:

— Папаша!

Старик повернул голову с необыкновенной ласковостью в печальном лице.

— Что, мой друг, что?

— Вам тяжело, но душа очищается ваша в слезах скорби.

— Тяжко-тяжко! — со вздохом снова воскликнул старик, снова опуская голову. — Душат мысли о прошлом, душат они меня. Сынок мой, подлинно говорю, как змеи обвили сердце мое и сосут его. Вот говорят ученые глупцы, что жизнь — битва и что будто право победителей налагать ярмо на слабых и что это справедливо. Несправедлив и жесток был бы Творец, если бы это было так, и земля превратилась бы в огромную бойню. И все это не так. Сея зло, душаем: вот счастье строим себе и не знаем, что зло наше впиывается в сердце и мучает нас до последнего дня и что замученные нами — мстители наши и тени их ходят пред очами нашими. В руках Духа-Судьи — весы правосудия, но подлинно говорю: слепы мы все и не видим Судью, и не знаем, что чаша с грехами и кровью прольется на нас и порвется сердце наше. О, горе мне! Созидал себе счастье, а вот лес крес-

тов и пред очами мертвецы бледные...

Он снова поднял голову и запел:

— Вечная память.

— Мне даже страшно! — прошептала Анна Богдановна и голова ее нервно закачалась. Глафира смотрела на нее с холодной насмешливостью.

— Вы, мама, совершенный ребенок.

— Папаша! — раздался в это время голос Леонида.

Старик поднял голову.

— Что, сынок?

— Теперь я вижу и восторгаюсь: распадаются оковы ваши и падают решетки вашей темницы, и этот свет и истина, которые открылись глазам, терзают вас. Счастливы видевшие истину посреди земной тьмы, потому что и от могучих властелинов мира она отходит и сердце ваше, раскрывшись для любви, освободило руку от золота.

Старик закачал головой.

— Да-да, сынок. Чем в сердце больше света, тем пальцы слабее держат кошельки. Я все отдам.

— Ого! — шепнула Глафира. — Он все отдаст, слышите?

Губы ее дрогнули от холодного, беззвучного смеха.

Старик, между тем, глядя на Леонида, говорил: <...> ударил себя рукой по голове. Его дочери, Тамара и муж Глафиры сдержанно засмеялись.

— О, незримые гении мира, — возгласил Леонид, — вы ходите со светильниками истины по земле и мы не видим вас. Панаша, я знаю что теперь вы все готовы отдать.

— О, сынок, все, кроме души своей, кроме души.

— Значит, ничего, — шепнула со смехом Глафира, — потому что из всей собственности его у него и осталась теперь только одна душа.

— Неправда, — шутливо возразила Зоя, — брюки и еще кое-что мы ему великодушно оставляем.

— Мне ничего не надо, — продолжал старик, вынимая из бокового кармана бумагу и разворачивая ее. — Вот список всего, что у меня есть: имения, дома, капиталы. Сестрам твоим и вам двум оставляю, что сочту нужным... Остальное

рассыплю, как пыль... Богом клянусь — все раздам... пусть все берут неимущие...

— Ого! — с выражением гнева в лице шепнул Илья Петрович. — Вы слышали, господа?

— Возмутительно! — откликнулась Глафира и лицо ее сделалось злым и холодным. — Отобрать все у родных детей, чтобы бросить оборванцам-нищим.

Зоя нахмурила черные брови, охватила руками ручки кресла и, с ненавистью и презрением вглядываясь в отца, сказала:

— Ну, отче Серафим, путешествуй в монастырь. Мы тебя накажем за эти слова.

Она повернулась к Тамаре и нежно прошептала:

— Тамарочка, из твоих черных глаз смотрят на меня демоны: пусть они обвеют душу мою тьмой.

— Отдам все...—повторил снова Серафим Модестович. — Но, сыночек мой, вот что вспомнил я: мне кажется, что люди смотрят на меня не прежними глазами и не так почтительны ко мне. Простые рабочие — у тех раскрытые сердца и в лицах как бы умиление, но кто повыше... Вот разгадай-ка ты мне.

По лицу Леонида пробежала грусть.

— Вы заметили и я тоже.

— Тоже-тоже! — дрогнувшим голосом повторил старик. — Что же ты заметил, мой друг?

— Папаша, оставим это, — со страдальческим видом сказал Леонид, — и верьте мне, что раздать богатство ваше вам не удастся: мои сестры и их мужья уже вцепились в капиталы свои и для вас давно уже расставлены сети.

В лице старика дрогнули какие-то мускулы и в глазах отразились изумление и вспыльчивость.

— Сети!.. Как они смеют?

Леонид поднял руки над головой.

— Мир — тьма.

— Тьма... да...

Он неподвижно стоял с опущенной головой в мучительном раздумье, но потом поднял голову и лицо его оживилось.

— Нет, неправ ты. Всегда любили меня мои дети и теперь, когда я лучшим стал, как они могут восстать против отца... Сети!.. Как на врага подымутся, значит?

Леонид снова расставил руки, как бы показывая на все находящееся на земле.

— Тьма-тьма!

Старик откинул голову и стал смотреть на сына.

— Что сказать ты этим хочешь?

— Слушайте, папаша. Когда человек безумен и жесток <...> тонко душит людей, в его честь часто слагают хвалебные гимны. Когда же, просветлев духовно, он перестает совершать дела тьмы и видит сокровенное и тайное, мнения перемениются и о нем говорят, что он...

— С ума сошел? — быстро проговорил старик.

— Да, да, именно так.

— Это вот самое и мне приходило на мысль. Но что, сынок, ты сказать этим хочешь? Пусть их болтают: обезумел фабрикант, пускай кричат: вон, вон, сумасшедший идет — что мне до этого? Иной есть голос в душе моей и сделаю, как он велит: все раздам, а фабрику я уже велел закрыть.

И Серафим Модестович, с чувством полного сознания святого долга «раздать все», быстро пошел вдоль залы к противоположной двери и вдруг остановился, увидев за колоннами лица членов своей семьи. Постояв немного, он направился к ним.

— А, вы все здесь!

Изгибаясь своей высокой фигурой, Зоя медленно поднялась и над ее мрачно смотрящими синими глазами низко опустились брови, сливаясь в одну черную ленту. Она положила руку на спинку кресла и, когда заговорила, то казалось, что по ее красным губам забегала злая, ядовитая змейка.

— Да, отец прекрасный, с удивлением слушали вас, с удивлением и скорбью: все хотите раздать разной сволочи, пьяницам и оборванной дряни, а родных детей заставить побираться. Превосходно. Старый тиран во всем ясно виден — и в равнодушии к детям, и в безумной любви к оборванной, пьяной черни.

Серафим Модестович стоял неподвижно и с каждым словом дочери, мускулы лица его нервно вздрагивали, как бы от какой-то внутренней боли, в то время как глаза все более расширялись в выражении изумления.

— Ты ли это? Как, ужели это ты говоришь?

Зоя закинула голову и топнула ногой.

— Да, именно я.

— Ты!...

Голос Серафима Модестовича упал, в нем звучали сдерживаемые слезы, но одновременно с этим подымался гнев, подползая, точно горячая волна. Он делал усилия заглушить его.

— Клянусь, тебя не узнаю. Как можно это? Ты всегда послушна была, почтительна и перед волею моей смирялась. Теперь вот только злость в твоём лице я вижу — и грубо, и резко отвечаешь.

— Заслужили.

Она круто повернулась на каблуках и стала спиной к отцу.

Былой огонь дикого гнева сверкнул из глаз старика.

— Мерзавка!..

Он сделал страшное усилие воли потушить прежнего дикого человека в себе.

— Клянусь, нет сил себя сдержать. Как смела ты спиной повернуться!

Зоя снова сделала оборот на каблуках.

— Не кричите, никто вас больше не боится.

Она быстро пошла к колонне и остановилась там, и красные губы ее вздрагивали от злого, глумливого смеха.

— Что значит это? — попеременно глядя на всех, спросил Серафим Модестович. Ответа ни от кого не получалось, и он продолжал стоять неподвижно, точно пораженный громом. Леонид подошел к нему и сказал:

— Папаша, помните, что волнение — слабость и мы с вами, глядя на тьму мира, должны быть спокойны, как бессмертие.

Старик повернулся к сыну и на мгновение лицо его как бы осветилось светом.

— Хорошо, сынок, хорошо, дай овладеть собой... вот, вот...

Он вдруг вскричал:

— Нет, Богом клянусь, огонь она бросила в мое сердце... А, вот и вы! — воскликнул он, увидев стоящего у колонны Ольхина. — Вы ее муж — отвечайте вместо этой негодяйки, что означают ее слова: «никто вас больше не боится»? С каким лицом она плюнула это «больше». Ого! Понимать надо, что прежде боялась меня и потому лаской гасила всякую вспышку во мне, хотя был черств я и жесток. Лицемерка и обманщица! Теперь явилась передо мной с таким лицом, что изумляюсь я. Она языком уколола меня в самое сердце. Почему же теперь именно? Не тот я уже... Упал с небес огонь в мое сердце и забилося оно в слезах печали и сокрушения.

— Простите, нельзя мне это... отвечать от имени жены... ничего я не знаю...

Робко проговорив все это и страшно боясь не вызвать гнева в своей жене, Ольхин постарался скорее стушеваться и снова стал где-то за другой колонной.

Серафим Модестович продолжал стоять неподвижно в чувстве горечи, обиды и изумления. Вдруг увидев свою старшую дочь, смотрящую на него с улыбкой холодного пренебрежения, обрадованно вскричал:

— А! вот и ты, Глафира! Боюсь я, может быть, и ты обернешься теперь ко мне спиной.

— Нет, зачем же? — холодно спросила она и продолжала тоном покровительствующего превосходства, к которому так легко прибегают женщины:

— Ведите себя прилично и благоразумно, не забывая о ваших старых летах, и мне не надо будет убежать от вас, но если хотите скандалить, то извините...

— Как ты сказала? — вскричал Серафим Модестович, почувствовав, что в его сердце как бы вонзилась игла.

— Довольно, — сухо сказала она.

— Довольно — что?

По губам Глафиры задвигалась гримаса досады.

— Отец, такая болтливость вам не к лицу. Вы очень стары и в ваши годы капризы и причуды совсем не у места.

Серафим Модестович долго всматривался в лицо дочери, точно не узнавая ее и, когда заговорил, в голосе его звучала бесконечная скорбь и огорчение.

— Боже мой, совсем дочери моей не узнаю. Ты мне чужая с этим другим лицом — строгим и суровым. Сказала ты: «скандалить». Вот как. Ха-ха-ха... Мальчишка я, пьяница, или кто? — старик с белой бородой. А прежде ты обращалась со мной не так, а ласково и кротко: «Папаша, слушаю, не смею прекословить», повинуюсь — ха-ха, и руки целовала. Теперь на свое лицо маску ты надела, так что тебя и не узнать. Глафиричка, прошу тебя, сними ее, или я умру от огорчения.

Он нагнулся, сложил ладони рук и смотрел на дочь с блистающими в глазах слезами. Она выпрямилась и захохотала досадливым, злым смехом.

— Вот еще новая причуда старого ребенка.

— Так скажи, что я ослышался.

— Нисколько не ослышались, и вообще, отец, вам надо понять ваше новое положение.

— Положение мое — какое? — быстро проговорил Серафим Модестович и глаза его снова засверкали гневом. Леонид, стоя сзади его, нежным голосом тихо проговорил:

— Не волнуйтесь и пускай ваша душа, папаша, остается безмятежной.

Старик быстро обернулся к сыну.

— Сынок, сынок, дай прежде я вгляжусь в твои кроткие глаза.

Положив руки на плечи Леонида, он стал всматриваться в его глаза и губы его сложились в любовную, нежную улыбку.

— Да, из твоих глаз вливается в меня светлая отрада. Голубчик мой, я тебя люблю.

Он снова повернулся к дочери.

— Отвечай ты, — какое положение мое?

— Зависимого от нас человека, как потерпевшего умственное крушение, — с жестокой усмешкой, искривившей губы ее, отвечала Глафира. — Не совсем приятно вам все это объяснять, но что же делать?.. Надо же вам знать, что вы

потеряли все ваши права, находитесь под опекой и потому раздавать деньги наши мы вам не позволим.

Метнув на отца последний взгляд, она резко повернулась и отошла к Зое. Там обе они, стоя у колонны, смотрели на все происходящее, перешептываясь и смеясь.

— Ага! — воскликнул Серафим Модестович, хватаясь за сердце и делая усилие потушить свой гнев. — Богом клянусь, она хотела сказать, что я сошел с ума. Я, всесильный фабрикант — кто я теперь? Младенец в пеленках, у которого две няньки.

Вдруг он увидел жену свою. Она сидела, закрыв лицо руками, и нервно вздрагивала.

— А, и ты здесь!

Она поднялась и, направляясь к дочерям, заговорила рыдающим голосом, не отнимая рук от лица:

— Ах, Серафим, бессильна я, но мне тебя так сердечно жаль, так жаль сердечно.

— Ушла! — воскликнул он, стоя неподвижно на месте. — И ты ушла, подруга дней моих...

Он повернулся к сыну и в глазах его заблестали слезы.

— Сынок, скажи, за что они со мной так? Бросают мне обиды и уходят прочь... Ах, да, ты чуял то, что вышло... безумным сделали меня, как только мое заговорило сердце... Оно теперь — дитя, омытое слезами, и кричит к небу в печали и тоске... Вот дочери мои и восстали на меня... Что ж это значит?..

Он опустил голову, долго стоял неподвижно и вдруг воскликнул, продолжая смотреть вниз:

— Клара, Клара, Клара!.. Ха-ха-ха-ха!..

Леонид обвил его шею руками.

— Папаша, что с вами?

Старик поднял голову.

— О, Леонид, как справедлив Судия невидимый: безумной объявил я когда-то для проклятых денег Клару, и вот теперь дочери мои поймали меня в мои же сети и тоже из-за золота. Да, справедлив Судья. Хвала моя летит к небесам и вихри в уме моем уносят все прежние грешные мысли!.. Голубь в сердце моем бьется в пламени и в этом огне очищает-



ся дух мой...

Он посмотрел вокруг себя и, никого не увидев, так как все были скрыты за портьерами и колоннами, безнадежно качнул головой.

— Все ушли. Хозяина Мироздания верный раб Серафим спрашивает, Тебя, Творец, что означает это?

Он посмотрел на Леонида и вскрикнул:

— Сынок!..

Бросившись ему на шею, он опустил голову на его плечо и заплакал.

— Мы одни с тобой. Чувствую, что мы навсегда одни останемся.

— Да, Хозяина Мироздания верные рабы, — сказал Леонид.

Старик взглянул на него, озадаченный, в глазах его сверкнул свет и вдруг, бросившись на колени, он расставил руки и закинул голову.

— И Хозяина Вечного верный раб Серафим сдувает все с себя, чем жил он... Бремя тяжелое было на нем и заботы и вот нет их. И нет в нем больше лукавого дьявола, шептавшего: «Сделай свое счастье большим на гробах». Как младенец, будет он чист и светел. Да, ты прав, в ясном спокойствии — крепость. И крепость моя от Отца должна исходить, от великого мирового духа.

Леонид, склонившись к нему, стал смотреть на него глазами, из глубины которых светились любовь и мир.

— И тогда ничто земное не должно волновать нас, потому что нас возносит над землей сверху исходящий мировой дух.

— Клянусь, клянусь, но...

И старик вдруг вскричал в чувстве внезапного гнева:

— Как они уязвили меня, сынок, как уязвили! О, Леонид, помогай мне овладевать собой. Буря гнева в душе моей и горько мне и больно. Да, силки расставили и изловили меня, и от этого времени я сумасшедший фабрикант. Ах, глупец! Всегда я думал, что дочери любят меня. Казалось это только все, и вот теперь думаю: какое различие между «кажется» и тем, что есть. Мы пьем сладкое вино самообма-

нов и хорошо так: горьки слезы печальной истины и надо вот теперь глотать их. Все-то мы дурачим себя, пока не уляжемся в гроб. Блуждал я много лет среди густого леса грешных мыслей и веры, что создаю счастье, и вот вижу, что все было сон. Твои две сестры меня никогда не любили.

Леонид, задумчиво глядя вниз, с необыкновенной грустью проговорил:

— Наши истинные сестры — души, родственные нам, и наши отцы и матери — Мировой Разум и дух вселенной. Слезы отца и матери часто льются по злобе их детей, и заблуждение родства, часто заставляя носить маску гнусного лицемерия, кладет на уста змеиные поцелуи.

— Змеиные, да, ты прав, совершенно прав, — быстро заговорил Серафим Модестович, обернув лицо к сыну.

— Лицемерие ползет, как змея, осторожно, но кусается больно.

Внезапно задумавшись, он опустил голову и стал смотреть в одну точку.

— Мне кажется, я вижу их.

— Кого, папаша?

Он вздрогнул и, подымая голову, быстро проговорил:

— Сердца моих дочерей. Там тьма, лицемерие и ложь, но на губах всегда улыбка. Вижу, что прежде я был слеп, и вот прозрел. Семья — гнездо змей, которые, ласково свиваясь, незаметно жалят.

Он снова задумался, потом, содрогнувшись, быстро схватил Леонида за руку и, со словами: «Идем, сынок», направился к двери.

— А, вы опять явились? — воскликнул он, останавливаясь и глядя на открывшееся его глазам общество.

Глафира медленно поднялась, и по тонким губам ее пробежал нервный и злой смех.

— Гнездо змей — прекрасно!

Зоя вытянулась и нахмурила брови.

— Очаровательные змейки, ласковые и ядовитые, перед вами, отец прекрасный, полюбуйтеся.

— Я не понимаю собственно, — снова заговорила Глафира, — если мы вам так ненавистны, то что вам мешает оста-

вить наш дом, или, как вы выражаетесь: гнездо змей? Мы можем где-нибудь в ином месте приискать для вас помещение и будем ежемесячно посылать вам посильную помощь.

Старик стоял неподвижно, пораженный этими словами, а Зоя, обменявшись взглядами с сестрой, наставительно продолжала:

— Конечно, это так, и в ваши преклонные годы гораздо приятнее для вас и лучше для спасения души вашей жить где-нибудь в уединенной обители или в монастырской келье, нежели в этом большом, шумном доме, роскошь которого вам напоминает ваши собственные молодые вкусы, а веселость моих гостей вас часто приводит в негодование.

Старик продолжал стоять неподвижно. Глядя на него, Илья Петрович поднялся с места, высокомерно закинул голову и, играя цепочкой от часов, небрежно проговорил:

— Согласитесь, Серафим Модестович, что ведь вы бросили стрелу в себя самого, насколько я понимаю: строительством гнезда занимались вы сами, и если вы воспитали змей, то приходится вас спросить: зачем это делали?

— Горькая правда, — с конвульсивной дрожью в лице быстро проговорил Серафим Модестович и, замолчав, стал снова смотреть на дочерей. Старая грудь его вздымалась от душившего его волнения, но он делал страшные усилия усмирить в себе прежнего гневного человека и выйти из этой борьбы с самим собой и с тьмой жизни очищенным, свободным и светлым. Несмотря на все это, голос его был волнующимся и глухим.

— По лицам вашим читаю ваши сердца и в изумлении я, как они злы. Нет, лучше я замолчу. Пусть слова раздора из уст моих не бросают огонь в души ваши. Да, замолчу... Буря ярости заволакивает ум мой и во мне шевелится бешеный зверь. Волей своей, как обручем железным, оплетаю я зверя — гнев мой.

Говоря все это, он был бледен, и глаза поминутно вспыхивали, как тлеющие угольки, которые все снова загораются, не смотря на все старания их потушить. Чувствуя все это, он вдруг вскричал:

— О, старец с белой бородой, смотри вверх, Бога ищи, и

да пускай Мировдержец, рассеяв тьму сердца твоего, поселит в нем голубя... О, я буду кроток. Бейте меня огненными языками — со смирением буду слушать вас. Да, крепость теперь во мне, и в ясном спокойствии духа моего слышу приговор вечного Судии: «Человек, ты жил неправдой и из неправды восстали мстители твои в том мире и мстители-дочери в этом, и бьют тебя бичом, который свили из твоих злых дел». И далее голос слышу: «Человек, ты был жесток и зол, и вот дух зла в детях твоих; твой бог был — золото, и вот они, зная только этого бога, восстали на тебя, и так как чревоугодие и блуд были в тебе, то дом твой превратился в омут безбожия и разврата».

Едва он умолк, как раздался громкий, рыдающий голос — О, Серафим, Серафим!..

Он обернулся.

Анна Богдановна шла вдоль комнаты и сквозь пальцы ее рук, которыми она закрывала свое лицо, скатывались слезы.

— Какой огонь бросаешь ты в мой душу этими словами, и как ужасно думать, что твоими грехами и моя полна вся жизнь. Как раздирает это мое сердце!

Плачущая и дрожащая, она стояла перед мужем, и Серафим Модестович, печально глядя на нее, с необыкновенным чувством проговорил:

— Подруга дней моих, что будем делать? Печали — наш удел.

Он снова взглянул на дочерей.

— Что же до вашего суда надо мной, то принимаю его: он справедлив. Берите же все себе, и имения, и дома, и мешки золота. С пустыми руками ухожу я, безумный фабрикант, и с криком в сердце: «Помилуй, Боже». Скорее же в леса и степи, в общество зверей и птиц, и пускай горит на моем челе надпись: «Грабитель и убийца». Вы выгоняете меня из этого дома, но мне ли роптать, когда руки мои, смотрите, в крови.

Он протянул свои старые, дрожащие руки, показывая их дочерям, и потом обвел глазами своими залу.

— Прощай же, старый дом, дом разбоя, обид, смерти. Не увидит счастья в нем никто, и незримые, оскорбленные

существа, блуждая по этим залам, будут наполнять его воплями и ужасом.

Глядя на дочерей, он вдруг закричал:

— Бледная смерть стоит здесь посреди вас, и вы будете казниться в муках совести, и с холодным страхом смотреть в ее страшные глаза.

Он быстро повернулся и пошел к двери.

#### IV

П р о с п е р о. Скажи, любезный дух, исполнил ли ты мои приказания на счет бури?

А р и э л ь. Во всех отношениях; я, как шквал, налетал на корабль короля — то на носу, то на корме, то на палубе — заставлял вспыхивать ужас.

*Шекспир*

Все молчали и переглядывались и, хотя почти на всех лицах были насмешливые улыбки, но глаза, — в особенности Зои и Тамары, — пугливо расширялись и с глубины их светился испуг. Тревога овладевала всеми и всем казалось, что последние слова изгнанного старика продолжают еще греметь и проноситься по огромным комнатам.

Один Леонид стоял в отдалении, всматриваясь в лица присутствующих — негодующий и, видимо, готовый разразиться бурей пламенных слов. На него посматривали с опасением.

— Ты слышала, что он сказал? — тихо проговорила Зоя, склонившись к Тамаре. — Смерть стоит здесь! Вот еще вздор. И все-таки это странно — почему старый болтун вздумал нас пугать этим?

Тамара не отвечала. С бледным лицом она смотрела на Леонида с таким выражением расширившихся глаз, точно ее что-то пугало.

— Тамарочка, ты бледна, очень бледна, и что ты так при-

стально смотришь на этого идиота?

— Видишь ли, Зоичка, — прошептала Тамара, продолжая смотреть в одну точку и похолодевшей рукой крепко сжимая ее руку, — вот стоит твой брат Леонид, но ты не верь...

— Что не верь?..

— Что это настоящий.

— Тамарочка, что с тобой? — в волнении прошептала Зоя и с лица ее сбежала краска.

— Да, за ним мне видится другой — чувственный, живоотно-страстный и безвольный, а этот меня пугает какой-то ужасной силой своей. Страшно то, что моментами мне кажется, что за этим стоит другой.

Зоя испуганно стала всматриваться в глаза Тамары, в то время как последняя, не отрываясь, смотрела на Леонида.

Общее молчание нарушила Анна Богдановна, которая поднялась и, с рыданьем в голосе, вскричала:

— Куда ушел мой бедный Серафим, куда ушел?

Она снова опустилась в кресло и зарыдала.

— Ах, мама, опять слезы, надоело это, — раздражительно проговорила Глафира. — Большая важность — в лес ушел. Пусть порезвится там немного, сделается холодно, он и вернется.

По губам Глафиры пробежал беззвучный, холодный смех.

— Я тоже думаю, — сказала Зоя с искаженным, испуганным лицом.

Илья Петрович видел, что всем «не по себе» и потому с иронизирующим видом сказал:

— В крайнем случае, его можно будет отыскать и благополучно водворить в недра горячо любящей его семьи.

— Конечно, — откликнулась Глафира, а за нею Зоя и обе неприятно засмеялись.

От колонны отделилась фигура Евгения Филипповича. Сделав несколько шагов вперед и потом почему-то назад, он, к общему изумлению, сказал:

— Неладно в этом большом доме, неудобно, а потом будет страшно. Его голос звучать здесь будет всегда.

Зоя смотрела на мужа с несказанным изумлением и

вдруг вскочила, охваченная злобой.

— Что ты за идиот такой и что этим сказать хочешь: неладно у нас, неудобно. Мне очень уютно в этом доме, устроенном роскошно и с комфортом и, если тебе неудобно, то виновата голова твоя — неудобно устроенная.

Проговорив последние слова очень резко и грубо, Зоя опустила в кресло, а ее муж продолжал стоять, красный от стыда и растерянный.

— Признаюсь, я тоже не понимаю, что вы хотели сказать этим, — покровительственно проговорил Илья Петрович. — Может быть, пророчества Серафима Модестовича заставляют вас опасаться, что этот дом населится привидениями?

Он снисходительно рассмеялся.

Зоя и Тамара переглянулись и в глазах обеих сверкнул страх, а Евгений Филиппович проговорил, заикаясь и робко:

— Я давно слышал, что в этом доме блуждают какие-то тени, а теперь, с уходом оскорбленного хозяина, они подымутся и будут мстить.

— Ха-ха-ха! — с презрением рассмеялся Илья Петрович. — Как вы суеверны, однако. Все, что вы сказали, всецело относится к области фантазии.

— Как ты смешон! — вскричала Зоя тем с большей злобой, что слова мужа еще более вызвали в ней ее пугливые опасения и страх. — Мне стыдно за тебя. И что ты так разболтался сегодня!

Наступило неловкое молчание.

Все переглядывались глазами, в которых выражалась какая-то тревога, и прислушивались к чему-то. Всем казалось, что в комнате присутствует кто-то незримый, что слышится чье-то дыхание, какое-то веяние воздуха, что будто что-то шелестит, точно листья, вздымаемые ветром. Этому много способствовал ветер, от которого за окнами, в сумерках вечера, гнулись ветви деревьев и били в стекла, точно чьи-то гигантские руки. Ветер усиливался.

— Слышите, как ветер жалобно воет, — нарушая общее молчание, проговорила Анна Богдановна.

— Воеет ветер! — вскричала Зоя и в голосе ее столько было тревоги, и он звучал такой радостью и скрытым беспокойством, что всем представилось, что это вовсе не ветер воеет, а какие-то невидимые существа, скрытые в пространстве. Это <было> тем более странно, что за окнами начала уже разыгрываться буря. Посреди общего молчания Илья Петрович уверенно проговорил:

— Это ветер завывает в трубе.

— Только не ветер, а кто-то иной завывает в ней, — странным голосом сказала Анна Богдановна, и опять все почувствовали, что «кто-то» действительно завывает.

Желая заглушить свои тревоги, Глафира с неудовольствием проговорила:

— И, мама, опять вы поехали в край бесплотных.

Это вызвало на мгновение смелость в ее сестре и, желая убить свой страх, а также тревоги совести, она насмешливо вскричала:

— Духи воют!

Она захохотала, но смех ее, насильственный и неприятный, странно прозвучал в воздухе и оборвался. Все молчали, прислушиваясь к разным звукам, доносившимся от поднявшейся бури. В это время все они сделались суеверны, и пугливые чувства их страшно усиливались новым обстоятельством: в глубине души звучали голоса совершенного преступления — изгнания хозяина дома. Голоса эти беспокоили, тревожили, разбивали правильность мысли, но в форме ясного сознания не проявлялись.

Вдруг все двери неожиданно распахнулись, ветер ворвался в комнаты и погасил только что зажженные лампы. Сделалось темно.

Все дрогнули и потом стали испуганно всматриваться и прислушиваться. За окнами слышался вой, свист бури, шум гнувшихся деревьев и все это в них отражалось, как тысячи воющих, плачущих, охающих голосов.

Вдруг очень громко по комнатам прозвучал чей-то хохот, в котором слышалось что-то бурное, горькое, трагическое.

— Ха-ха-ха-ха!



Женщины испуганно вскочили. Всматриваясь в темноту комнаты и сначала никого не видя, они вдруг вскрикнули, увидя Леонида в блеске сверкнувшей молнии. Он стоял с высоко поднятой головой и в его лице, озолотившемся вспыхнувшим сиянием, было разлито необыкновенное выражение — величественная сила и мрачный, негодующий сарказм.

— Что с тобой?! — воскликнула дрожащим голосом Зоя.

По комнате пронеслись резкие, уверенные звуки голоса:

— Слышите? Плачут астральные существа.

— Что?! — раздалась испуганная голоса и в этот же момент, точно выстрел из пушки, ударил гром.

— Мне страшно, — прошептала Тамара.

— Мертвые плачут, — громко проговорила Анна Богдановна.

Все снова замолчали, глядя на Леонида, фигура которого то вспыхивала в блеске молнии, то погасала снова. Раздался его голос, но в нем было столько силы, он звучал такими переживаниями негодования, тоски, отчаяния, что всем казался незнакомым:

— О, плачьте, плачьте, бессмертные, вечные существа, и воплями, и завываниями ужаса ответьте на смех сынов земли и на ликования дочерей, прогнавших в лес старика-отца. Мое сердце тоже плачет, хотя на устах смех...

Он приостановился, прислушиваясь к шуму бури, и вдруг закричал:

— Слушайте, слушайте!.. Вот голосок, тоненький, как флейта. Может быть, это голос ребенка, когда-то брошенного злой матерью... А вот и труба, слышите?... Это воеет убийца-ростовщик, окруженный жертвами своими... А вот серебряные колокольчики смешались с жалобными песнями на могиле. Пусть в мыслях ваших звучит концерт незримых музыкантов того мира. Это так сладостно и вместе больно. Там и скрипка, и фагот, цитра и контрабас, и слезы, и вой, и хохот — ха-ха-ха! Пляска, ужас, веселье, вой, рыданье — все несется в быстро крутящихся вихрях астрала.

Он помолчал, прислушиваясь к чему-то, и вдруг громко крикнул:

— Иду, иду, папаша, — ты в лесу и зовешь меня, я слышу.

Странный и страшный вид представляли все находящиеся здесь. Они сидели неподвижно с выражением крайнего ужаса в лицах, с раскрытыми ртами и в ушах их звенели вопли, стонали голоса, о которых говорил Леонид. Все, что было в нем, осветило их воображение ужасными видениями.

— А вот еще, слышите? — закричал Леонид. — Орган звучит...

Послышались уже торжественные гробовые звуки, но в этот момент в залу вбежал Капитон. Он был страшно бледен. В одной руке его была свеча, в другой бутылка и на плечах его красовалась красная женская шаль. За ним шла полуодетая Анетта и несколько других кокоток.

Постояв на месте и заметив присутствующих, он пьяными ногами быстро пошел дальше через залу.

— Этот дом заколдован. Здесь воют и поют неизвестно кто, — проговорила Анетта, перебегая комнату.

Капитон снова приостановился и, пошатываясь, проговорил:

— Нет, это утомительно. Когда я танцевал, какой-то негодяй стал между нами и засмеялся. Я подошел, чтобы его вытолкать, но на том месте, где он стоял, крутился голубой столб дыма.. Тогда я понял, что этот господин — дух. Духи мешают мне жить, веселиться, блаженствовать, носиться в канканчике и тратить папашины миллионы...

Окончив эти слова, Капитон, окруженный своими девицами, снова направился к двери и скрылся.

Буря усиливалась. Завывание ветра, шум гнувшихся деревьев смешивались с раскатами грома, но, кроме всего этого, всем находящимся здесь слышались мрачные звуки органа. Они сидели неподвижно, прислушиваясь к этим звукам, недоумевая, пугаясь и глядя испуганно расширившимися глазами на Леонида. Им казалось, что он растет с каждым мгновением и в моменты, когда молния озаряла его лицо, оно казалось лицом ангела-карателя, в священном негодовании бросающего молнии на презренный мир. Вдруг он

поднял руки и по зале снова стали проноситься негодующие и печальные звуки его голоса.

— Носитесь, торжественные загробные аккорды астральных музыкантов, наполните весь этот грешный мир и смертельной тоской и ужасом разбейте жестокие сердца. О, мир несчастий, разврата, гибели и смерти!

Раздался страшный удар грома. Им, слушающим странные слова, показалось, что и гром этот вызван чудесной силой Леонида в подтверждение его слов и, вскочив с мест, <они> заматались по комнате. Леонид продолжал:

— Трепещи, богач, полными руками загибающий золото в то время, как под окнами твоими протягиваются исхудалые руки обобранных тобой голяков. Вы, жрецы оргии и пьяного веселья, с похотливым взором в глазах и холодом в сердце, бегите с ложа разврата в пустыню, потому что жизнь на земле — миг на часах вечности, а там ужас, тоска, смертельное сожаление среди блуждания в океане вселенной. Вы же, все, мои сестры и их мужья, все идите в монастырь, слышите, в монастырь, говорю вам, потому что вы изгнали в леса и степи отца вашего... Призраки ваших преступлений блуждать здесь будут и будет за вами всегда стоять смерть.

— Смерть стоит в белом, смотри! — воскликнула Зоя, глядя в одну точку. Тамара издала крик ужаса, глаза ее расширились и, страшно побледнев, она стала смотреть по указанному Зоей направлению.

Раздался новый удар грома и опять прозвучал голос:

— О-о, как гремите над домом несчастья, существа невидимые. Отец, я к тебе, в лес...

Он быстро пошел к двери, и хохот его, горький и негодующий, пронесся по комнатам. А Зоя и Тамара с немym ужасом продолжали смотреть на белеющее в темноте видение — высокое, тонкое, с ребрами, светящимися фосфорическим блеском, с двумя костяными впадинами вместо глаз.

---

## ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

### I

Человек познает себя, не думая, но действуя. Только в усилиях исполнить должное, он узнает себе цену.

*Гете*

Зима прошла. Поля и рощи снова зазеленели и майское солнце, обливая землю лучами, казалось, смеялось со своей голубой выси над всеми горестями и печальми нашей маленькой, таинственной планетки, с ее вечными неразрешимыми загадками — жизнью и странным существом — человеком.

Под траурно-опущенными ветвями гигантских елей огромного глухого леса шел, постукивая палкой по древесным корням, старик с белой как снег бородой, в соломенной шляпе на голове, в простой синей рубаше и без всякой обуви на ногах. Лицо старика было светлым, приветливым, а когда он, подымая голову, всматривался в голубое небо, оно делалось умиленным и радостным, как у людей в первый день Светлого праздника под звуки пасхального звона колоколов, когда в сердце пробуждается чувство радостной любви к природе и людям — маленьким и большим, злым и добрым, счастливым и страдающим. Рядом со стариком шел его сын, одетый, как и отец его, и лицо Леонида было теперь спокойным и светлым.

Оба они, отец и сын Колодниковы, представляли очень странное зрелище: оба с полным презрением оттолкнули от себя миллионы свои, так как деньги, из-за которых люди грызутся, душат и убивают друг друга — какое-то кошмарное недоразумение, не дающее никакого счастья, предмет коллективного помешательства. И они правы: ведь то, что дает покой и радость — лес, поля, солнце, море — дается

без всяких денег, одинаково — миллионеру и бродяге.

Должно быть, такого рода мысли кружились в голове Серафима Модестовича, потому что, неожиданно остановившись близ поляны, он задумчиво сказал:

— Ничего у меня больше нет.

Он протянул руки и по губам его прошла спокойная, ясная улыбка.

— Эта крестьянская рубаха — все мое достояние.

— Да, папаша, мы теперь небогаты с вами.

— А мои дочери и их мужья очень богаты. Я только не верю, чтобы миллионы дали им счастье, и сожалею дочек своих. Да, я был похож на грабителя, сгибавшегося под тяжестью награбленного, но вот явились более слепые люди и отняли от меня все, что я имел. Вот что я тебе скажу, дружок мой.

Он склонился к сыну с улыбкой умиления на губах, точно желая высказать какую-то тайну свою.

— Когда рука не ощущает золота, грудь вздымается очень свободно и радостно. Чем легче кошелек, тем шире бывает сердце, и самое широкое у истинного сына матери-природы. Теперь только глаза мои видят могучего Бога в голубой ризе, с зеленым ковром у ног. Блудный сын, пировавший с душителями ближних и настроивший так много могил, возвращается под голубые крылья твои, мать-природа, и под твои зеленые шатры.

Проговорив все это, Серафим Модестович, с благодушным видом посмотрев на вершины высоких деревьев, пошел уже было дальше, как Леонид, взяв его за руку, сказал:

— Папаша, посидим и отдохнем здесь.

— Хорошо, мой друг, я на все согласен. Вот остаток дуба и мы оба усядемся здесь.

Посреди небольшой поляны лежал ствол свалившегося дерева. Отец и сын, подойдя к нему, сели рядом.

Со времени изгнания из своего дома дочерьми, Колодников блуждал в сопровождении Леонида по полям и лесам. Вначале было еще холодно, холодный ветер часто пронизывал его старое тело, но он не чувствовал неудобств такой жиз-

ни: буря в душе его уничтожала всякую чувствительность тела к бурям, проносившимся по земле. Негодование подымалось в нем, мешая думать и развивая мысли о вечности и о смысле жизни на этой земле, и было чрезвычайно трудно совершенно примириться не в теории только, а на деле — с этой новой жизнью лесного скитальца. В воображении его часто рисовались его богатства, фабрика, имения, дома, и трудно было с полной искренностью думать, что все это только золотая пыль, что тогда он был сумасшедшим посреди огромного стада обезумевших людей, и что только теперь, превратившись в настоящего сына матери-природы, он воскрес из мертвых и почувствовал счастье среди лесов и полей. Не покой и радость, а наоборот, новые искушения часто испытывал он, искушения, сопровождавшиеся волнением и смутой. В такие минуты, видя себя как бы осужденным невидимыми врагами, он собирал все силы свои, уходил в самые дикие места леса и там думал, думал... С каждым днем он делался покойнее, и вместе с ясностью духа все более проникался уверенностью, что, потеряв миллионы свои, он ничего не потерял, а напротив, сделал приобретение, нашел самого себя, что этот лес — самое настоящее для него место — успокоения и излечения от прежней слепоты. Кончилось тем, что воспоминания о своих прошлых преступлениях его больше не мучили: отказавшись от своего богатства, он в то же время убил в себе прежнего человека греха и дьявольских искушений. Из могилы Каина возрастал новый человек света и разума. Таким образом Колодников-отец с каждым днем как бы восходил по ступеням лестницы, ведущей в царство вечного света. Что касается до его сына, то с ним происходило обратное: Леонид-дух с каждым днем как бы все более погасал. Постепенно, начиная от пребывания в Париже, он с величайшим трудом пробирался как бы по голым скалам, временами срываясь и потом опять переходя на скалу более высокую. Достигалось это необыкновенным подъемом всех его духовных сил, или, иначе выражаясь, вибрированием подъемов всех миллионов проводников его духа — нервов. Для каждого человека есть известная черта, выше которой он подняться не может, как пти-

ца, которая, взлетев на доступную для нее точку, неминуемо должна будет покатиться вниз. Это именно происходило и с сыном Колодникова, и Леонид № 1 — доброе, чувственное животное, все чаще начинал затемнять и занимать место странного существа — Леонида № 2. С этим вместе в воображении его все чаще начинала являться голая женщина — Тамара. Всеми чарами искушения она влекла его к себе и ее жгучие глаза виделись ему и при блеске солнца, и в темноте ночи.

— Да, мой друг, — заговорил снова Колодников, с ясной улыбкой поглядывая на деревья, окружающие поляну, — еще так недавно я считал достойным себя восседать только на бархатном ложе, в своем роскошном кабинете и, метаясь в душе, все измышлял о все больших удобствах и роскоши. Теперь, сидя на этом обручке, я чувствую в себе более радости, нежели властитель миллионов, измышляющий, как ему похитрее ограбить голяков. Злые мысли — наши палачи, но люди охотнее отдаются им и сами отпирают для себя двери в ад...

Леонид, радостно посматривая на отца, ответил:

— Вижу я, что дух торжествует, и я веселюсь, слушая вас. Чудо рождения не так удивительно, как ваше вторичное рождение от Отца-Духа. Однако, папаша, куда мы идем?

Задав этот вопрос, Леонид, с выражением ласковой шутливости в лице, продолжал:

— Мы, вечные странники в просторе вселенной, находясь в этой телесной оболочке, обессиливаем, когда недостаточно питаем ее, и потому после долгого скитания надо подумать, где жить и чем. Мы все в плену у господина тела, пока живем: надо думать об этой скверной скорлупе. Не о себе я думаю, а о вас.

Серафим Модестович тяжело вздохнул и отрицательно покачал головой.

— Ах, мой друг, оставь меня здесь и иди искать в жизни, чего в ней никто не находит: радости и счастья. Мое же счастье сознавать, что, расставшись с прошлым, я сливаюсь с Богом-природой. Мне так отрадно быть оторванным от мира и, живя здесь, чувствовать духа в себе. Я был долго су-

масшедшим, и чем более я безумствовал, тем люди более льстили мне, и никто не говорил: «Безумный Каин, зачем ты убиваешь Авелей своих?» Теперь, когда я здоров, не спрашивай, как я буду жить.

Он опустил свою белую голову и задумался.

## II

Растите духовно и помогайте расти другим.  
В этом вся жизнь.

*Л. Н. Толстой*

В это время в глубине леса показался высокий человек в лохмотьях, с бутылкой в руке. Из под лежащего блином на его голове картуза выбивались густые русые волосы, окаймлявшие его зверское лицо с выдающимися скулами, большим, загнутым над губами, как у хищной птицы, носом и большими, ярко светящимися, выпуклыми глазами. Он шел, подпрыгивая на голых, нестигающихся ногах, с гримасами на лице и каким-то подмигиванием своих нагло смотрящих глаз. За ним шел другой человек, невысокий, широкоплечий и спокойный.

— Го-го! — закричал гигант, приближаясь к поляне и не видя за деревьями сидящих там Колодниковых. — Волк бежит — земля дрожит.

— А ветер носит, — спокойно отозвался невысокий.

— Врешь! — закричал гигант и, подойдя к дереву, отбил о него горлышко бутылки. — А выпить надо.

Закинув голову, он стал пить, и слышно было, как водка бурлыкала, переливаясь в его горло.

Пока он пил, Серафим Модестович смотрел на него, с каждым моментом все более волнуясь. Бродяга этот был его бывший рабочий, дерзко вбежавший год назад в черную комнату Леонида.



— Этого человека я знал когда-то. Раз мне показалось, что он груб и дерзок, и я выгнал его, — шепотом проговорил старик.

— Выпить завсегда хорошее дело, — говорил широкоплечий бродяга, завистливо посматривая на гиганта. — И опять надо совесть умаслить, чтобы не бунтовала, проклятая.

— Молчать должна, известное дело, совесть-баба, — охриплым басом заговорил гигант и, протянув наполовину выпитую бутылку товарищу, гаркнул:

— Пей, говорю, веселей будет.

— Ты ее, старуху, ловко полоснул по горлу ножом, Волк, — с усмешкой сказал широкоплечий, приставляя к своим губам горлышко бутылки. — Не встанет до самого Страшного суда.

Глаза Волка сверкнули и выкатились и, подбоченясь, он со злобой заговорил:

— А какие судьи-то будут хоть и на Страшном суде? Насмотрелся я довольно на наших земных, так не поверю и в небесных. Одна только сила на земле, а правда-то, если и осталась где, то такая вышколенная ходит, что избитая, опаршивевшая собака. Видел я довольно <...>

Ты, Герасим, ничего не бойся — вот и будешь кавалер всех орденов, и на том, и на этом свете — почет. Правду ли надо сокрушить — по зубам ее, да и волок по земле, как ублюдка-собаку, или против Божьего закона пойти — ступи на него ногой и засмейся так, чтобы кровь застыла у всех от твоего смеха: все почитать будут, — верь мне. Поэтому, собственно, я и Волк, что все познал... Одно слово — вранье все и настоящий барин на земле — самый злейший — его благородие черт.

Окончив эти слова, он продолжал смотреть на Герасима нахальными, пьяными глазами, ожидая ответа от него, а Серафим Модестович, с побледневшим лицом, на которое точно упало темное облако и сделало его печальным и скорбным, склонился к Леониду и дрожащим шепотом проговорил:

— В рассуждениях этих безбожных я виноват. Запишу в

памяти своей: все грехи этого человека великий мировой разум возлагает на мой совесть,

— Совесть наша — рабыня мира. Теперь вы уже не раб, а сын света и разума, — шепотом ответил ему Леонид.

— Нет, сынок, нет, я бросил этого человека в когти дьявола, и в нем озлобление, тьма, ужас...

— Го-го-го! — вырвалось в это время из горла Волка, который стоял вытянувшись, расставив голые ноги и с выражением озлобления глядя в пространство. — Что мне старуха твоя! В кого хочешь нож всажу, и когда издыхать будет, мне забава, потому, собственно, что душу у меня вынули. Была она у меня раньше, птичка Божия, пищала все о светлой правде и плакала во мне, и так мне было плохо, что хоть помирай <...>

Вот с тех пор я и Волк, собственно. Вышел в лес — го-го!.. — расступись, земля, Волк бежит, ножом блестит, и вот, друг ты мой, кровь эта, что вода... го-го!

Он вынул нож и стал размахивать им над головой. Светлые глаза его, выкатившись, горели ненавистью и озлоблением, и широкий подбородок выступил вперед.

— Нож этот вложил в его руки я, — с мучением в лице и с тяжелым вздохом прошептал старый фабрикант.

— Папаша, не вы, а зло первородное, бывшее до вас.

— Я, мой друг, я. Не надевай очки на мои глаза. Я стар, стар, а только вот теперь ясно вижу. Хочу познать мир и сердце человека.

Между тем Волк, размахивавший ножом, стал пристально вглядываться в глубину леса и вдруг вскрикнул:

— Вишь ты, наши идут!

Минуту спустя к двум бродягам стала подходить толпа оборванных, полупьяных людей с веселыми, нагло смеющимися лицами <...>

— Эй, вы, рвань коричневая и кавалеры веревки, — закричал гигант, вытянувшись во весь рост, расставив голые ноги и показывая в смеющемся рте большие белые зубы. — Слушайте Волка: располагайтесь под сим дубом и пойте мне песню...

Вдруг он радостно подпрыгнул, заметив, что в руках многих из них были бутылки с водкой.

— Водка, го! Разливай, Порфиша — Волку на услаждение <...>

Он говорил громким, охриплым басом, покачиваясь плечами и стоя на расставленных голых ногах. Лицо его смеялось и моментами из раскрывшегося рта его вырывался глумливый, раскатистый хохот. Бродяги сидели, образовав вокруг него круг и громким смехом выражали ему свое одобрение. Вдруг он закричал, делаясь красным от увлечения и сверкнув глазами:

— Хорошее, братцы, это вольное разбойничье ремесло... Потому душа моя кипит... Горит серый Волк... <...> о-го! Серый Волк горит.

Глаза его горели злобой и гневом и лицо налилось кровью. Глядя на него и подраживая гримасами своего обезьяньего лица, Порфирий говорил:

— Выпей, полегчает. Зеленый змий всю Рассею охватил, значит, хвостом своим и залег в сердцах... синь-синий и горячий... а сердца веселит.

Гигант схватил бутылку и крикнул:

— Гори, гори, Волк, до Страшного суда!

Он приставил горлышко бутылки к губам и, закинув голову, стал пить, и это как бы послужило сигналом для общей попойки. Все стали пить, горланить и хохотать.

— Сынок мой, сынок, — шептал в это время Серафим Модестович, склонив к Леониду свое опечаленное, плачущее лицо, — понял ли ты весь ужас слов этих изгнанных мной людей? <...>

— Мир и покой духа вам нужен, отец мой, — с ясной кротостью отвечал Леонид.

— Нет, я не успокоюсь, — сказал старик, и слезы градом потекли из глаз его. — Вырой огромную могилу, глубокую, как бездна, зарой меня в нее — ты меня не успокоишь: мой дух будет носиться в огне мучений и языки истины будут жалить сердце мое и греметь надо мной: «Ты сеятель зла с руками, полными золота — вот оно возшло на ниве жизни твоей — убийства, слезы и проклятья».

В этот момент Волк, шатнувшись от выпитой им водки, опустился на землю, и развалившись в кругу своих товарищей, пьяным голосом сказал:

— Порфиша, говорю, пой, и гармошка чтоб играла. Вы, черти, подтягивайте! Душа моя горит. Залейте ее песней.

В руках Порфирия появилась гармония и, сидя на земле, он закинул голову, закатил глаза и, перебегая пальцами по клавишам гармонии, запел необыкновенно тоненьким, громким фальцетом:

Вот мчится тройка удалая  
По Волге-матушке зимой.

И едва он это окончил, десяток голосов зазвенели, завыли в воздухе:

Ямщик, уныло напевая,  
Качает буйной головой.

Гармония ныла, охала, стонала и тоненький голос Порфирия высоко уносился в воздух, точно раненая больная птица,— звенел, плакал, рассыпался колокольчиками.

Леонид слушал, и лицо его бледнело.

— Отец мой, как он поет! — прошептал он. — В груди этого человека большое сердце России, в котором слезы, тоска и жалобы.

Серафим Модестович сидел неподвижно, опустив белую голову на грудь и охватив колено руками. Глаза его задумчиво смотрели в одну точку.

— Может быть, это и так, — прошептал он машинально на слова Леонида.

— Слышите, как стонет в воздухе это больное сердце, плачет, рассыпается звенящими слезами, жалуясь Богу <...>

— <...> — опять как-то машинально прошептал старик, не двигаясь ни одним членом.

— А теперь вот в звуках песни мне рисуется убийца среди лесной чащи, с кандалами на ногах.

— Это возможно, — прошептал Серафим Модестович,

чуть-чуть вздрогнув, но продолжая смотреть неподвижно в одну точку <...>

Губы его расширились, как у ребенка, готовившегося заплакать, и по лицу потекли слезы...

В этот момент Волк приподнялся и крикнул:

— Эй, Порфиша, замолчи!..

Пенье оборвалось.

— Ты чего? — спросил Порфирий, глядя на гиганта.

— Как быдто говорит кто-то.

— Врешь, быть не может, — возразил Порфирий. — Птицы да звери одни в лесу этом.

— Братцы, — воскликнул вдруг один из бродяг, подымаясь с места, — вот помереть, слышал, что фабрикант наш в лесу этом скрывается со своим полуумным сынком.

— Эй, не ври! — крикнул Волк, приподымаясь на локоть. — Больно бью и кулак мой, что железный молот.

— А я-то вчера видел сам, — проговорил друтой бродяга, тоже приподымаясь на локоть и вызывающе глядя в глаза гиганта.

— Врешь! — раздалось со всех сторон.

— Слушайте, вы. Иду я вчера по лесу. Солнце заходить стало, красное, большое, и смотрю я на лучи, что по лесу словно мост золотой тянутся, люблюсь, и вот кажется мне, что на этом Божьем мосту старец наш, с белой бородой... фабрикант, значит... Стоит на коленях и на небо уставился.

— Дьяволы! — осиплым басом закричал гигант, вскакивая с места. — Гори, серый Волк, гори, пока не изловишь хозяина, черта старого. Пусть попадется только. На вершине самой высокой сосны повешу, чтобы только вороны могли расклеивать старое тело... Кости же его пусть болтаются до Страшного суда... <...>

— Правильно! — раздались со всех сторон голоса, и бродяги, снова усевшись, стали пить и совещаться между собой.

— Суд приговорил меня к смерти, — тихо произнес Серафим Модестович, подымаясь с места, и лицо его сделалось спокойным, важным и светлым. — Прощай, сынок милый, прощай.

Он склонился к сыну и поцеловал его. Леонид смотрел на лицо отца, радуясь и восхищаясь, и уверенно, с кроткой улыбкой, проговорил:

— Да, идите к ним, отец мой, — Леонид клянется вам: теперь вас не посмеет тронуть ни человек, ни зверь лесной.

— Нет, мой друг, пусть они совершат приговор свой, — ответил старик и, быстро направившись к толпе, остановился и громко сказал:

— Преступник пред вами.

Бродяги вздрогнули и изумленно расширившимися глазами стали неподвижно смотреть на своего бывшего фабриканта. Они видели и, не веря глазам своим, переглянулись друг с другом и потом снова все глаза уставились на Серафима Модестовича.

— Вы хотели убить меня, — судьи, имеющие право судить, как и все <...> на земле, и я явился к вам, чтобы вы исполнили свой приговор.

Бродяги продолжали смотреть, не двигаясь, одинаково пораженные и его словами, и необыкновенным выражением лица его, — какая-то сила, исходя из него, проникала в их души, разбивая все их злые чувства.

— Что ж молчите вы, братья мои! — возгласил снова Колодников и в глазах его сверкнули слезы, — хватайте меня <...>

Все молчали, и только спустя немного Герасим, глядя на Волка, тихо сказал:

— И ты, Волк, совсем ошалел. Глаза только таращишь, как и мы.

И едва нарушилось молчание, как на лице Порфирия все нервы дрогнули и он внезапно закричал:

— Барин, Серафим Модестович!.. Да вы ли это так говорите с нами, разбойниками? Мы точно во сне...

Старик сделал шаг вперед и, кланяясь всем, низко наклонил свою белую голову.

— Раб Божий Серафим, да.

Он выпрямился и продолжал:

— Как и вы все — сын одного небесного Хозяина, и как у нас всех один общий отец — там...

Он высоко поднял руку.

— И одна общая мать, — земля, то мы все — братья. Казните же брата вашего, забывшего, что есть суд на земле и суд на небе и <...>

Лица бродяг дрогнули. Сила любви, звучащая в голосе старика, всколебала какие-то давно спавшие в них чувства и все они поднялись, и слезы, стесняя дыхание их, сверкнули из глаз. Колодников продолжал <...>

— Теперь я перед вами, бессильный, одинокий старец, делавший все это, чтобы увеличить мешки золота своего, и потому исполните ваш приговор, — убейте меня.

Бродяги начали подыматься с своих мест. Теснившиеся в груди их чувства стали вырываться воплями и слезами и с разных сторон слышались слова:

— Барин, Серафим Модестович, не можем, мы не смеем...

Один только Герасим, оставшись спокойным, с усмешкой сказал гиганту:

— Ты, Волк, много хвастал и тебе бы вот и начинать.

Порфирий дико блеснувшими глазами взглянул на Волка и крикнул:

— Посмей только, Волк проклятый!

Гигант вспыхнул и глаза его засверкали и выкатились.

— Дьявол! Против меня, Волка! Опять зажег мое сердце... Коли так, молись, старичок, убью!

В руках его сверкнул нож и он поднял его над головой Колодникова.

— За тебя, мой друг, молюсь, — совершенно спокойно проговорил Серафим Модестович и лицо его сделалось еще более светлым. — Все твои преступления пусть Творец возложит на меня и все твои слезы пусть наполнят мое сердце. Я кричу Богу...

Он поднял голову и, глядя на небо, проговорил:

— Кровь мою, Хозяин миров, прости человеку этому.

Он повернулся к гиганту и, указывая на грудь свою, сказал:

— Бей.

Волк смотрел на него растерянными глазами и отбросил нож от себя.

— Не горит мое сердце больше... Вы, барин, погасили навсегда огонь мой...

Он опустился на землю к ногам старика и сокрушенно окончил:

— Больше я не Волк.

---

В отдалении показались два существа, — Ласточкин и Роза. Последняя подошла к Леониду и сказала:

— Я пришла к вам жить в этом лесу, как и вы. Буду ухаживать за вами и варить вам обед. Как хотите, но я не уйду.

## ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

С того времени, как по комнатам дома семьи Колодникова прогремели пророчества изгнанника-отца, с того вечера, как всем членам семьи в звуках бури, грома и в словах Леонида слышались голоса и игра невидимых музыкантов, все стали смотреть на наш материальный мир совершенно иными глазами; он казался им странным, одухотворенным, загадочным и наполненным всевозможными чудесными явлениями, которые прежде им были невидимы, а теперь — их чувства утончились — и они стали их замечать. Действительно ли это было так или такие видения и слышания были результатом болезненного состояния — галлюцинации — автор не берется решить и оставляет вопрос открытым. Как бы ни было, но видения эти в них усиливались их взаимными бессознательными внушениями, причем пугливость одного переходила и заражала другого, и это совершалось тем с большей силой, что в глубине души каждый из них чувствовал укоры совести, вызывавшие смуты в душе. Они, конечно, могли различными софизмами



убедить себя, что отобрать все богатства от настоящего собственника, взять все себе, предоставив старику блуждать в лесах и степях, было не только правом, но даже обязанностью. Так говорил каждому из них вечно лгуний их адвокат — здоровый практический ум, но совесть, своими сотнями языков, нашептывала им совершенно иное, и это усиливало их новые понимания мира, как места вечных тайн, загадок, присутствия невидимого, духовного под покровом всегда видимой грубой материи. Борьба эта между доводами здорового ума, ясно доказывающего, что нравственность — вздор, что наслаждения — единственный смысл жизни, что Бог — выдумка, высшая полицейская власть, пугало, посаженное на небо — борьба между всем этим и внутренним зрением, начинающим видеть истинное под маской призраков и тайное за завесой видимого, достигла особенной силы и мучительности в душе Зои и Тамары. Это понятно. Обе они, издеваясь над добром и моралью, не только отошли во мрак ночи, но провозгласили себя поклонницами дьявола. И вот, заблудившись в лесу жизни и скатившись в пропасть, они слышали голоса иного мира и призраки иного царства. Ужас их был настолько велик, насколько глубока была пропасть, отделяющая зло и дьявола от добра и Бога. Пугливость не оставляла их, в душе шевелилось безнадежное отчаяние и, чтобы заглушить его, они предавались всякого рода оргиям. Скоро стало обнаруживаться, что они не могли оставаться одна без другой. Зоя только под влиянием Тамары начинала смело и со смехом смотреть на свое пребывание в омуте всяких пороков. Только находясь вдвоем, они рассеивали свои галлюцинации и подбодряли одна другую к нового рода, еще не испробованным порокам. В то же время, влечение Зои к Тамаре росло, переходя в какое-то бурное обожание, в желание бесконечно обнимать и целовать ее. Только находясь вдвоем, видя, как обе они вместе скатываются в пропасть, измеряя глубину их обоюдного падения, они заражали своим восторгом и осмеянием морали и добра одна другую и хохотали без умолку, особенным смехом, звучащим чувственностью и болезнью души. Разговаривали они теперь своим особенным язы-

ком — декадентским: чем меньше понимали себя, тем с большим старанием свои мысли выливали в особые формы, уже совершенно непонятные. Несмотря на все это, Тамара постоянно вспоминала о ночи, проведенной в черной комнате. В воображении ее появлялось два Леонида, и это страшно пугало ее, но несмотря на страх, ее неудержимо влекло сорвать с головы Леонида венец чистоты и заставить его броситься на ее тело.

Так жили Тамара и Зоя. Что же касается до сестры последней, то, несмотря на ее холодный, практический ум, она тоже стала испытывать тревоги, а иногда даже слышать какие-то постукивания и голоса. Все это вызывалось в ней влиянием общего настроения и в особенности тревогами и видениями ее матери. Анна Богдановна сделалась странной и, всех пугая своими предсказаниями, в то же время стала считать себя великой преступницей. По ее словам, за ней ходили призраки и мрачными голосами напоминали о ее прошлых годах. Она даже прониклась уверенностью, что миллионы им нарочно дали духи зла для их мученичества и служения дьяволу. Живое подтверждение этой мысли она видела в ее старшем сыне. Капитон действительно с каждым днем неудержимо падал, в светлых глазах его горела какая-то неуголимая жажда, что-то дикое и иногда мрачное. Постоянные наслаждения убивали его, вытягивая все соки его организма, а вечное пьянство наполняло галлюцинациями его воображение. Всякая воля в нем пропадала и потому он очень легко заражался общей пугливостью и верой, что по комнатам их большого дома блуждают тени умерших.

## I

Капитон сидел в кресле в красном шелковом халате, с бледным, изнуренным лицом и закинув голову. Вокруг него на диване и креслах сидели девицы и ближе всех к нему — Анетта, все в желтых или красных балахонах, и в рас-

пущенных волосах их были вплетены цветы. Против хозяина на огромном столе были расставлены всевозможные закуски, бутылки с вином и бокалы, и все это, заливаемое светом люстры, сверкало и искрилось.

Капитон сидел неподвижно, как мумия, уставив глаза в потолок. Понимая, что его надо расшевелить, Анетта, подойдя к нему сзади, одела на его голову свою шляпу и сказала:

— Тебе очень к лицу эта шляпа, котик.

Он видел себя в большом зеркале и, поворачивая в разные стороны голову, говорил:

— Да, кажется, ничего себе. Мужской костюм мою наружность делает грубой. А так я совсем царь Сарданапал. В этом наряде я чувствую в себе деву.

— Распутную, — сказала Анетта, продолжая убирать его голову Б ленты и перья и поворачивая ее во все стороны с такой бесцеремонностью, как если бы перед ней был манекен.

— Да, немножко, — ответил Капитон и вдруг захохотал.

Смех его внезапно оборвался и, сделавшись вдруг чрезвычайно серьезным, он проговорил:

— Я вдыхаю в себя женщину, чувствую аромат розового женского тела, уплываю в розовом на качелях, и иголки розовых поцелуев пробегают в теле моем, образуя пурпуровую звезду в душе.

Окончив это, он стал смотреть на Анетту с улыбочкой, которая как бы говорила: «Здорово сказано — а!»

— Ха-ха ха! — захохотала она, откидывая голову. — Звезда в душе пурпуровая, поцелуи розовые, и на розовых качелях укачиваешься, — счастливцев. Только вот, хоть тресни, ничего не разберешь.

Капитон с серьезным видом отвечал:

— Мы, декаденты, не заботимся, чтобы нас понимали, и когда говорим — летим, обоняем фразы свои, как цветы, видим их образы. Твой розовый язычок — колокольчик души твоей и немного глуп, но, когда он в моих губах, то говорит, как умный декадент — ощущениями, пробегая бархатными поцелуями во всем моем существе.

В это время девушка, сидя близ круглого стола, на котором стояла шкатулка, наполненная ассигнациями и золотыми монетами, держа над своей головой несколько бумажек, громко сказала:

— Котик мой, подари мне это.

Капитон смотрел на нее, прищулив глаза и с хитрой улыбочкой.

— Бери деньги, — решительно ответил Капитон и захотал. — Мой папашенька блуждает в лесу и деньги для меня теперь — щепки. Вот чудак, в небесах он отыскивает теперь Хозяина и в своей голове — ответа, зачем копил деньги. Молчит Хозяин, смотрят загадочно и безмолвно глазки небесные — звездочки. Вот в уме моем и застучал молоточек: все суета сует, мудрец и дурак — одинаковые шуты под небом и потому во мне и запылала блудница в красном, и засмеялась лунным, и жизнь моя — оргия на мешках с золотом.

Лицо его стало серьезным, глаза расширились и стали дикими и, закидывая голову на спинку кресла, он вдруг воскликнул:

— Все в могиле будем!

Воцарилось молчание.

— Так подари и мне, — воскликнула вдруг другая девушка, шелестя в воздухе выхваченными из шкатулки бумажками. — Вот это можно?

— Бери, — глухо проговорил он, продолжая расширившимися страшными глазами смотреть в потолок.

— Что ты так страшно смотришь? — испуганно спросила Анетта.

Он не отвечал. В душе его происходила работа, но, так как он очень много пил, то мысли его принимали вид картин, образов, очень близких к видениям и часто очень мрачных. Анетте стало скучно. Она выбрала из шкатулки пачку ассигнаций и проговорила:

— Ты очень добрый и я не хочу этим злоупотреблять. — Она положила деньги в карман. — Но мне опять нужно заплатить модистке, а ты очень богат и потому...

Она что-то ему прошептала.

— Хочешь?

Он продолжал сидеть неподвижно, на исхудалом лице мучительно дрогнули какие-то нервы и, глядя вверх, он проговорил таким голосом, точно вместо него говорил кто-то другой:

— Да, надо чувствовать, что купаешься в красном, а уплываешь в фиолетовом.

Анетта слегка вздрогнула, но, желая попасть в тон его мыслей, все-таки с улыбкой сказала:

— А лунное будет нашим прохладным опахалом.

Он удивленно посмотрел на нее.

— Да, это идея... Только...

Он стал испуганно смотреть в одну точку.

— Да что с тобой? — воскликнула Анетта.

— В этом доме наши воздушные гости.

— Опять?

Лицо Капитона сделалось страдальческим и, когда он стал говорить, то от его глаз ко рту задвигались какие-то больные нервы и голос сделался плачущим.

— Папашенька и брат наводнили этот дом невидимыми существами, и в моем уме, посреди красного сияния, развертываются черные знамена и из-за них маленькое личико с рожками, и так хохочет.

Он снова стал смотреть в потолок.

— Ты, котик, поменьше бы пил, — сказала Анетта.

Какая-то девица тревожно проговорила:

— Нет, в этом доме невидимые существа.

Капитон продолжал смотреть в одну точку.

— Но там, за гробом, духи или пустота — вот вопрос. Я часто стал думать об этом.

Он вдруг повернулся к присутствующим и заволновался.

— В этом доме невидимые музыканты. Они поют, играют, хохочут, воют.

Девицы испуганно поднялись.

— Музыканты?

— Да, астральные люди, — ответил он.

— Что? — воскликнула Анетта.

— Существа, невидимые глазами.

И он с полной уверенностью сказал:

— Без сомнения, они и теперь здесь.

— Ты пугаешь нас, — сказала Анетта.

— Человечки эти из могил? — слышался чей-то вопрос.

— Конечно, — уверенно ответил Капитон и, подойдя к столу, выпил несколько рюмок одна за другой какого-то крепчайшего напитка и опустился в кресло. Голова его закружилась и голос сделался жалобным и тоскливым.

— Когда я в розовом блаженстве, они часто тревожат меня, делают стуки, шевелят одеялом, трещат, точно маленькие косточки ломают. В такое время, когда душа замирает в трепетании, с того света смотрят шпионы — прошу покорно. Знаю, что они здесь прохаживаются, но не хочу их знать... Вот, слышите?

Он поднял палец над головой и стал прислушиваться, и это так подействовало на девиц, что все они замерли на месте, стараясь уловить какие-то звуки. Вдруг всем показалось, что посуда зазвенела, бутылки качнулись и над столом пронеслось что-то темное и бесформенное.

Охваченные ужасом, все продолжали стоять неподвижно.

— Этот дом заколдован! — вскричала одна из девиц и бросилась к двери. Вслед за ней побежали и другие.

— Нет, нет, нет! — кричал Капитон, становясь у дверей и стараясь их удержать. — Да, эти господа здесь квартируют, но мы будем пить. Я окружен шпионами. Мысль, что они смотрят, часто рассеивает всякое веселье в душе моей. Знаете ли, до чего это страшно: иногда мне хочется убить себя. Вот отчего будем пить и танцевать канканчик: черно-холодное уползает и в душе развевается пурпурно-солнечное. Танцуем.

Он шагнул к середине комнаты, но девушки, расхватав из шкатулки деньги, с визгом и писком убежали. Посмотрев вокруг себя и никого не видя, Капитон задрожал от страха и, чтобы рассеять страх, подошел к столу и стал пить различные ликеры — рюмка за рюмкой. Шатнувшись от опьянения, он налил бокал шампанского и поднес уже его

к своему рту, как вдруг увидел руку, протянувшуюся со своим бокалом к его.

— Твое здоровье!..

Бокал зазвенел и, выпав из его рук, снова зазвенел, разбившись в куски. Ноги Капитона подкосились и он стал падать.

## II

— Ты мой бог, мой кумир, — говорила Зоя, стоя посреди огромной, слабо освещенной залы и целуя Тамару. — Твоя красота влечет и ослепляет. Когда я на тебя смотрю, внутри меня зажигается огонь и искры его наполняют струнным оркестром грудь мою. Губы мои поют поцелуи, поцелуи-молитвы, и они такие страстные, как крики темной бездны. Какая ты красавица! Небо смеется в глазах твоих и упоительная отравы в твоих губах. Мой бог!

С последним восклицанием, Зоя обвила руками шею своей подруги и голова Тамары упала на ее плечо. Лицо последней отличалось теперь какой-то прозрачной бледностью и черные глаза, казалось, сделались еще больше.

— Ты меня всегда так пугаешь. Оставь!

Зоя дико смотрела на нее и вдруг стала испуганно смотреть в пространство.

— Ты слышишь, Тамарочка?

Тамара ничего не слышала, но ужас Зои перешел на нее, и она дрогнувшим голосом проговорила:

— Хохочет она опять!

— Да, смерть. С того дня, как прозвучали в этом доме проклятия, я не узнаю себя. Как будто в меня кто-то вошел, пугливый и страшный, и когда мы блаженствуем, слышу в себе голос: «Оглянись, смерть за тобой».

Она стала медленно поворачивать голову, лицо ее с каждым мигом все более бледнело и вдруг, содрогнувшись, <она> стала неподвижно смотреть в одну точку. Ей казалось, что какая-то фигура, прозрачная и легкая, как воздух,

скользнула вдоль стены и остановилась, глядя на нее сверкающими, мертвыми глазами.

Зоя стала видеть всякие призраки. Воображение, расстроенное картинками оргий, отуманенное различными ликерами и ядами, вспыхивало при всяком страхе ее, как пламя, на фоне которого вырисовывались всякие фигуры. После того, как медиумической силой Леонида она увидела призрак смерти, она уже не имела сил рассеивать свои иллюзии. От сатаны к Богу — огромная пропасть: это подымало в ней отчаяние, заставляя искать забвения в чувственных оргиях и всякого рода наркозах, и все это отнимало от нее всякую волю бороться с своими видениями. Даже декадентский язык, которым она выражала свои ужасы, еще более уносил ее от реального мира в мир, созданный ею самой. Тамара не всегда видела то, что Зоя. В воображении ее постоянно носился Леонид в двух образах, и это страшно пугало ее. Несмотря на это, она всегда поддерживала страхи Зои: помимо коварных целей своих, какая-то сила влекла ее к ужасам, а выражать это необычайным, красочным языком доставляло ей жуткое, тонкое наслаждение.

— Тамарочка, смотри, вон она, вон! — воскликнула Зоя вибрирующим, как струна, голосом. — Смотри, стоит, сверкая желтым и факельно-могильное горит в орбитах ее. Холодные иглы пронизывают и сердце мое, и мозг.

Тамара стала пристально вглядываться. Во многих местах залы дрожали полосы лунного света и вдруг она увидела... при этом раздались какие-то голоса и прежние, далекие звуки органа.

— Да, вижу, вижу... Молитвенно-органный хохот льется из ее уст и факел смерти в ее руках. Видишь ты?

— И факел озаряет желто-саванным светом ее лицо.

С выражением отчаяния Зоя заложила руки за голову. И сказала с судорогой, пробежавшей по бледным губам:

— Да, она, смерть, вопит во мне голосом могильно-черным: «Умрешь».

— Зоичка, умереть готова с тобой и я.

С этими словами Тамара нежно обвила руками шею Зои и добавила:



— Умрем вместе.

Между ними часто возобновлялся разговор о том, что они должны умереть. Чувственные наслаждения, которым они предавались, и в особенности Зоя, временами образовывали как бы пустоту — пропадали всякие желания и чувствовалась только одна боль и равнодушие — и в этой пустоте вырисовывался вопрос: что же дальше? Ответа не получалось и, так как они сами понимали, что должен был быть предел такой жизни, а изменить ее значило искать света и Бога, то за гранью наслаждений им рисовалась страшная, холодная смерть. Чувственные опьянения и смерть сближались, рождались между собой, и в первых часто чувствовался запах трупа и разложения.

— Смотри, как она светится! — проговорила Тамара, неподвижно глядя в пространство и держа руки на плечах Зои.

— Смотрю — и желто-холодное и змеино-скользкое ползет во внутренности моей с зелено-сверкающими глазами и, переворачиваясь, хохочет, и я слышу голос: «Желания неутолимые пылают в сердцах ваших и сколько ни упивайтесь восторгами с юношами в черном, огонь будет вас жечь и не погаснет». Вечной жаждой томлюсь я, Тamarочка. Груди мои уплывают в желаниях, жаром пышет красно-горючее из уст, а успокоения нет. Среди мигнов блаженства я часто вздрагиваю: рисуется бездна и там бледная смерть...

Она снова стала смотреть в одну точку.

— Вон она, смотри же... могильным веет и желтым улыбается, умереть надо. Мы выпили вино восторгов в желаниях яда сладко-горючего, но смерть сторожит.

Теперь Тамаре казалось, что она ясно видит бледно-желтоватую фигуру, скользящую от одной колонны к другой, и ужас ее не сопровождался больше мыслью, что это ей только кажется, и чувством удивления: видела же она одновременно двух Леонидов и Медею, направившую в нее свой кинжал.

— Вижу, вижу, вижу — вот она! Слышишь ты, как желтеют в челюстях смех и щелканье?

— О-о! — воскликнула Зоя, холодея от ужаса и, благодаря внушению, слыша тихий, зловещий смех.

— Но, Зоичка, пойдем отсюда... Там ждут нас рабы желаний наших — мужчины, в одеждах черно-похоронных...

Между тем, Зоя стала смотреть на прежнее место в зале и, нахмурив брови и стиснув зубы так, что между губами виднелась их белая полоска, проговорила, покачивая головой:

— Мы тебя перехитрим, проклятый призрак смерти. Идем, Тamarочка, и потонем в блаженстве.

Тамара, глядя на нее, засмеялась жутким смехом и с расширившимися глазами выразительно произнесла:

— Мой демон на развеянных крыльях унесет нас в свой бездну, и смерть, сторожащую нас, опрокинет ударом крыла.

— Ха-ха-ха! — засмеялась Зоя болезненным смехом и вслед за этим холод ужаса снова охватил все ее существо: ей ясно послышался зловещий холодный хохот, пронесшийся под потолком.

— Тамарочка, она хохочет! — воскликнула Зоя, в испуге бросаясь на шею Тамары. — Бежим отсюда.

Обе они, не выпуская друг друга из объятий, побежали к двери.

---

Из двери, за которой находилась маленькая комната, вышли Глафира и ее муж, высокий, толстый господин и Евгений Филиппович. Идя к середине залы, Глафира вдруг обернулась и сказала высокому человеку:

— Доктор, вы слышали?

— Все, от слова до слова.

— Согласитесь, это ужасно.

— Да, признаюсь, это почти полное безумие, выросшее на почве эротомании и веры в сверхъестественное. Давно это они?

— Ох, не знаю. Я вижу только, что их безумие растет с каждым днем.

— Эта красавица — кто она такая? — быстро спросил доктор, и видно было, как его глаза из-под стекол очков пытливо уставились на лицо Глафиры.

— Эта особа — армянка и очень загадочное существо, но я о ней знаю очень мало.

— Мне вот кажется, что она очень хитра, — сказал доктор.

— Не сомневаюсь, страшно коварна, — быстро отвечала Глафира, и видно было, что так говорить ей доставляет живейшую радость. Глядя уже на мужа, она продолжала: — Думаю я еще: кто эти две дамы-монахини, которые так часто бываю у сестры по ночам?

Илья Петрович, ничего не отвечая, пожал только плечами, и Глафира обратилась уже было снова к доктору, как вдруг Евгений Филиппович громко, озлобленно захохотал.

— Что с вами? — воскликнула Глафира.

Он продолжал хохотать, но уже беззвучным, больным смехом и его лицо было страшно искажено выражением отчаяния и озлобления — одновременно. Это был род какого-то нервного припадка. Видя, что на него все смотрят, он, вдруг перестав смеяться, поднялся, по лицу его текли слезы и, глядя на Глафиру, он тихо проговорил:

— Эти дамы изменяют свой пол, превращаясь в мужчин, как только наступает ночь... Злополучный я человек! Я должен все переносить, все терпеть, хотя в груди моей огонь и слезы. Я теряю всякое самолюбие и уже не знаю, что ужаснее: терпеть молча или кричать в чувстве моего бесильного бешенства.

Глафира быстро подошла к нему и, глядя на него с презрительным состраданием, тихо, но резко проговорила:

— Не будьте тряпкой, а мужчиной с волей и самолюбием. С Зоей надо уметь поступать решительно и смело, и пусть она поймет, что вы ее муж, а не согладатай ее пороков.

— Зачем женился я на ней! — горестно воскликнул Евгений Филиппович, уклоняясь от ответа на слова Глафиры и, с выражением испуга в лице, отходя от нее в глубину залы.

— Тряпка! — резко проговорила Глафира, гневно топнув ногой.

Постояв на месте, она задумалась и вдруг с озабоченным видом обратилась к высокому господину:

— Доктор, я знаю, вы будете смеяться, и все-таки я решаюсь вам задать вопрос вот какой: уверены ли вы вполне, что в воздухе, в пространстве не существует никаких живых существ, невидимых глазами...

Она не окончила, так как доктор, нагнув голову и блистая стеклами своих очков, стал смотреть на нее с видом самой уничтожающей иронии, не считая нужным даже ответить ей что-нибудь на это.

— Глафирочка, — воскликнул ее супруг, — мне будет очень прискорбно, если и ты с твоим здоровым умом вступишь на путь мистицизма, в это болото, в котором увязло уже так много членов семьи несчастного старца Серафима.

Она слушала его с опущенной головой, но, когда он окончил, она вдруг подняла голову и лицо ее сделалось красным и злым.

— Ты очень упрям, надо согласиться, что упрям страшно, и за это я тебя обвиняю в том, в чем ты меня — в суеверии. Сегодня ночью ты сам слышал чьи-то шаги и, боязливо проговорив: «Кто-то идет», зажег свечу и обошел всю нашу половину дома, но все двери оказались закрытыми. Ты лежал в постели с побледневшими губами и все шептал: «Странно». Так как это повторяется часто, то по необходимости приходится думать, что в нашем доме обитают невидимые квартиранты.

Илья Петрович, видя, что высокий господин, посматривая то на Глафиру, то на него, насмешливо улыбается, повернулся к жене и с сарказмом сказал:

— В таком случае, они должны платить за помещение. Иначе я буду думать, что этот народ просто хулиганы.

— Остротами ты ничего не объяснишь и потому, мой милый, не трудись напрасно, — спокойно отвечала Глафира и повернулась к доктору. Она побаивалась его улыбки и напрасно: он был ловкий дипломат и прекрасно понимал, что его улыбка говорила: «Я знаю очень много и так прези-

раю ваше невежество, что не желаю вам даже возражать». Очевидно, что улыбаться было дипломатичнее, нежели говорить: улыбка давала понять о скрытых сокровищах в недрах докторской головы, а между тем, если бы он стал выкладывать свои знания, то все увидели бы, что там, кроме старого мусора и мелкой ходячей монеты, ничего больше и нет.

— Доктор, — говорила Глафира, — я вовсе не суеверна, но все, что я видела в последний год, заставило меня прочитывать книги этих господ теософов и оккультистов, и тревожное настроение мое растет: я не могу не понимать, что в природе скрыты незримые силы, находящиеся вне области знаний. Европа и Америка заняты разрешением всех этих вопросов и желанием проникнуть в тайны невидимого мира, и невозможно думать, чтобы столько умов было одержимо бредом.

— Идиоты! — воскликнул Илья Петрович, подстрекаемый иронической и презрительной улыбкой высокого человека.

— Сознайся, ты это говоришь так себе, по чувству умственной гордости какой-то...

— Такая гордость — очень почтенное чувство, — отвечал он, высоко подняв голову. — Мы создали столько чудес силой знания положительных физических законов, что стыдно бледнеть перед выходцами из того света. Мы не только носимся по земле, но и летаем по воздуху, как кондоры или орлы. Крылатые люди действительно существуют, но только не в астральном царстве, а в том, в котором живем. Могушество человека в нем самом, а богатство — его сильнейший рычаг, и потому задача моей жизни быть колоссально богатым, и я буду идти к этой дели, хотя бы мне пришлось обратиться в астральных существ еще целый полк фабричных.

— О, ты у меня молодец, — сказала Глафира, любуясь им, — но только, мой друг, на фабрике беспокойно: рабочие волнуются, потому что ты слишком уменьшил заработную плату.

Разговаривая таким образом, все медленно направились к двери, и на ходу Илья Петрович проговорил:

— Они волнуются — вот ослы! Воображают, что бунтом заставят меня быть щедрее. Да ни за что в мире!

В зале остался только Евгений Филиппович. Убедившись, что все ушли, он быстро стал ходить по комнате с выражением горя и озлобления в лице и, хотя по щекам его текли слезы, его руки сжимались в кулаки.

— Негодяй! Да, я мерзавец, природенный скот, женившийся, как дурак, привлеченный красивым телом и деньгами и теперь разгуливающий, как олень с бесчисленными рогами на лбу. Посмотрите на себя в зеркало, Евгений Филиппович, и полюбуйте, какая у вас чудная рогатая голова. О!..

Он смотрел на себя в громадное зеркало и смеялся громким смехом.

— Прекрасно! Чудные, великолепные рога с идущими бесчисленными изгибами к самому небу... Ха-ха-ха! Мне хочется ее убить... потом я буду целовать, целовать это распутное, мертвое тело, которое никогда не было моим... Какое оскорбление, какая жгучая насмешка надо мной и какая во мне жгучая жажда обладать ею!..

Он стоял среди комнаты бледный, озлобленный, но с текущими из глаз слезами.

## ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ

Рабочие с каждым днем волновались все сильнее, и не потому, что им уменьшили заработную плату, а по причине совершенно иной: разнесся слух, что их бывший хозяин блуждает в лесу, изгнанный своими дочерьми и мужем Глафиры. Прежде его боялись, потом, когда он стал проявлять необыкновенную доброту, перестали бояться, но смотрели на него с большим недоумением, не понимая его и не зная, чем объяснить происшедшую в нем перемену, и только когда он превратился в бездомного странника, сердца

внезапно раскрылись и все заговорили о нем как о чудесном старце, ищущем на земле царства правды и любви. Сострадание к нему и горячие чувства росли с каждым днем. Всему этому способствовали также и слухи о мертвых, выходящих из могил по повелению загадочного человека — сына фабриканта, о том, что он одним словом своим вызвал бурю и молнию и заставил играть в трубы и бубны невидимых, находящихся в воздухе музыкантов. Разговоры такие расходились далеко за пределы фабрики и, достигая слуха членов семьи изгнанного старика, усиливали волнение, пугливость и мистические мысли каждого из них. Скоро все в семье фабриканта стали поговаривать, что из этого дома надо уехать, что все равно он в скором времени или провалится, или сгорит, и эти последние слова говорились вследствие какого-то непреодолимого предчувствия, которое шепелилось в каждом из них.

---

В один из вечеров, когда за окнами бушевали рабочие, в зал вошли Анна Богдановна и за нею Глафира.

— Вы, мама, только плачете.

— Да, это мне только и осталось — рыдать безутешно.

Она подняла голову и продолжала густым, звучащим как орган голосом:

— Гибнет наш дом и чувствую я, что гибель висит над каждым из нас. Черный судия не отходит от меня и крест вываливается из рук, когда я хочу изгнать его. Он угрожающе кивает головой и шепчет мне, что все мы погибнем, и вот гибнет Зоя от непонятной ужасной болезни, гибнет Капитон, утопая в разврате и позволяя раскрадывать свое наследство. Оргии и пьянство делают его таким же безумным, как и Зоя. Духи-мстители поднялись из гробов и мстят нам за то, что в богатстве мы видим единственного бога на земле, достойного восхваления. Гибель висит над нами. О,

прав ты был, Серафим, когда пожелал раздать свое богатство, чтобы хотя этим вызвать милость духов — мстителей наших.

Она со страхом обвела огромную залу испуганными глазами и подняла дрожащие руки.

— Вот они в этих комнатах слушают меня и шепчут: «Гибель вас ожидает, детей Серафима».

В голосе ее послышалось рыдание, но среди слез, душивших ее, звучало негодование.

— Несчастные! Вы заставили отца уйти от вас в лес, чтобы он там убедился, что звери добрее вас.

По губам Глафиры прошла гримаса неудовольствия.

— Вы вечно упрекаете, мама, это несносно.

— Упрекаю, да, и не я одна, а и эти незримые мстители. Муж твой...

Глафира с холодной злостью резко перебила:

— Оставьте мужа моего.

— Оставить, о, нет! — возразила Анна Богдановна и лицо ее сделалось строгим и гневным. — Ведь я понимаю, что это его выдумка и его отца — сделаться опекуном моего бедного Серафима. Опекун! Какая подлость! И мы все согласились на это, и вы — его дети.

— Надо было спасти богатство наше и за что вы тут вините моего мужа, я не знаю.

Анна Богдановна больше не возражала: она сидела, вытянув шею и прислушиваясь к шуму голосов, доносящихся из фабрики.

— Слышишь ты, гул какой?

— Да.

— Волнуется фабрика. Отчего это, объясни.

Глафира вспыхнула, но, стараясь быть спокойной, с наружным хладнокровием отвечала:

— Отец скитается в лесу с своим чудесным сынком не от мира сего, и неудивительно, что рабочие ходят в лес взглянуть на прежнего своего владыку. Можно только вообразить, какие речи раздаются из уст отца под лесными кущами и с каким благоговением внимает ему фабричная чернь. Очень понятно, что это их волнует.



Анна Богдановна тихо и с таинственным видом ответила:

— Ты забыла еще кое-что: их волнуют духи-мстители.

Глафира чуть заметно вздрогнула, но, стараясь побороть свое неприятное чувство, твердо ответила:

— Вздор, мама.

В этот момент шум сотен голосов внезапно усилился, так что казалось, что рабочие, выйдя из фабрики сплошной толпой, пошли по двору к дому.

— Вот они идут, — сказала Анна Богдановна.

— Кто?

Лицо Глафиры побледнело и одновременно с этим сделалось злым.

В этот момент дверь с шумом раскрылась и в комнату вошли Петр Артамонович и его сын. Оба они были сильно взволнованы и, не замечая Анны Богдановны и Глафиры, направились вдоль залы к противоположной двери. Старик был красен от волнения и сейчас же заговорил:

— Полегче, сынок. Гневливость свою замкни в сердце на замок. Ни к чему она. Кипятиться-то всякий сумеет, да толк-то какой в этом?

Илья Петрович приостановился и возмущенно сказал:

— Эти олухи кричат, что не я хозяин.

— Глупышка ты, — вот что, — возразил отец мужа Глафиры с лукавой и вместе с этим радостной усмешкой. — Выжди, говорю. Помилуй Бог, двенадцать миллиончиков — все твои будут, потому такой уже ядовитый ветерок повеял. Один ты останешься с супругой.

Старик полузакрыв глаза, хитро улыбаясь, и захохотал.

Не только Анна Богдановна, но и Глафира была неприятно поражена смехом управляющего, а также его последними словами. Очевидно, он полагал, что всех членов дома фабриканта в близком будущем ожидает гибель.

— Слушайте, орут как, — тревожно проговорил Илья Петрович, прислушиваясь к крикам толпы, доносившимся со двора, и быстро пошел к двери.

— Нет, как угодно, а я должен их обуздать.

Старик пошел было за сыном, но в то время, как пос-

ледний скрылся, он услышал за собой голос, позвавший его по имени, и остановившись обернулся.

— Анна Богдановна, матушка, не приметил-то я вас, — заговорил старик, направляясь к жене фабриканта, и весь вид его, может быть, в силу долголетней привычки, сделался смиренным и ласковым. — Глаза плохо видеть стали, что поделаешь?

— Фабричные волнуются и мужа зовут...

— Старого господина? — переспросил он и рассмеялся ласковым смехом. — Я сам рад был бы, если б по-прежнему все. Только не захотят они, Серафим Модестович. Лес, да простор, да небо голубое, — вот что теперь надо им.

Едва уловимая насмешливая улыбка перебежала по его старческим синеватым губам, но Анна Богдановна ее не заметила.

— Очень приятно, что вы так рассуждать стали.

— А как же иначе рассуждать мне, старцу ветхому? — воскликнул старый управляющий с искренностью в голосе и, расставив руки над полом, с уверенностью сказал:

— Могилы раскрываются и мертвые встают.

Обе дамы посмотрели на него с удивлением.

— Ну, это вы шутите, — сказала Глафира.

— Как так шучу? Прошутил я семьдесят годов и буде. Сам вижу, могилы разверзаются и мертвые встают.

Глафира, чуть-чуть содрогнувшись, снова посмотрела на него изумленно.

— Да вы же их не видели.

— Как так не видел? Как пред глазами стояли.

Говоря таким образом, он не совсем лгал: иногда ему действительно казалось, что он видел мертвую Клару и слышал какие-то голоса. Это его не то что пугало, а порождало мысли о том, что ждет его за могилой, а это до некоторой степени умеряло его земные аппетиты и стремления к деньгам. Видя, что Глафира ему не верит, он обратился к ее матери.

— Правда, матушка, Анна Богдановна, к земному привык и о земном помышляю. Все до времени. Грешный человек. Не могу никак оторваться от мира этого. Ногами во-

шел в землю, завяз, словно в болоте каком.

Глафира долго смотрела на него и в недоумении пожала плечами.

— Просто не узнаю я вас. Какой же вы нам дадите практический совет?

— А вот какой. Нисколько не медля, из дома выехать в город. Пусть домик попустует пока, Серафим Модестович с сынком поживут. На этом потеряется не много, а волнение затихнет.

Не договорив, он стал прислушиваться. Где-то за дверьми раздавался гул голосов, усиливающийся с каждым мгновением.

— Вы слышите, — идут они.

— Во, во! — покачивая головой, воскликнул управляющий, посматривая на обеих дам. — Сами изволите видеть, что без меня не обойтись никак. Ну, а я как поговорю, все и затихнут.

Опираясь на палку и что-то бормоча про себя, старик быстро направился к двери.

Дамы остались одни. Вдруг Глафира, нахмутив брови, стиснув зубы, сжала руки, в припадке ярости затопала ногами.

Она быстро понеслась к двери, вытянув шею и дико сверкая глазами.

## ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ

Жертвой своей жизнью, своим «я» всемирному «я», если ты хочешь жить в духе. Старайся удалять от себя возникающие образы с тем, чтобы они не кидали темной тени на твою душу. Вечное есть в человеке и не может уничтожиться.

*Браминская мудрость*

По лесу шла девушка, одетая в костюм послушницы. Черное платье без всяких складок падало до самой земли,

а черный капюшон, закрывая ее голову, скрывал также и часть лица.

Она шла довольно быстро по узенькой лесной дороге, по сторонам которой возвышались зеленые стены из елей и сосен. Вдруг она остановилась и крикнула:

— Как кажется, мы никогда не придем.

— Да мы уже почти и пришли, не тревожьтесь, барышня, — раздался чей-то голос, и вслед за этим на дороге появилась тоненькая фигура рабочего Ласточкина.

Тамара очутилась в лесу, чтобы видеть Леонида, после очень долгой борьбы с самой собой. Чудесное раздвоение Леонида в два образа не переставало носиться в уме ее и в воображении обрисовывался то один из них, — Леонид-животное, то другой — сильное, светящееся лучами существо. Чем более воспоминания эти ее пугали, тем сильнее разгоралось любопытство и ее чисто женское чувство, — привлечь к себе обаянием страстной, красивой самки. Хотя один из Леонидов уходил, как ей казалось, в небо, но ее власть над этим последним будет безграничной, она будет жечь его своим земным огнем и вооружать против его двойника — холодного, сверкающего светом иного мира Леонида. Мечтать об этом ей доставляло жгучее удовольствие и ей казалось, что она переходит грань мира видимого и вступает, как дочь демона, в какое-то иное, таинственное царство. Она тем более предавалась этим грезам, что все опротивело ей: и ее посетители-мужчины, и Зоя со своим ужасом перед невидимыми существами. Кроме того, ее увлекало и совершенно материальное желание: подчинив Леонида земным страстям, овладеть его тремя миллионами.

— Вот здесь, барышня, домик лесника, куда заходят они. Извольте там отдохнуть, а я, чтобы не мешать, иду отыскивать нашего прежнего господина.

Проговорив это, Ласточкин скрылся, а Тамара, увидев маленький домик, в котором когда-то жил лесник, и нигде не увидев Леонида, подошла к двери, где висел огромный замок, и остановилась в полном недоумении: что же ей теперь делать?

Леонид в это время лежал в некотором расстоянии от домика, под огромной сосной, в очень тонкой рубаше, в соломенной шляпе на голове и босой. Над ним было ясное голубое небо, вокруг на целые десятки верст — зеленые исполнины, неподвижные и молчаливые, как бы зачарованные ничем не нарушаемой тишиной. Солнце жгло, пронизывая его тело горячими лучами и обдавая пламенем и точно отвечая на какой-то вызов, бросаемый природой в лице лучезарного божества, порождающего бесконечные жизни и бесконечно возобновляющийся грех. Леонид вытягивался и изгибался своим молодым телом. «Я признаю твою власть, солнце, ты проникаешь в меня и оживляешь жажду греха, который я не сумел убить. Это твое дело, огненное светило, — думал Леонид, глядя в голубое небо, где горел ослепительный факел. — А бороться с тобой, — мое дело, — монарха маленького государства, — вечного духа. Ты, тело — мой раб, вассал, подданный мой, я тебя презираю, и если ты изгибаешься в животной похоти, то ведь это ты, а не я».

Со времени ночи, проведенной с Тамарой, Леонид окончательно убедился, что его дух — царь маленького государства-организма, что мысли — его слуги, страсти — бунтующие рабы, а тело — его жилище, в котором часто злая сила зажигает костер своих страстей. Он убедился также, что, как свободный монарх, он может выходить из своего животного существа. Это возносило его, заставляя думать, что он это одно — светлое, независимое, вечное, а его животное существо — другое. Какое ему до него дело? Пусть оно изгибается в похотях и страстях, как змей под огнем жгучего солнца. Может быть, в таких рассуждениях его было заблуждение, но оно успокаивало его, незаметно раскрывая дверь страстям и желаниям.

Это теперь и происходило.

В воображении его поминутно очерчивалась голая соблазнительная женщина — Тамара. Она хохотала, сверкая полосками своих белых зубов, смотрела на него своими черными, жгучими глазами, обвивала его руками своими, и он в опьянении падал на ее голую грудь. Незыблемым

блаженством представлялось ему все это, и не только теперь пред ним кружились эти картины, но и раньше, каждый день и, как раньше он разгонял свои мысли силой своей воли, так и теперь: «Эй, вы, слуги подвластные мне, мысли скверные и гнусные, прочь от меня, духа-монарха, и вы, рабы бунтующие, жгучие, знойные страсти — я изгоняю вас. Женское, голое тело — падаль, смерть, вонь, зараза, осквернение моего света и чистоты, и вы, мысли, не смейте вызывать образ голого тела распутницы...»

Он поднял голову и с сознанием своего могущества посмотрел на сверкающее светило, думая, что ему удалось освободиться от похотей и страстей. Однако же, это было не так: на этот раз «слуги и рабы», его не слушая, бунтовались и, восстав на «монарха» своего, точно на чьих-то руках, снова внесли в царство его воображения прекрасное женское голое тело.

И вдруг то, что было в нем, он увидел вне себя: Тамара стояла перед ним, вся в черном, неподвижно, точно монумент, изваянный из черного мрамора, и только лицо ее в этой черной рамке казалось ослепительно белым. Она стояла перед ним, склонив набок голову, и глаза ее пристально смотрели на него, точно две черных звезды.

Облокотившись на локоть, он смотрел на нее, полный изумления и восторга, а внутри его kloкотали бешеные желания, усиливаемые изменником света и разума — солнцем. Вдруг она опустила на колени и со склоненной набок головой сложила на груди руки ладонями внутрь.

— Сын неба, дочь земли, греха и всех пороков страдает мучением любви. Ты бросил в мой грудь огонь свой и я вся горю в твоём пламени.

Леонид, точно чтобы убедиться, что пред ним не греза его ума, а настоящая живая Тамара, схватил ее руку в свою.

— Какая горячая, гибкая ручка. В ней струится кровь и бьется грех, как удары пульса.

Тамара закинула голову и очаровательно засмеялась.

— Да, сын неба, бьется грех, как дикое дитя, вырванное из ревушего ада и играет кровь, как шипучее красное вино. Не притворяясь и не лицемеря, я сама объявляю, кто я та-

кая. Но мучений я раньше не знала: ты бросил в меня огонь. Говорят, любовь — роза небес, но если так, то этот цветок во мне растет, озаряемый страшным пламенем. Ты видишь это черное платье: я хотела заключиться в монастырь под именем сестры Тамары. Увидела тебя — и не пойду.

Тамара пылала, говоря все это, и в признании ее ложь и истина были так перемешаны, что невозможно было разделить первое от второй. Что же до ее желания уйти в монастырь, то это было сказано, чтобы только сильнее подействовать на «сына небес», и больше ничего.

— О, сын неба, сын неба!..

Тамара заложила руки за голову и лицо ее было олицетворением отчаяния и безнадежной страсти, и в то же время она не забывала внимательно вглядываться в него: теперь перед ней находился Леонид-животное и это она видела по его пылающему лицу и по глазам, сверкание которых ясно говорило о поднявшемся в нем вулкане страстных желаний. Змей жизни хотя и был изгнан им из жилища его духа, но он снова забрался, голодный и неукротимый.

— О, сын неба! Какое пламя в груди моей и какой жар разливается по всем жилам моим! Ты все это сделал силой твоей или чародейством — не знаю, но ты в жестокости твоей послал в мое тело тысячи огненных змеек и все они, дыша жаром из раскрытых пастей, коварно нашептывают мне о падении самого лучезарного ангела с высоты небес в вулкан бурного земного блаженства. Может быть, и я была когда-то в раю в числе ангелов, — жалобно воскликнула она, подымая глаза к небу, — но во мне забился горячий ключ жизни и я потонула в грезах. Леонид, меня жгут змеи мои и я проклиная твою холодную святость. Смотри на меня — я вся огонь и желание...

Тамара, как бы в агонии неудержимой страсти, рванула ткань черной одежды своей и пред глазами обезумевшего от желаний Леонида обнажилась ее пышная, розовая грудь... Он привлек ее к себе.

Он тонул в блаженстве, но и в этом состоянии в его голове кружилась мысль, что с каждым мигом он летит все ниже из царства разума, истины и свободы в бездну, пылаю-

щую неутолимым огнем. Миги превращались в один долгий поцелуй... поцелуй двух тел, и в этом поцелуе вибрировал каждый нерв, участвуя в общем гимне богу наслаждения... Катились в теле миллионы кровяных шариков с криком блаженства... И мысли в его мозгу кричали, как крошечные взбунтовавшиеся ангелы: «Распни истину и добро, захлопнись, дверь неба и пусть вечно пылает ад наслаждений...» И «небесная гостья», душа его, в этом огненном вихре блаженства обессиленно свернула крылья свои и упала на голую грудь женщины, трепеща от испуга перед своим рабством у владыки тела.

Часы летели, но ненасытная жажда терзала Леонида, и Тамара, не давая времени подняться «небесной гостье», жгла его поцелуями, разжигала грудью своей и, обвиняя своими волосами тело его, с торжествующим смехом вакханки заставляла снова падать...

---

Наступила ночь.

Луна, врываясь янтарным светом своим в окна маленького домика лесника, наполняла его таинственным бледным сиянием, — грустным, как смерть, как вопли печальной любви в стране грез и призраков.

На соломе безмятежно спала совершенно голая Тамара. Грудь ее вздымалась и два коралла на ее груди, точно горячие уста, казалось, еще кричали в страстном упоении, и на лице ее была разлита улыбка торжества победительницы. Она уснула, уверенная, что от этого времени «сын неба» прикован к ней нерасторжимыми цепями.

Леонид лежал около нее, облокотившись на локоть и равнодушно поглядывая на ее голое тело; в глазах его светилось невыразимое уныние, в то время как губы вздрагивали в улыбке горечи и отвращения. Он ощущал в теле своем легкость пустоты: раньше там были силы, вспыхивавшие в нем, как живые огни и поддерживающие своей жизнью «небесную гостью», дух его. Теперь они погасли. Там в уме его



было сознание разума, света и свободы: корона слетела с головы монарха и скипетр его вырвала из рук нагая блудница. И раз его прежние рабы — взбунтовавшиеся страсти — победили его, «сына неба», то роли переменились: они теперь господа его, а он слепой раб и слепые вожаки поведают его, куда он не хочет, и сбросят в пропасть отчаяния и печали.

Все эти мысли проходили в его уме, терзая его, точно живые существа, вооруженные иглами. Он мучительно чувствовал позор падения своего и ему казалось, что луна, врываясь своим светом в окна, как бы звала его в свой таинственный печальный мир страдания и грез. Она как бы манила его и притягивала, и вдруг он живо почувствовал непостижимую привлекательность страдания и печали и отвращение к наслаждению и счастьем на земле. «Проклятое тело — я не ты. Ты зараза и смерть, я — царь света и мысли. Что мне до тебя — гнусная, гниющая в похотях плоть моя? Оставайся здесь, а меня влекут звезды к высоте своей, и в дрожании желтых лучей луны я слышу звуки волшебной скрипки Медеи... Там плывет она в высоте и манит меня лучами бездонных глаз своих. Прощай, тело. Лежи здесь рядом с голой самкой — сосуд одуряющей отравы — я ухажу от тебя».

Не отрывая глаз от луны и чувствуя себя в потоках ее света, который его таинственно притягивал, как лунатика, он медленно поднялся и опять с ним произошло то явление, которое психиатры называют раздвоением личности: он стал сознавать себя свободным и независимым от тела существом, Леонидом № 2, хотя с прежней высоты он опустился: что-то отхлынуло от него, какие-то непознаваемые им силы. Вместе с этим, он не ощущал уже прежнего восторга и уверенности человека, находящегося вне вещественного мира. Какой-то вампир-самка, вытянув соки из тела его, кровавыми мазками и грязью обрызгал дом его духа.

Он взглянул в последний раз на Тамару, в лице его отразилась холодная безразличность и он быстро вышел.

Он шел по знакомой тропинке к поляне, где надеялся увидеть отца своего, который почти всегда находился в со-

провожении своих бывших работников. Теперь Серафим Модестович часто беседовал с ними, очаровывая их своим ясным пониманием людей и жизни, его верой в божественность всякого человека, смирением и дружелюбием. Леонид же часто теперь уединялся.

Лес в желто-таинственном свете луны казался обширным царством странных существ — немых исполинов, хранивших в своем сознании какие-то неведомые людям тайны и, может быть, полных высоких мыслей бытия и смерти. Так, по крайней мере, думал Леонид. Луна действовала на него, очаровывала, притягивала и манила, и походка его была легка, почти воздушна, как у существа, на которого действуют таинственные силы. В воспоминании его смутно проходили картины его падения: воля выталкивала их, а пробудившийся, хотя ослабевший царь-дух говорил ему, что это было тело, а не он, и что и теперь еще там, на соломе, около голой женщины, лежит грязное существо — его животный двойник.

Вдруг он остановился.

По тропинке, прямо ему на встречу, шла Роза. Девушка сначала испуганно остановилась, но потом, рассмотрев, что это он, с криком радости бросилась ему навстречу.

— Я искала тебя всю ночь и вчерашний день. Где ты находился? Ты любишь быть один и думать, а я не могу быть без тебя.

Леонид внимательно посмотрел в ее голубые глаза и ответил кротко и строго:

— Дитя мое, не приближайся ко мне. С этого времени ни одна дочь гибели не должна прикасаться к вечному существу. Тот, которого ты ищешь, не я.

— Как не ты? — испуганно и изумленно вскричала Роза.

По лицу Леонида пробежала нервная дрожь, показывающая, что он сейчас рассмеется страшным смехом.

— Да, дитя мое, я не тот, которого ты ищешь, и если ты женщина, я хочу сказать, самка...

Смех вырвался из уст его.

— Там, в домике лесника, на соломе лежит негодяй-животное, вонючая падаль, смердящая похотью, труп, облеплен-

ный червями — грязными червями похоти... этого ли тебе надо?

Роза ничего не поняла из его слов, но по инстинкту, свойственному женщинам, горячо ответила:

— Нет-нет-нет! Мне не надо его. Я искала чистого человека с высокой душой, который меня, бывшую блудницу, хотел вознести к небу. Нет, нет! Я, как и ты, отвернулась с отвращением от грязного разврата.

— Роза, Роза, Роза! — вскричал Леонид и лицо его сделалось светлым, радостным и невыразимо добрым.

— Будь моей духовной женой и я вознесу тебя в царство мысли и света.

И, сразу меняясь, он с игривой веселостью окончил:

— А теперь пойдем отыскивать папашу.

---

Луна начала бледнеть и восток вспыхнул кроваво-красным сиянием, когда Тамара раскрыла глаза. Она сейчас же взглянула на место, где был раньше Леонид, и увидела его, но он ей показался каким-то призрачным, и что ее страшно изумило — лицо его ей показалось малознакомым — гнусным, дышащим грязной животной похотью. В крайнем изумлении и испуге она протянула руку, желая свои пальцы впустить в его волосы, привлечь к себе и спросить, что с ним. Рука ее ощутила пустое место и Леонид растаял на ее глазах, как дым.

В диком испуге она громко закричала, спрыгнула с соломы и стала кружиться по комнате, стуча босыми ногами. Леонида не было и никто не отзывался на ее дикие крики. Тогда она захватила одежды свои и выбежала из домика.

Обезумевшая от ужаса голая женщина, влача одеяния свои, бежала по лесу, продолжая отчаянно звать Леонида. Моментами ей казалось, что она сходит с ума и это усиливало ее мучения. Теперь Леонид ей представлялся не живым человеком, а каким-то призраком, принимавшим то один

вид, то другой. «Кого же я видела вот сейчас смотрящим на меня? И как он мог исчезнуть на моих глазах?»

Она остановилась, чувствуя, что сходит с ума.

## ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ

### I

Управляющий ошибся: он употребил все свои старания, чтобы умиротворить рабочих, но они продолжали волноваться. С каждым днем волнения принимали все более угрожающий характер. Этому много способствовало и то, что фабричные стали предпринимать род паломничества в лес, где находился их бывший хозяин и, возвращаясь оттуда, они, правду перемешивая с вымыслом, вызывали в своих товарищах к странствующему под открытым небом старцу целые бури восторженных чувств и негодование к изгнавшим его дочерям. Видя, что успокоить их нет никакой возможности, управляющий решительно объявил членам семьи Колодникова о необходимости им уехать в Москву.

Была ночь. За окнами завывал ветер и слышались крики толпы, а Глафира, похаживая по зале в дорожном костюме, говорила Анне Богдановне, сидевшей у окна в кресле:

— Оборванная дрянь эта как раскричалась. Вот мерзавцы.

— Нет, ты не права, — возразила Анна Богдановна. — Мы мерзко и гнусно поступили и потому духи-мстители подняли их.

— Загробные существа! — вскричала Глафира, бледная, но с неприятным смехом на губах. — Ну, это суеверие.

— Они встают из могил... и вот, слышишь?

С бледным лицом, Глафира стала прислушиваться.

— Ну да. Толпа шумит.

— Нет, я не о них. Прислушайся.

— Гул какой-то.

— Слушай хорошенько.

Анна Богдановна говорила так уверенно и лицо ее выражало столько тревоги и грусти, что Глафире, которая стала тревожно прислушиваться ко всякому шуму за окном, вдруг послышался какой-то особенный гул и звуки.

— Листья шелестят за окном... А вот как будто кто-то жалобно заплакал.

Сидя в кресле, Анна Богдановна вытянула шею, внимательно прислушиваясь. С некоторого времени с ней стали происходить довольно странные явления: ей казалось, что она видит все, что делают ее муж и сын, находившиеся в лесу, и слышит разговор их. В ней появилась эта способность — ясновидения и яснослышания — постепенно, по мере ее все большей уверенности, что она вечное существо, мучений совести и развития ее духовных сил. Прежде, чем явилась эта способность, к ней часто являлся — сначала во сне, а потом и во время бдения — какой-то призрак с темным лицом и в черной мантии, перечисляющий ей ее бывшие преступления. Постепенно она привыкла к появлению ее, как она называла, Черного Судии, и в то же время все более уверялась, что она вечное существо, заключенное в тело. Постепенно все это породило в ней веру, что она может видеть и слышать все, что делают и говорят в лесу ее муж и сын.

— Да, посреди воя бури кто-то плачет, — сказала она.

Глафира испуганно расширила глаза.

— Может быть, это все только кажется.

Не отвечая, Анна Богдановна продолжала прислушиваться.

— А вот скрипка рыдает. Слышишь?

— Да, как будто, — нерешительно проговорила Глафира и вздрогнула.

— Лес шумит и свистит ветер, и среди всего этого звенит струна и скрипка стонет... Сын играет, я знаю. Деревья сгибаются и желтые листья кружатся в воздухе.

Глаза Глафиры снова испуганно расширились.

— Вы все это видите, мама?

— О, да, вижу. И вот мой муж, Серафим. Непостижимо, странно. Я его вижу в лесу, в желтом блеске луны. Гром гре-

мит над ними и сверкает молния.

Внезапно она остановилась, глаза ее приняли такое выражение, точно она всматривалась куда-то вдаль, и вдруг <она> испуганно вскричала:

— Глафира, они идут сюда!

— Кто? — испуганно вскричала Глафира.

— Лесные бродяги, рабочие нашей фабрики, и среди них твой отец.

Едва она произнесла эти слова, как в комнату с перепуганным лицом вбежал лакей и, глядя на обеих женщин, объявил им, что из дома им необходимо сейчас же уехать, так как сюда идет толпа лесных бродяг, среди которых находятся Серафим Модестович и его сын, что ввиду этого муж Глафиры уже уехал в город и что их ожидает карета.

Лакей ушел.

Бледная, с дико устремленными на мать глазами, Глафира испуганно вскричала:

— Что же это — ясновидящая вы?! С ума я схожу, кажется, и страх особенный, небывалый закрался в мою душу. Прочь отсюда, из этого проклятого дома! Заколдован он.

В сильном волнении она стала быстро ходить по зале.

— Смотри! — воскликнула Анна Богдановна, подымаясь с кресла и глядя по направлению раскрывшейся двери.

Там стоял Капитон, окруженный своими девицами. Мертво бледное лицо его нервно вздрагивало, под глазами, горевшими теперь больным блеском, бились какие-то мускулы. Он был сильно пьян и пошатывался, стоя на месте под руку с Анеттой. За ними стоял лакей с чемоданами в руках.

— Он хотел перерезать себе горло бритвой, — заявила Анетта, глядя на Анну Богдановну и двигаясь вместе с Капитоном вдоль залы к противоположной двери.

— Господи помилуй! — вскричала Анна Богдановна, подымаясь с места.

— Мы остановили, — продолжала Анетта. — Он слишком много пьет и в этом состоянии ему видятся всякие ужасы... Впрочем, я сама думаю, что в этом доме блуждают привидения. Очень хорошо, что вы все решились, наконец, оста-

вить его.

Капитон, увлекаемый Анеттой, пошел к матери и приостановился. Голова его качнулась и он заговорил с необычайно жалобными переливами в голосе.

— Когда черно-органное поет в душе моей и человечек бьет молоточком в мой череп — такая тоска. Он держал мою руку и стал водить бритвой по моему горлу... Мне все казалось, что зеленая жаба сидит во мне и, ломая маленькие косточки младенца, плачет жабьими зелеными слезами, глотая мою кровь. Мне было так больно, так тяжело, так жаль своей жизни, которую выпило пурпурно-солнечное, что я стал умолять человечка перерезать горло мое. Она помещала.

Веки его нервно задвигались, две слезы выкатились из глаз и, увлекаемый Анеттой, он снова направился к двери.

— Как мне тебя жаль! — со слезами в голосе воскликнула Анна Богдановна. — Как страшно все и как ужасен этот мир.

Анетта повернула голову.

— В этом доме звучат проклятья. И минуты мы здесь больше не останемся. Идем скорее.

Вся компания и за ней лакеи с чемоданами скрылись в дверях.

Мать и дочь внимательно посмотрели друг на друга.

— Мама, вы, конечно, с нами в карете... Едем скорей!

Глафира сделала движение к двери, а ее мать, посмотрев вокруг себя и потом на высокие потолки залы, густым и дрожащим голосом проговорила:

— Прощай, старый дом. И радость, и горе, которые я здесь испытала, прощайте навсегда. И ты, Черный Судия, не отходящий от моего изголовья, оставайся здесь и не подступай больше ко мне. Прощай же навсегда. Благословляю тебя, старый дом, крестом этим.

В руке ее появился черный крест, который она теперь всегда носила с собой, и подняла его над своей головой.

— Изгоняю им духа этого дома. Прощай.

Крест закачался над головой ее, нервы ее дрогнули, и в ее пугливо расширившемся воображении явился дух этого

дома, колеблющийся и громадный, как бесформенная тень. Он пополз по стене, кивнул темной головой под потолком и по зале прогремел голос:

— Прощай!

— Ты слышишь? — вскричала Анна Богдановна, взглянув на дочь. Последняя ничего не слышала, но выражение лица матери заставило ее испуганно метнуться к двери:

— Мама, идем!

Анна Богдановна тоже пошла к двери, но на ходу, повернув голову, она стала смотреть на потолок. Огромная, темная голова снова закивала и обеим женщинам послышались гробовые звуки:

— Прощай — прощай!

— Сердце мое разрывается от ужаса, — вскричала Глафира, выбегая за дверь.

Анна Богдановна вдруг остановилась.

— А моя Зоя, моя бедная Зоя!..

— Оставьте ее, — донесся голос Глафиры. — Она теперь в отчаянии, потому что не находит больше Тамару. В припадке бешенства и отчаяния она заперлась в комнате с какими-то мужчинами, я посмотрела и, о ужас: там пляска, хохот, беснование, какой-то стон, визг, как будто на празднике сатаны.

Комната опустела.

## II

В то время, как происходил разговор Анны Богдановны и Глафиры, по лесу шла измученная Тамара, отыскивая Леонида. Прошел день и наступила ночь, с черных облаков прогремели раскаты грома и на момент вершины деревьев осветила блеснувшая молния, а Тамара продолжала блуждать, сбиваясь с дороги и почти падая от усталости. Ей все казалось, что над нею кто-то жестоко насмеялся, но она не знала, кто — Леонид или какой-то дух в его лице. Она, однако же, ни на минуту не забывала о своем торжестве над



Леонидом-животным, которого она жгла поцелуями своими, заставляла его томиться жгучей страстью к ней. Кого же она теперь увидит — этого Леонида, или другого — «с печатью священных дум на челе и молнией в глазах»? Ей мучительно хотелось знать это и, не смотря на ее ужас перед этим непонятым раздвоением его, безумно хотелось снова овладеть им и приковать к себе уже навсегда.

Усталая и голодная, с бледным, изнуренным лицом, в своем черном наряде, она прошла еще некоторое расстояние и повалилась на траву, заливаясь слезами досады и скорбения. Вдруг, откуда-то издалека, послышались звуки скрипки. Она привстала, прислушиваясь. Среди воя ветра, ударов грома и шума крутящихся листьев, звуки скрипки то затихали, то снова росли и казалось, кто-то кричит, измученный и покинутый всеми. Тамара поднялась и быстро пошла со страхом, думая, кого она увидит — безвольного, чувственного человека или непонятное, могучее существо, сверкающее светом иного мира.

Леонид играл.

Луна то выплывала из-за туч, то снова скрывалась, заволакиваемая облаками. Деревья гнули и листья на их вершинах шумели в воздухе.

Толпа рабочих, пришедших в лес видеть прежнего хозяина, чтобы просить его возвратиться в свой дом, и бывшие рабочие — бродяги — все стояли молча и неподвижно под очарованием мучительно-сладостной игры Леонида. Серафим Модестович стоял посреди толпы, дружелюбно положив руки на плечи двух стоящих рядом с ним рабочих. В некотором расстоянии от толпы, прислонившись к дереву, стояла Роза. Вдруг почему-то она вздрогнула и бессознательно, повинуясь какой-то силе, обернулась: в нескольких шагах от себя она увидела устремленные на нее два жгучих глаза, сверкающие на алебастрово-белом лице...

Леонид играл.

Раздался удар грома, сверкнувшая в черных облаках молния осветила лес и лица рабочих, казавшиеся теперь бледными и одухотворенными.

Леонид поднял смычок над головой и возгласил:

— Мир вам.

Люди вздрогнули и все глаза сверкнули любопытством.

— Да будет в сердцах ваших мир, ясная совесть и понимание, кто вы и зачем живете. Вы — природа в малом и по лицу ее — небу учитесь познавать себя. Смотрите, как мрачно ходят облака под ним: так человек в гневе мрачно нахмуливает брови свои; смотрите, как змеится в тучах молния: так огонь ярости вылетает из глаз ваших; слушайте гром в облаках: таков и ваш голос, когда в вас поселится зверь бешенства. Вся вселенная, — это только видимое тело невидимого духа — разума и потому говорю вам, вы вечные духи, искры великого пламени. Будьте, как орлы в своем полете в вышину и как ягнята, столпившиеся в кучу, когда на вас идут с ярмом и кнутами лукавые и злые безумцы мира сего. Не бойтесь их и не враждуйте с этим миром, потому что, говорю вам, вы духи, а мир — тьма и разбой. Пусть дух ваш пылает в вас, как вечная искра духа-отца, пусть сила ваша раздробляет головы змей, страстей гнева и греха, будьте спокойны и могущественны, и тогда, если вы скажете этим деревьям: «Наклоните головы», они двинутся к вам и преклонят пред вами свои зеленые вершины...

Он внезапно остановился, как бы споткнувшись о последнюю фразу, и в этот же момент сотни глаз, смотрящих на него, широко раскрылись в выражении изумления и страха.

— Братья мои, — с глубоким вздохом возгласил опять Леонид, — не думайте, что я говорю вам это, как могучий дух, имеющий власть и силу. Нет, мои друзья, и во мне, как и в каждом из вас, таится убийца, негодяй и прелюбодей: животное свое я не сумел еще окончательно умертвить, но я делаю все усилия изгнать всех бесов земли из жилища духа моего и, когда очистится дом мой, тогда только во мне подымется огонь мой и сила моя будет несокрушима. Ступайте же с отцом моим и делайте, что задумали.

Рабочие стояли неподвижно. Тогда Леонид поднял руки над головой, в глазах его вспыхнул яркий свет и он вскричал с необыкновенной силой:

— Идите, говорю вам, и дом, который вы считаете принадлежащим отцу моему, пусть будет и вашим.

Произошло невероятное.

Толпа повернулась с таким видом, точно каждый человек представлял автомат, лишенный воли, и в молчании направилась к дому их бывшего фабриканта. Только один Серафим Модестович, пройдя некоторое расстояние, обернулся, подошел к сыну и с улыбкой умиления проговорил:

— Золото льется из твоих уст, сынок, и свет — из глаз твоих.

Он снова повернулся и, опираясь на палку, стал догонять рабочих.

Леонид стоял неподвижно, глядя, как над головой его кружились тучи с змеившейся на их темном фоне молнией. В лице его была величавая ясность, показывающая, что теперь он сознает в себе вечное существо, отделившееся от своего животного двойника. Тамара и Роза стояли по сторонам от него, и черные глаза первой, пристально и не отрываясь, смотрели в глаза «духовной жены» Леонида, вселяя в нее какое-то беспокойство, чувство тяжести и тоски. К счастью для нее, Тамара, оторвав от нее взоры, подошла к Леониду и жалобно произнесла:

— Ты ушел от меня, и я искала тебя целый день, измучилась от усталости и изранила свои ноги.

Он смотрел на нее, нагнув голову и, точно желая что-то вспомнить, провел рукой по лбу. В самом деле, в его состоянии упоения сознанием своей вечности было очень трудно отождествить себя с чувственным, животным Леонидом № 1. Бессознательно для него, его воля просто отрицала этого последнего, как не принадлежащего к его существу, и поэтому, глядя на Тамару чужими для нее глазами, глядящими внутрь себя, сказал:

— Женщина, иди и ищи того, кто с тобой был. Я не знаю тебя.

Тамара вздрогнула с головы до ног и лицо ее исказилось.

— О, какой ужас слышать такие слова! — вскричала она, в глазах ее отразились страх и огорчение и по губам прошла судорога. — Да я сума схожу от мысли, что ты как-то раздваиваешься. Я пыталась убить эту мысль, но вот смотрю

на тебя: ты чужд мне теперь, а между тем, ты грешил со мной весь день и ночь...

Леонид смотрел на нее несколько мгновений теми же, смотрящими вовнутрь себя глазами и вдруг громко засмеялся. Теперь ему ясно представилось, что его гнусное животное существо творило дела тьмы в то время, как он сам с презрением смотрел на него.

— Женщина, где валяется зверь этот, я не знаю, но от него идет вонь и похоть, отвратительные черви обвили его и ларва присосалась в его мозг, рисуя в нем картины скотских наслаждений... Этот зверь мучил и меня, но я его изгнал силой моего духа-царя. Теперь я свободен. Тело это стало легким, как воздух и, когда я смотрю вверх, светлые духи из-за черных туч кивают мне светящимися головами. Прощай, Тамара, иди к звездам, если можешь, по лестнице страданий и отречения от себя. Я иду.

Он стал быстро скрываться в темноте, среди деревьев, а за ним и Роза. Тамара стояла неподвижно и на смертельно бледном лице ее горели ее черные глаза в выражении непередаваемого ужаса.

---

Зоя кутила со своими гостями, когда в комнату вошла Тамара. В порыве безумной радости дочь миллионера бросилась ей на шею и стала обнимать и целовать ее. Вдруг Тамара склонилась на ее плечо и зарыдала.

Гости ушли, или лучше сказать, Зоя вытолкала их, и Тамара, повалившись на диван, стала рассказывать все, что произошло с ней. Зоя была ошеломлена этой новостью и очень обрадована. Ей казалось, что с души ее скатился камень: это означало, что Леонид потерял в ее глазах прежнюю таинственность. Даже больше: ей вдруг показалось, что все ее видения — иллюзии, обман воображения. Сильно радуясь, что Тамара победила ее брата, она очень скоро составила план действий, который, по их обоюдному мнению,

надо было немедленно привести в исполнение. На этот раз она совершенно игнорировала ужас Тамары к чудесному превращению Леонида, и это понятно: дело шло не только о браке Тамары, но и о приобретении трех миллионов.

## ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ

Дом, в котором живет человек, может быть разрушен, но то жилище, которое строит для себя дух из чистых мыслей, не боится даже вечности.

*Л. Малори*

Буря еще продолжалась, когда толпа рабочих со своим прежним хозяином во главе, подойдя к дому, рассеялась по разным местам. Леонид, пришедший вместе с Розой за ними, стал входить по лестнице и, остановившись, крикнул:

— Гроза и буря. Отец мой, войдите сюда.

— Сейчас, сынок, — раздался голос Серафима Модестовича, — дай прежде посмотреть на старый дом этот, который я называл своим.

Леонид и Роза вошли в огромную столовую. Посреди комнаты стоял длинный стол, на котором стояли блюда с закусками, бокалы и бутылки. В раскрытых дверях виднелась целая анфилада других комнат.

Леонид вошел в комнату в особенном настроении, которое занимало среднее положение между Леонидом № 1 и его двойником. Его высшие силы, так сказать, опустили крылья свои и утомившиеся нервы ослабли. В этом состоянии он прекрасно помнил все, что происходило с его высшим существом и существом низшим, животным. Воспоминание о всем этом вызывало в нем нервное настроение, сопровождающееся некоторой веселостью, часто переходящей в печаль и раздражение.

— Мир — огромная тюрьма, люди, духи, преступники, злодеи, нисшедшие из другого царства, с сердцем, в котором ад страстей и пороков и со слепыми глазами. Мы гордо вступаем в него в розовом венке надежд и грез, но цветы наши с каждым годом обрывают незримые пальцы, и когда отходим, то видим, что они превратились в терновый венец, острыми колючками впившийся, в наше тело...

Он с горечью проговорил последние слова и печально опустил голову. Вдруг по лицу его пробежала нервная дрожь и он воскликнул с сарказмом:

— Женщина — злой искушитель мой... но я не о вас, моя духовная подруга: та зажигает ад в чувственном существе моем... Мое «я» — птица свободная и я хотел бы, чтобы оно вырвалось из этого тела, способного зажигаться, как ад. Вас, Роза, я не боюсь, потому что из этих окон...

Он стал смотреть в ее глаза.

— Из этих окон смотрит на меня голубое сияние бессмертного херувима — ваша душа. Херувима этого я люблю, но хорошенькая ваза, в которой возрос этот цветок...

Он странно засмеялся и закричал:

— Цветок этот — смерть, ад, зараза, вонь, и смотреть на него — значит вдыхать в себя огонь и ад.

Роза смотрела на него глазами, полными изумления и даже страха. Дело в том, что чем короче она знакомилась с ним, тем меньше его понимала. И не только его слова ей казались непонятными и странными, но его характер, его способность переходить из одного настроения в другое — то вдохновенная, светлая задумчивость, то нервная, игривая веселость, среди которой из его уст срывались стрелы, полные ядом иронии, то грусть, вялость, обиденность — все это совершенно перепутывало вопрос: кто же он, и рождало страх. Сильно располагало ее к нему и трогало, это исключительно его доброта, его порывы преклониться до земли перед всеми обиженными я гонимыми и даже ее, кокотку, вознести хотя к Престолу Бога. Однако же, название «духовная жена» ей очень мало нравилось, а его равнодушие к ее прелестям самки вызывало в ней даже чувство оскорбления. Ничего этого не зная, Леонид, в порыве своего нервно-

го сардонически-веселого настроения, продолжал:

— Как бы я хотел вырвать вас из вашего тела и унести в воздушный край. Что ж, пока мы на этой грязной планете, будем жить, как птицы под небом: носиться над землей на крыльях, сотканных из чистых мыслей, пить из источника светлой любви, пытаться стремлениями слиться с божеством и одеваться в златотканую власяницу серафима, молитвенно стоящего перед Престолом Отца...

Он внимательно посмотрел на нее и захохотал.

— В глазах ваших испуг. Нет, не бойтесь: я сумасшедший только на весах коротенькой мудрости мира сего, но в глазах мудрости высокой я король среди обезьян...

Он вдруг остановился против двери и, схватив за руку Розу, воскликнул:

— Смотрите!

Вдоль большой комнаты, по сторонам которой сверкали огромные зеркала, за золочеными колоннами, очень медленным шагом, с печально опущенной вниз головой, проходила, как показалось сначала Леониду, неизвестная ему, с очень бледным лицом дама в белом шелковом платье, длинный шлейф которого шелестел, волочась по паркету. По всему платью шли гирлянды из живых роз, розы были вплетены в кольца ее черных, падающих по плечам волос, и венки, но уже из белых роз, облекал ее голову вокруг лба. Но что еще более поражало, это клинок кинжала, который сверкал в ее опущенной книзу руке. Леонид стоял неподвижно, стараясь рассмотреть черты ее лица, но это ему не удавалось.

— Кто это? — шепнула Роза. — И почему в ее руке кинжал?

Леонид не ответил. Между тем, дама продолжала ходить от одного конца комнаты до другого и обратно. Вдруг остановившись, она закинула голову и направила острие кинжала к своему горлу.

— Тамара! — прошло в уме Леонида, он вздрогнул и, беззвучно ступая на носки, побежал к ней.

— Что делаешь ты, страшное существо?!

С этими словами он сделал движение выхватить у нее кинжал, но она, дико вскрикнув, отпрыгнула от него и, сверкая белыми зубами, рассмеялась страшным, безумным смехом. Этот смех и все поведение ее заставили его подумать, что она сошла с ума и, пораженный этим, он бессильно опустился в кресло. Мысль эта, в связи с отчетливой картиной ночи, проведенной с ней, лишила выших его способностей, и он сразу превратился в безвольное, доброе существо, Леонида № 1. Между тем, Тамара, снова с невыразимой грустью опустив голову, стала опять с прежним видом ходить по комнате. Немного спустя, она подняла голову и глядя на него, проговорила странным, каким-то могильным голосом:

— Безбожный, жестокий человек, похорони меня в этом венчальном платье, и пусть рыдают на моем мертвом теле эти розы — розы — розы...

Сверкнув зубами, она снова рассмеялась смехом сумасшедшей, но затем, внезапно сделавшись серьезной, опустила голову и опять стала медленно ходить.

Леонид сидел и смотрел, испытывая страдание и боль жалости. Вдруг перед его глазами появилась Зоя. Быстро направившись к нему, она остановилась и с негодованием произнесла, покачивая головой:

— Леонид, кто ты такой, — возвышенное существо, каким ты всем казался, или дикий зверь, способный глумиться над самоотверженной любовью несчастного беззащитного существа?

Хотя она задалась целью провести хитрый план, но ее слова звучали искренностью, потому что она была искренне возмущена его пренебрежением к Тамаре. Благодаря негодованию, она забыла свой роль и весь свой страх перед силами Леонида, и бессознательно быстро повела все дело к неожиданной развязке.

— Отвечай!

Леонид смотрел на нее, не двигаясь, изумленный и опечаленный, и в глазах его сверкали слезы, а Зоя еще с большим возмущением продолжала:

— Хорош гость на земле, как ты себя называешь, — так жестоко оскорбить прелестное существо! И за что? За то, что



она тебя безумно любила? Объявляю тебе...

Глаза ее засверкали.

— Если так, то ты не сын неба и звезд, а последний негодяй, подлец, заслуживающий пощечин.

Леонид вздрогнул, побледнел и на ресницах его засверкали капли слез, но, несмотря на все это, он кротко ответил:

— Ты опрометчиво применила ко мне эти жестокие слова, но пусть судит тебя твоя собственная справедливость.

— Вот как! — воскликнула Зоя, жестоко усмехнувшись и упирая руки в бока. — А твоя справедливость, честность и порядочность, — куда все это исчезло? — скажи на милость.

Она склонилась к его лицу и уже шепотом продолжала:

— Ведь ты с ней спал. Ты упивался ею, как бешеный зверь. А потом что ты сделал? Бросил ее одну в лесу. Подумай только, как она измучилась, бедняжка, блуждая там. Потом она подошла к тебе, а ты что ей ответил? «Женщина, я не знаю тебя», и потом: «Иди к звездам». Что это, — глумление, жестокая ирония, или что? Провести ночь с прелестным существом, как с женой, и потом ответить: «Отправляйся к звездам». Леонид, да неужели ты такой подлец?

Вместо ответа и желания сказать, что этих его слов не поняла Тамара, он только задвигал головой, потому что слезы оскорбления помешали ему говорить.

— Теперь смотри на нее. Видишь, какой у нее, бедняжки, жалкий вид. Ведь она сошла с ума.

— Сошла с ума! — прошептал он и, хотя он и сам это предполагал, но его кроткие глаза расширились в выражении ужаса и боли.

— В безумии она может каждую минуту лишить себя жизни. Что же ты намерен предпринять? Ужели позволить ей отправиться к звездам?

— О, нет, нет, нет! — простонал Леонид с выражением мучительной боли в лице и в то же время с ужасом в глазах продолжая смотреть на шагающую медленным шагом Тамару.

— Что же нет? Что же ты сделаешь? Я думаю, вернуть ее рассудок, пожалуй, и невозможно.

Леонид заволновался, грудь его высоко поднялась от избытка великодушных чувств, и то, что не могли сделать все ухищрения и знойные страсти Тамары, совершила одна мысль, что теперь она принадлежит по его вине к несчастным и обездоленным.

— Я согрею ее своей любовью, я разолью свет в ее помутившемся уме, я укурю ее в своем сердце...

— И обязательно женишься на ней немедленно, — сказала Зоя с лукавой, но ласковой улыбкой. Он остолбенел. Не давая ему опомниться, она подошла к Тамаре и, обняв ее, начала ей что-то шептать. Выслушав ее, Тамара рассмеялась с видом сумасшедшей и вдруг подбежала к Леониду.

— Похорони, похорони меня, мой друг... Могилы рыть не надо... В лесу стоит избушка... Там буду я лежать в гробу хрустальном так...

Она вытянулась, закинула голову и закрыла глаза. Леонид, пораженный жалостью, привлек ее к себе и, с необыкновенным чувством любви охватив ее голову, стал нежно говорить ей об их будущей жизни. Говорил теперь все это простой, добрый человек Леонид № 1-й, забывший, что в нем скрыт некто другой, который никогда не одобрил бы его обещаний. Слушая его, Тамара ликовала в душе, была тронута и в это время его даже искренне любила. Несмотря на все это, она, продолжая свою роль, стала безумно смеяться и потом начала тихо болтать самый невероятный вздор.

Пока все это происходило, Зоя, подойдя к стоящей в отдалении Розе, грубо взяла ее за руку и, отведя к двери, просто объявила ей, чтобы она убиралась и никогда больше не показывалась в их доме. Роза покорно ушла с печально опущенной вниз головой.

Зоя подошла к Тамаре. Последняя с сумасшедшим смехом стала ей болтать какую-то чепуху. Тогда должен был вмешаться Леонид и объявить, что он поклялся ей всю жизнь охранять ее от всякого зла и любить до гроба. Зоя сделала вид, что понимает его слова несколько иначе, и объявила:

— Твоя невеста — божество. Ваша свадьба будет, конечно, на этих днях. Поздравляю.

Она поцеловала его и потом начала горячо целовать Тamarу и шепнула ей:

— Теперь он пойман.

---

Серафим Модестович стал всходить по лестнице, часто оборачиваясь и с любовной улыбкой приглашая рабочих к себе. Они стояли толпой внизу у лестницы, стесняясь исполнить желание его, и только после долгого колебания многие, и в числе их Волк, Герасим, Порфирий и Ласточкин, стали подыматься наверх.

Бывший фабрикант и за ним толпа рабочих вошли в столовую и остановились. Серафим Модестович с печальной улыбкой стал озирая глазами свои прежние комнаты и воскликнул:

— О, мой старый дом, дом грабежа и разбоя!

Он обернулся и, глядя на рабочих, сказал:

— Ведь чудо великое совершилось здесь: мертвые, когда-то обиженные мной, пришли из могил своих и выгнали живых. Теперь ты пуст, мой старый дом, и я опять посещаю тебя, как странник, который снова уйдет и уже навсегда.

Он задумался и, глядя на большой стул с высокой спинкой, сказал:

— Вон на том месте любил сидеть разбойник.

Ласточкин, подойдя к нему, с любопытством спросил:

— Кто же этот разбойник, ваша милость?

— Фабрикант Серафим, — твердо ответил старик, продолжая задумчиво смотреть в одну точку. Вдруг он обернулся и с любовной улыбкой стал упрашивать рабочих сесть за стол и есть и пить. Необычайность такого положения смущала их и только после долгих колебаний некоторые из них стали опускаться на стулья, а Ласточкин сказал:

— Вы в великое смущение нас приводите, Серафим Модестович, барин. Вот как святой вы посреди нас и этих лес-

ных бродяг. Думали ли мы, что мы в вашем доме будем сидеть за одним столом с вами?

— Мой друг, — воскликнул старик, подымая руку кверху, — наш общий дом — вон там. Этот же дом такой же ваш, как и мой, и потому садитесь, ешьте и пейте. Наше богатство — вечные силы, которые в нас и наши драгоценные камни — правда, милосердие, справедливость. Кто мы здесь? Гости, не более, а земля — гостиница, и потому садитесь, прошу вас.

Все расселись и Серафим Модестович, угощая их, говорил:

— Помните, что под вашими лохмотьями — вечные существа, сыны Бога, и потому не смотрите на позолоту этих комнат и на роскошь их. Ешьте и пейте.

Бродяга Волк, стыдясь своей чувствительности и чувствуя, что ему с нею не совладать, нахмурился и грубым голосом проговорил:

— Ваша милость, Волк плачет.

Слезы брызнули из глаз его.

Серафим Модестович положил руку на его плечо.

— Мой друг, ты не знал меня, а я тебя, но мы одинаковые с тобой, и если ты разбойник, то еще злейшим разбойником был я, и если ты плачешь, то с тобой плачу и я.

Волк сердито нахмурился, как бы ошетинился, и слезы полились из его глаз. Он сердито стукнул кулаком об стол.

— Вот ты и Волк, а плачешь, — подшучивая над ним, проговорил Порфирий.

— Душа всякого умиляется от ваших слов, барин, и вы простите: мы от вас не отойдем.

— Душа моя плачет и ликует, — воскликнул Волк, переставая хмуриться и откидывая голову. — Го-го-го! Какой огонь во мне, — подлинно с небес упавший. Сердце веселится и ноги хотят плясать.

— Друзья мои, — как бы отвечая ему, снова заговорил Серафим Модестович, — и моя душа как бы на крыльях возносится, а прежде была в оковах гордости и забот и сердце заперто было дьяволом, чтобы не врывалась в него никакая радость. Теперь только добрые силы сделали его широким, как мир, чтобы я мог простирать руки над всеми бесприютными.

Он стал медленно подниматься с места и распростер руки, показывая этим, что всех гонимых и несчастных он хотел бы взять под свой защиту человека с сердцем, широким, как мир.

В это время в конце комнаты показались Леонид и Тамара. Леонид шел с бледным лицом, ведя за руку, как он был уверен, девушку, сошедшую с ума по его вине. Продолжая притворяться, Тамара шагала, как автомат, высоко подняв голову, с безумно-смеющимся лицом, а белые розы, окружая ее чело, придавали ей выражение трогательное и вместе с этим дикое и жалкое.

Серафим Модестович смотрел на них обоих глазами, полными изумления, и невольно воскликнул:

— Сыночек мой, что значит это?

— Отец мой, я должен сказать вам, что со мной случилось непредвиденное: я не смею больше одиноко странствовать по зеленым нивам земли этой, а в сопровождении этого существа. Люди называют это выдуманными ими для прикрытия греха словами: муж и жена.

Серафим Модестович, внимательно посмотрев в его глаза, положил дрогнувшую руку на его голову и сказал:

— Сынок мой милый, да будет, как ты решил... Но вот что я читаю в книге судеб: ты пойдешь своей дорогой вверх и останешься на вершине скалы одиноким, как орел, и будут с тобой беседовать звезды, мудрость и духи земли.

Он положил другую руку на голову Тамары и пристально посмотрел в ее глаза. Она вздрогнула и сделалась почти такой же белой, как венок, окружавший голову ее.

— Крест сына моего для вас тяжел, и свет его невыносим для очей ваших, и потому пути ваши разойдутся: он найдет счастье на Голгофе своей, вы потеряете его на широкой дороге веселья, пляски и всех усад мира сего.

Он отступил, снова посмотрел на их обоих и окончил:

— Берите миллионы его: под ними тьма и вонь гниющих костей. Возложи крест свой на себя: невидимый ангел откроет тебе дверь в царство света, мира и вечной любви.

---

Прошло несколько дней и Серафим Модестович скрылся. Никто не знал, когда он исчез и куда.

Дом снова наполнился прежними его владельцами, машины пришли в движение и к синему небу снова стали подыматься облака серого дыма.

Предсказания старого фабриканта исполнились: Тамара начала жить шумно и широко, а Леонид исчез и навсегда.

## ОБ АВТОРЕ

Анатолий Оттович Эльснер родился в 1856 г. в Херсоне в дворянской семье надворного советника О. Ф. Эльснера, инспектора училищ Херсонской губернии. Дед по матери — Ф. М. Гауеншильд, директор Царскосельского лицея, по отцу — барон Ф. Б. Эльснер (1770-1832), преподаватель военных наук в Царскосельском лицее, в конце жизни директор Главного инженерного училища.

Вероятно, жил какое-то время в Тифлисе, где происходит действие романа «Железный доктор» (1903) и где в 1897 г. вышел авторский сборник прозы, драм и стихотворений «Зеленая книга».

Публиковался как под собственным именем, так и под псевдонимами А. О. Эльснер-Коранский, А. О. Эльснер-Каранский, Цезарь Писарев, Юрий Кэр. Был членом Общества русских драматических писателей.

Опубликовал поэмы «Торквемада» (1888), «Палач и Христос» (1906), «Сойдите вниз» (1907), драмы «Современная героиня» (1892), «Человек судьбы (Наполеон)» (1905), исторический роман «Царь Петр Великий» (1903) и др.

Наибольший интерес представляет ряд фантастических и оккультно-мистических романов, опубликованных в предреволюционные годы: «Железный доктор» (1903), «Грозный идол, или Строители ада на земле» (1907), «Рыцарь духа» (1915), «Бес ликующий» (1916).

В начале 1917 г. А. О. Эльснер проживал в Петербурге на Крестовском острове. Судьба его после революции остается неизвестной.

---

Роман «Рыцарь духа» был впервые опубликован в Петербурге в 1915 г. в составе 5-го, майского тома ежемесячного сборника романов и повестей «Свет». Публикуется по указанному изданию с исправлением очевидных опечаток. Орфография и пунктуация приближены к современным нормам, однако в тексте максимально сохранены особенности авторской пунктуации.

В оформлении обложки использована работа Д. Корнуэлла.

## **POLARIS**



**ПУТЕШЕСТВИЯ · ПРИКЛЮЧЕНИЯ · ФАНТАСТИКА**

Настоящая публикация преследует исключительно культурно-образовательные цели и не предназначена для какого-либо коммерческого воспроизведения и распространения, извлечения прибыли и т.п.

**SALAMANDRA P.V.V.**